

**Товарищество писателей в Петербурге
Секция критики и литературоведения
Союз писателей России**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики,
прозы и поэзии

№ 8

апрель – май 2018

Санкт-Петербург
2018

ББК XX.YY

Редакционный Совет

Главный редактор
В. И. Чернышев

ISSN xxxx-xxxx

©Чернышев В. И., 2018
©Редакционный Совет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	4
I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА	
Владимир Меньшиков. МЕДВИЖУХА	29
В. И. Чернышев. Стихи, НЕ найденные под столом	40
Сергей Николаев. ИЗБРАННОЕ	45
II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА	
Владимир Меньшиков. Националист и гармонист	56
III. ЛИКИ, ЛИЦА, ЛИЧИНЫ (литературно-философская критика)	
Владимир Меньшиков. Пути – тропинки (о творчестве Н. Тропникова), Александр Медведев. Сила первого взгляда	95 105
IV. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. Лишние русские люди	
Вл. Серг. Печерин. Замогильные Записки	108
V. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ	
Н. И. Калягин. Последний романтик. К 175-ю Аполлона Григорьева (1997)	136
Аполлон Григорьев. Великий трагик. Публикация ВИ	156
А. В. Осипов. Стратегическая диффамационная атака	196
VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБ (человека и слова)	
В. А. Овсянников. О книге А.А.Грякалова «Василий Розанов»	199
Т. М.. Лестева. Георгий Иванов. К 60-летию со дня смерти. Надежда Полякова. Библиейские образы и библиейские сюжеты в русской поэзии. Под редакцией Галыны Дюмонд	203 216
VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА (статьи, публикации, переписка)	
Разборки среди писателей:	
В. А. Овсянников. О книге Евгения Попова «Четырехгорка»	231
Владимир Меньшиков. Сердитая критика	233
Т. М.. Лестева. Александр Проханов.	240
Разборки среди критиков:	
Л. Л. Бубнова. Вячеслав Овсянников. «Тот день»	249
Геннадий Муриков. Игорь Лазунин «Химсостав предчувствия».	250
В. А. Овсянников. Об одном стихотворении Игоря Лазунина	252
Разборки в обществе:	
Геннадий Муриков. Два хозяина Земли Русской. Николай Романов и Владимир Путин.	255
Редактор. Выкрики вдогонку	264
Владимир Бесперстов. Государство и отечество	265
Егор Холмогоров. Мифы о Солженицыне	271
Николай Николаевич Браун. Неподцензурная поэтика	279
VIII. НАД ЖИЗНЬЮ (СТИХИ, статьи, рассказы и ПИСЬМА)	
Наташа Ефремова. Времена года. Стихи	283
Елена Лобанова. Блондинка в годах и другие	294
Редактор.. Новая философия	306

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Вопросы без ответов (8. 03.18г. НРЖ №7. В сокращении.)

Ночью иногда дорогу приходится выбирать на ощупь.

Во-первых, не совсем ясно, **куда идти**.

Ну, как же так, зачем же тогда идти, если не знаешь, куда идти, восклицает разумный человек?!

Цели нет передо мною, / Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою / Однозвучный жизни шум.

– вот так писал поэт за двести лет до меня (и тоже издавал журнал).

Так что я не один иду наощупь, не зная, куда, не ведая, для чего я затеял этот журнал. И «Современник» привел поэта к долгам; и «История Пугачевского бунта» не имела успеха; и драма «Борис Годунов» провалилась на сцене и вызвала чуть ли не повсеместное осуждение...

И все же целую жизнь меня преследовало желание *издавать журнал* – а до этого была школьная стенгазета, потом матмеховская, потом журнал МЪра, потом «Русские страницы» – и все было неудачно. И вот «Новый Русский журнал»... В него я верю, он мне кажется необходимым.

Во-первых, я уже не один, а еще и *почти единодушная группа* авторов: писателей, художников и критиков, и даже читателей, некоторые из которых не подозревают, что они читатели (вчера в автобусе девушка, рядом с которою было место, разве подозревала, что она *моя будущая читательница*? Но оказалось, что она знакома с Аристотелем, хотя и поддерживает современную олигархическую власть в России – ей я и вручил номер, отпечатанный за час до этого к празднику 8-го марта.)

И за день до этого мне вдруг стало ясно, зачем нужен наш журнал: мы стремимся понять *Правду*, и это не только личное стремление, но и потребность народа (или хотя бы его размышляющего слоя). Однако нам необходимо соединиться со всем народом, с русской литературой, стать ее неотделимой частью, которая одновременно совпадает с целым.

Но какова должна быть основа нашего соединения?

Бог? Россия? Государство и власть? Культура? Наука? Церковь? Свобода? Личность? Семья и близкие? – если еще мы сами не знаем, зачем живем, что необходимо народу, литературе, есть ли Бог, есть ли чудо, и что важнее из того, что я перечислил?

Но мы часто противоположны. Могу ли я *взяться за руки* с сторонниками марксизма-ленинизма, в течение почти столетия угнетавшими Россию?

Или, если интересы России для меня важнее всего, если речь идет уже о существовании России, умереть ли ей под властью воровского сообщества или выжить хотя бы и в тумане ложных мечтаний, то можно и нужно сотрудничать не только с социалистами, но и с коммунистами, монархистами, православными, анархистами, сторонниками *чистого* капитализма? А что евреи, враги ли они русскому национализму? Тагары, немцы и жители кавказских гор? Гибель государства станет личной трагедией для всех инославных и инородных, кроме *антинародных*. Спасение России выше разногласий между Ветхим и Новым заветами, Махабхаратой и Кораном.

Журнал – это наша литературная семья. Он – коммуна, хотя я и настаиваю на своих предпочтениях. И все же я стараюсь *соединить все правды в единую Русскую Правду*, ибо нет ничего более мне чуждого, чем слова христиан и коммунистов: *Кто не с нами, тот против нас*. Ибо у каждого есть своя правда, и надо понять правду всех как свою собственную правду.

Поэтому мы и соединились для создания *философии литературы*.

У великого народа должна быть своя **Философия**.

Или это *философия мира*, как у еллинов. Или *философия государства и права*, как у Рима. Или *схоластическая философия всеобщего бытия и религии*, как у немецкого народа. Русская философия – это *философия литературы*. Она уже существует как часть литературы, необходимо, чтобы она стала частью жизни.

Частные задачи такой философии: *что такое личность* (не с большой или маленькой буквы, не раб божий, не строитель коммунизма или крепостной крестьянин, а – **литературный герой**, соединяющий в себе существенно личное с всеобщим). *Что такое народ?* Собрания людей, толпы, сословия, вероисповедания, поколения, предки, потомки, цари и рабы?.. Это вопрос более сложный, чем вопрос о божестве, и это легко пояснить с помощью сопоставления.

Народ – это соединение многих людей в некую высшую общность. Это множество, состоящее из людей как из элементов, но оно обладает качествами, которые у элементов отсутствуют – так соединение металлических деталей на конвейере образует автомобиль, который умеет двигаться, хотя ни один элемент сам по себе не обладает способностью движения.

Помимо характера и «воли» народ обладает чем-то *инойбытийным*: так, он обладает, помимо тела, душой, которая тоже *инойбытийна* (трансцендентна) по отношению к телу. Входит ли в это инойбытийное способность к *чуду*? В истории многих народов такая способность проявлена. Франция умирает и вдруг появляется Дева, которая объединяет вокруг себя растленную толпу мародеров и ведет ее к победе. Русь стонет в тисках ига и вдруг появляется решительный московский князь, которому чтимый народом праведник дает в помощь двух иноков, и после полуторастолетней покорности мы разрываем пути ига. Так и Италия под водительством Гарибальди возрождает свою независимость, созидая из населения разрозненных княжеств новый народ.

Трансцендентное и созидает народ, а собрание людей – только его тело.

Как *всемирное тяготение* вложено в мироздание, так *материнская любовь* вложена в существо матери, и скорее мир рухнет вместе с Млечным путем, чем эта любовь прейдет в сердцах человеческих! – но так и соединение человека со своим народом, **любовь к Родине** – то же, что любовь матери к ее дитяти – как же человек может разорвать и биологические (природные), и душевные (исторические и культурные) узы, и непостижимые духовные связи между людьми, и уверовать в истину безумных слов: *«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и [не] следует за Мною, тот не достоин Меня!»*? Наш журнал необходим для того, чтобы эти связи человека и народа стали осознаны, а потому нерасторжимы.

Человек больше Природы, его поднимает над нею Традиция, Символ, Ритуал, Память, Творчество, Всемирное притяжение любви. Входит ли в этот ряд *Вера*? Или она противостоит человеку и народу?

Любовь пронизывает не только человеческое общество, но и природу, и в летний день под благодатным солнцем я чувствую, что природа наполнена любовью, как виноградная кисть наполнена вином.

Возражения постороннего наблюдателя.

«С ВИ я знаком почти 60 лет, и знаю его чуть не лучше себя, но зачем ему нужен этот журнал, я все же не понимаю. Когда-то он вовлекал меня в подпольный марксистский кружок, потом уговаривал пойти в деревни, потом в Катакомбную церковь, теперь он одержим **Русской идеей** – куда он еще пойдет, если его в очередной раз не посадят, мне не известно тоже. Но все же я согласился сказать несколько слов о том, что я обо всем этом думаю.

В России *русская идея* – невозможная вещь, наша история имеет две формы: народная стихия, вроде казацкой вольницы, и государство с твердой единоличной властью. Народ в России в европейском смысле этого слова, объединенный на-родной, то есть проистекающей из рождения, идеей, невозможен, поэтому население объединяется в нечто единое либо через церковь, и появляется **православный народ**, в котором все без различия рода православные: и калмык, отец Ильича (будущего вождя всего прогрессивного человечества), и еврейка, урожденная Бланк, и датчанин, создатель русского словаря, и православная немка, императрица... Или население объединяется вокруг тоталитарной партии (*церкви нового типа*), и появляется **советский народ**. Сегодня мы в подвешенном состоянии, царь уже есть, но нет цементирующей идеи. Даже есть направление движения: **на Царьград!** – но нет идеи. Неужели такой идеей станет извечно русское: *шапками закидаем*? Не хочется говорить о грустном, но я предвижу для России и ее некогда великого народа только путь Северной Кореи, в которой ракеты будут запускаться с помощью гигантской рогатки, а народ будет счастлив в нищете как в новой форме святости. Литература и философия такому народу излишни.»

Вот такие вопросы... Для того я их и перепечатаваю, чтобы мы сообща попробовали на них ответить... Иначе жить незачем...

2. Новая программа журнальной жизни.

2 мая 18. Человек своеволен – это я вижу вопреки тому, что показывает мне окружающая жизнь: так мало воли, так мало жизни по собственному разумению и хотению, так мало мысли по собственному размышлению! – о каком своеволии может идти речь? Даже в магазин за картошкой и хлебом назначает идти жена, а если и идешь за чем-нибудь *своим*, то таясь и крадучись, например за бутылкой пива (какая там водка, водка нам только снится в горячечных снах, и какие там баррикады?! какие даже невинные встречи с чужими красотками?!)

И все же *человек своеволен* – при условии отчуждения частной воли в пользу *всеобщего* «коллективного частного». Так устроена и семья и государство – по крайней мере, они так были устроены на протяжении тысячелетий. Вот из этой ужасной диалектики нам и придется исходить.

Новый русский журнал призван восстанавливать и защищать свободу каждого отдельного русского человека – но при этом **Поэт выше черни!** (смотри у Пушкина), но при этом **Редактор выше поэта** (смотри у Чернышева), но при этом правительство своей волей может нас всех запретить (даже стереть из памяти файла), следовательно, оно выше всех нас, по крайней мере мы принуждены постоянно пред ним виллять, и оправдываться. Вот тут в чём затруднение: это правительство негодное, оно предаёт интересы России, долг каждого русского человека – стремиться к его устранению и замену на русское национальное правительство (вульгарно говоря, стремиться к тому, чтобы оно было **свергнуто**). Но само это слово подпадает под статью, от пяти до пятнадцати и даже... ну, это самое... Но я литератор, критик, философ, я объясняю, что под *свержением* я понимаю *отвержение*, то есть голосование против правительства, что нам пока еще разрешено (за то, что мы голосуем за Ксюшу, а не за имя рек, пока ведь еще не сажают?) Я защищаю право частного человека голосовать или не голосовать, читать или не читать, думать или не думать, – но у меня есть также неотчуждаемое от меня и от всякого отдельного частного человека право защищать мою родину Россию. Это мое право не противоречит ни свободе других отдельных лиц, ни конституции. У меня есть также право читать и мыслить и высказывать свои убеждения, даже те, которые расходятся с мнениями правительственных чиновников или других отдельных граждан. В силу этого последнего права я буду писать на страницах журнала то, что я думаю о литературе, истории, философских и литературных и политических течениях мысли, даже если мои взгляды не совпадают с взглядами моих читателей (хотя бы они были чиновниками, олигархами, следователями НКВД). Но в силу того, что я призван защищать свободу частного человека, я обязуюсь помещать на страницах журнала все достаточно талантливые сочинения писателей и читателей, не зависимо от того, совпадают ли они с моими взглядами или взглядами большинства.

Итак, наконец-то я отвечаю на тот вопрос, который наиболее вредные задавали мне еще при рождении первого номера: *Есть ли направление у журнала и в чем оно состоит?*

Отвечаю. У журнала *направления нет*, в этом смысле журнал не политический. Страницы журнала как и до сих пор будут изобиловать направлениями авторов сочинений, размещаемых на этих страницах, и каждый автор будет отвечать за себя. Другие будут вправе возражать своим товарищам или соглашаться с ними, так же и я сам оставляю за собою право отвечать на то, что меня взволнует или заденет, комментариями или критикой. Но при этом мы должны быть аристократичны и не уподобляться плебсу, то есть должны воздерживаться от оскорблений, вне зависимости от цвета волос и их длины, веры в загробную жизнь или в строительство коммунизма. Само исповедание взглядов разрешено конституцией, критика чужих взглядов разрешена конституцией тоже, нет времени выписывать сейчас соответствующие статьи, в следующем номере я их выпишу.

Обсуждать можно практически все, даже то, лучше ли простые числа или их лучше упразднить. Таким образом, позволительно, ссылаясь на Тихоми-

рова, писать статьи о монархическом образе правления, а ссылаясь на Аристотеля, писать о тирании, олигархии, демократии, охлократии, республике и царстве (о чем он пишет в своей Политике). Так же уместно писать о политических движениях, ибо человек сознательный должен быть образован и самостоятельно приходит к убеждениям, а не подчиняться чужой воле, следовательно он должен знать о сионизме, итальянском фашизме, католическом клерикализме, мусульманском экстремизме (хотя не все мусульмане экстремисты), ростовщичестве (хотя не все банкиры ростовщики?), жертвоприношениях, феминизме... Статьи, лояльные к однополрой любви или к однополрой семье мы печатать не будем. Призывов к нарушению прав и свобод граждан и к вседозволенности государственных чиновников (включая императоров и их слуг), печать тоже не будем. Все остальное...

Обозначу свое личное направление мыслей и чувств, его я называю **русским народничеством** или *просвещенным русским национализмом*. Выделенный жирным термин предпочтительнее (однако слово *национализм*, хотя оно нерусское, как теорию и практику защиты своего народа, надо вернуть в политический язык наряду со словами патриотизм или «любовь к ближним») (*эффемизм*, заменяющий слово *национализм* у христиан, стесняющихся о нем говорить, ибо они провозгласили, что "отныне несть ни еллина ни иудея"). Слова *интернационализм* и *космополитизм* говорятся и печатаются, и за них даже не бьют в морду, а ведь их следует приравнять к измене Родине, особенно во время войны. Война же против России идет и не прекращается, и "толиправственные" призывы к космополитизму сродни призывам к разоружению перед врагом и призывам предпочесть чужую родину своей. Я не призываю сажать в тюрьму тех, кто бежал за сытой жизнью на Запад из России, но если бы и призывал, многие русские граждане, особенно из старших поколений, меня бы поняли и поддержали. (Но, впрочем, во имя воссоединения с *исторической родиной* я делаю исключение для немцев, поляков, литовцев, финнов, евреев, корейцев, китайцев, ... ибо отчего же запрещать человеку ехать к могилам предков, тем более что и Пушкин призывал «*дорожить родным пепелищем?*»). Кстати, невозможно ничего важного сказать, не ссылаясь на авторитеты, и Пушкин в этом отношении авторитет не просто бесспорный, но – глубокий, точный, образно емкий, общедоступный и общепонятный. Как ссылаться на Троцкого, если его не все читали? Как и на Навуходоносора? Думаю, более нет нужды защищать не только право, но и священную обязанность журнала собирать русский урожай не только на ниве 19-го столетия, но и на ниве 18-го, где сеяли Карамзин, Державин, Фонвизин, Радищев, Ломоносов! Советский двадцатый век изобилует важными именами, но в значительной степени их творчество подверглось некой мистической перегонке, *русскость* из множества произведений выпарена как вода из морской соли. Но сделаю еще одно важное замечание. Я говорю о русском национализме, а иногда пишу для большей понятности «общерусский национализм», это значит, что **русский** для меня тот, кто сам себя полагает и чувствует *русским*, хотя бы по крови его родители принадлежали к эвенкам или карелам. Вот и недавно в путешествии

по Карелии я встретил такую замечательную русскую карелку, которая возмутилась теми, кто из России уехал в Финляндию. Все, кто бросил родину, особенно когда она смертельно больна, это предатели, запальчиво вскричала она. Поэтому для меня естественны выражения *русский немец, русский поляк, русский еврей, русский цыган...* они могут, если им так удобнее, просто именовать себя русскими, и они в моих глазах не менее русские, чем я сам, *русский из русских*, хотя и русский сибиряк.

В доказательство приведу пример, который я нашел в интернете. В 90-е годы эвенкский охотник увидел по телевизору сцены издевательств над русскими пленными чеченских боевиков, взял винтовку Мосина 90-х годов 19-го столетия и поехал на Кавказ, там он вступил в Российскую армию в качестве снайпера. За три года службы он ни разу не изменил своей охотничьей привычке стрелять белке только в глаз, и прославился как один из десяти знаменитых снайперов мира. Оправдан же он тем, что чеченские боевики были не только солдатами воюющей вражеской армии, но и зверски мучили российских военнопленных, что ставило их вне человеческого сообщества (пусть радуются, что их приравняли хотя бы к белкам).

3. ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ

7 мая 18. Федор Тютчев в знаменитом стихотворении *Silentium!* (Молчание) советует «Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои...», имея в виду невозможность взаимопонимания «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?», ибо «мысль изреченная есть ложь». Но по *умолчанию* прозревается в стихотворении и **общественная несвобода поэта**, о которой ясно говорит Пушкин, но которую он же пытается и умалить "Зависеть от царя, зависеть от народа – не все ли нам равно?", и глухо (или "по умолчанию") – говорит о ней Тютчев.

В сравнении с двумя великими поэтами я сегодня относительно свободнее, внешняя цензура как будто отсутствует – но есть ведь страх: *ужо как махнёт топор палача* (вместо моего бумажного топора на обложке журнала, который никого не страшит)?! – а махнет он непременно, пока меня минует, но не все столь счастливы, да и я только отложен.

Однако между мною и читателем словно не только пропасть, но какие-то горные ущелья, в 19-м столетии поэт должен был надеяться на большее взаимопонимание, и оно было, читатели были гораздо умнее и образованнее наших современников (не обижайтесь, о други, вы ведь не учились в Лицее, где изучали и античную историю и литературу и четыре как минимум иностранных языка, помимо русского, я ведь и сам чужих языков не знаю, что мне мешает, хорошо, хоть, русским владею сравнительно не так плохо – не обижайтесь, я же не говорю, что лучше всех, а только что лучше большинства – ну так и надейтесь на то, что вы входите в то меньшинство, которое лучше даже меня – редко я заявляю, что я лучше многих из этого меньшинства, только в отчаянии, когда мне кажется, что я совсем одинок!).

Так вот, взаимопонимания почти нет, потому что читатель не знает русской истории, русского языка и русской литературы – это во-первых. Читатель не знает философии – или, еще хуже, когда и знает, то или марксизм

или христианское богословие так сильно давят на него с какой-либо стороны, что он даже принимает за аксиому, что никакой истины и никакой объективности и правды не может быть помимо подчинения партии (марксистской или христианской или какой-нибудь еще). Читатель не знает математики, и поэтому не способен уразуметь, что есть вещи незбылемые более, чем Бог, и никакое, например, *простое* число даже Бог не может сделать сложным... впрочем, математика входит в само содержание божественной сущности, а вот богословие – не входит! Да ведь и Новый Завет говорит то же самое, что и я, например, что «Бога никто никогда не видел» (апостол Петр), или что «если Христос не воскрес...» (апостол Павел), откуда следует, что сам текст Священного Писания не предписывает «слепую веру», не говоря уж о том, что триста лет на Всемирных Соборах этот текст епископами исправлялся... правда, вскоре начали сжигать... Ну и марксисты сначала говорили, что марксизм не догма, потом начали сжигать... ммм... расстреливать за мельчайшую "отсебятину". Но есть даже и худшее – читатель перестал знать и марксизм, сравнительно с 20-м столетием – а без этого как понять наше недавнее прошлое? Читатель не знает ни истории церкви, ни богословия, ни Священного Писания (даже тот, кто думает, что он христианин или марксист) – а без этого ничего не понять в двух тысячелетиях европейской истории, в частности русской, ничего не понять в литературе и в человеке – не понять главное: почему человек идет за вождями, часто тупыми, жестокими и безграмотными. Пример повторяю уже навязший в зубах. Ильич не способен был понимать философию (как есть люди, не способные слышать симфоническую музыку, есть люди, не понимающие математику – они, правда, не доказывают теорем и не играют симфоний. Но Ильич написал книгу «Материализм и эмпириокритицизм», не понимая или даже не прочитав Маха и Авенариуса, и даже не понимая Богданова, которого прочитал и с пересказом которым Маха он и спорил. Ильич не понимал Беркли и Фихте, не говоря о Канте. Не верите, что это так может быть? Спросите любого университетского преподавателя философии или истории философии, они вам скажут (только не спрашивайте вчерашних следователей КГБ или секретарей парткомов, они сами ничего не читали). Все это меня так удручает, что я не знаю, как справиться с презрением к собственному невежественному и самоуверенному народу. Шафаревич говорит, что народ (тот, *большой*, то есть вот именно этот самый невежественный), хорош, и только *малый народ* (который почти все знает, даже больше меня), плох. Я Шафаревича люблю, но согласиться с ним не могу.

Отвлекаясь я от своей статьи, чтобы объяснить, почему и зачем в «Журнале с топором» я печатаю разных Розановых, Мережковских, Ивановых-Разумников, Пушкиных и Тютчевых, и скоро буду печатать только их и никого из моих современников, даже себя – потому что сравнительно с теми мы невежественны, даже я, и не умеем писать и излагать мыслей (да и мыслей у нас почти нет). Будем читать тех, лет через десять научимся (столько как раз учатся в школе и в Лицее), начнем писать как они и поймем, отчего Россия погибает, может быть, еще нам удастся ее спасти.

А меня (сознаюсь честно) Россия волнует больше всего остального, больше моей здешней или посмертной славы, больше бессмертия моей души (в которое в христианском смысле я не верю, впрочем, они не знают сами, что имеют в виду, говоря о бессмертии – двенадцатилетнюю девочку Христос воскресил так, словно она заснула на минуту и проснулась в тот самый мир, в котором заснула, надеюсь, потом она со всеми росла и даже вышла замуж. Но обещанное после Страшного суда воскресение, после которого ни женятся ни выходят замуж и не имеют тел, то есть не имеют и возраста – но куда воскресают? К тем современникам, с которыми общались в детстве, уподобившись детскому возрасту, или с теми, с кем мы провели юность? Или с кем зрелость? Мой отец воскреснет, он спас свой взвод ценой своей смерти, но как мы встретимся, он, моя мать, и я? Ему было 28 лет, когда он погиб, матери 80 лет – когда она мучительно умерла, мне было два года... Или в наших воскресших ноуменальных сущностях не будет ничего феноменального, прежде всего **времени** – а как в мире? И в мире, в котором мы вдруг появимся, будет ли время? Да тут кстати вернуться и к первородному греху. Ева из женского любопытства схрумкала яблоко, мы вдруг стали смертны, но зато у нас появилась природная (половая) любовь. А если б она воздержалась? Адам и Ева ведь любви б не познали, и деток бы не было, или чрез почкование? И жили б все вечно (которые из почек), и не было бы греха... А что-нибудь было бы? Было ли бы Зло? И Добро? На все подобные вопросы ни Священное Писание ни богословие не дают ответов – потому что НЕ ЗНАЮТ их. И я спрашиваю себя: а знал ли эти ответы сын Божий (сам объявивший себя Сыном Божиим, но сомневавшийся в том еще на кресте). Все сие я пишу не для того, чтобы обижать христиан, я даже коммунистов обижать не хочу, я не думаю, что Маркс искренне хотел, чтобы его непродуманное учение было превращено русскими большевиками в религию (усилиями Ильича и Троцкого). Но в отличие от христианства, которое исчезает, как только вы отвергаете «Первородный грех», ради искупления которого и пришел Христос (и даже онтологически был замыслен), социализм, никак не связанный с Марксом, не исчезает, если мы отвергнем диктатуру пролетариата и двуличный еврейский космополитизм-интернационализм. Социализм существует с древнейших времен, это попытка обществу устроиться при равенстве гражданских прав, независимо от сословной принадлежности.

Почему я называю интернационализм *двуличным*? Потому что его отцом является единственный в мире народ, исповедующий одновременно две противоположные религии: религию исключительности и превосходства избранного еврейского народа и религию общечеловечества, борьбы с национальным разделением. По посланиям апостола Павла легко проследить драму еврейской души, раздираемой этими противоположностями. Будущий апостол, тогда еще Савл, из рода фарисеев, «еврей из евреев», как он о себе позже написал, начинает с гонений христиан, затем ему предстает на дороге в Дамаск Христос в образе видения, Савл становится ревностным христианином Павлом, проповедует христианство и разбирает тщательнее всех других христианских писателей отношения Христа и еврейства. Начинает он с того,

что Христос пришел к евреям, продолжает тем, что он пришел не только к евреям, а заканчивает тем, что Христос пришел не к евреям, а только к язычникам. Начинает он с того, что он «еврей из евреев», а заканчивает тем, что «отныне несть ни еллина ни иудея».

Я не судья никакому народу, кроме русского, поэтому не говорю, что один народ хуже другого, я не знаю, почему вдруг монголы хлынули на запад и прокатились катком по телу Руси, я не знаю, почему вдруг немцы хлынули на восток и прокатились новым катком по русскому телу. Я не знаю, почему русским чужда объединительная собственная родовая идея, и мило или призвание чужих заморских гостей, или безродное (к тому времени) христианство, или космополитический марксизм, и непременно под водительством чуждых по крови вождей, но защитниками общечеловечества оказываются русские, русофобы среди них гораздо чаще, чем среди гуннов и евреев – правда, и безумные расово всех превосходившие (как они уверяли) немцы и высокомерные французы, каждый из которых только что кичился своей кровью, ныне возненавидели собственное отечество, более того, возненавидели пол и род. Но так как я не могу объяснить человеческую увлеченность бесплотной идеей Бога, не могу объяснить стремление к страданию и ненависть к трансцендентной греховности непостижимой природы, которые скрепляли проповедников христианства в некое всемирное братство (и даже наш Достоевский откуда-то взял, будто человек жаждет устроиться всемирно, в то время как одни других ненавидели), и так как я не могу даже теорему Ферма доказать (хотя доказал один ее частный случай, правда, как оказалось, в девятнадцатом веке уже доказанный – но все же на все человечество пришлось только два таких идиота, которые сумели хотя бы частный случай ее доказать) – то не буду пытаться объяснить все странности, связанные с историческим поведением человека: вон в Египте поклонялись жукам-скарабеем, в Индии не пьют молока от коровы, во Франции жарят лягушек... ну а женщинам свойственно столь много странностей, что одна и та же свела с ума двух самых глубокомысленных русских писателей, Достоевского и Розанова... если б вы знали, сколь многим удавалось свести с ума даже меня! Но продолжаю...

В основе племенной и частной жизни лежит любовь, она дана человеку триедино, как биологический природный (половой) инстинкт, как мета-физическое чувство, соединяющее этику, эстетику и логику (то есть нравственность, красоту и интеллект), и как трансцендентная связь мужчины и женщины. О любви я написал целых три книги, привлекая Шопенгауэра, Толстого, Дарвина, Владимира Соловьева. Но это частная и родовая основа жизни, она же и основа культуры, но есть еще жизнь историческая, субъектом ее (одновременно же субъектом культуры) является **народ**, частная личность в среде человечества. Важнейшую роль в судьбе народа играет также биологический природный инстинкт, а именно **Инстинкт самосохранения**.

Индейцы Южной и Северной Америк триста лет сражались с пришлыми европейцами за свое право жить цыганской жизнью среди лесов и прерий; народы Индии сумели сбросить гнет ненавистных англичан, а африканцы

сбросили гнет целой Европы; народы Афганистана, бедствующие в своих нагорьях, горах и пустынях, более двух тысяч лет противостоят македонцам, британцам, и даже Советскому Союзу, поучавшему народы целого мира, как им жить, и беспардонной Америке – и только Европа обезумела, а с нею и Россия, и проповедует скорейшее вырождение собственных народов и слияние их остатков с новыми гуннами – ибо те, коим не сидится у себя дома, это гунны, жаждущие наших богатств и наших женщин! (А кстати, сегодня вы возмущены американцами, всюду сующими свой крючковатый нос – а вы забыли, якобы русские, как еще полвека назад на всех континентах вы лезли со своей интернациональной помощью ко всем, кто у вас ее не просил, в Анголе, на Кубе, в Конго, в Корею, в Китае, у пингвинов, у папуасов, папайя и протопуэрторико? Даже на Марс прилетели раньше других – как об этом сообщил нам другой Толстой, – неТолстой, как назвал его Солженицын), чтобы там совершить пролетарскую революцию!). Но *хватит петь*, как велит мне внук Паша, *дедушка, не пей!* И потому кончаю: *я пришел призвать вас стать снова собою, очистить леса и реки, и поднять ввысь души!*

4. ТОЛПА на Невском проспекте, превратившаяся в НАРОД.

9 мая 18, Сначала мы с товарищем прошли от Знаменской площади до Александро-Невской лавры, на всем протяжении небольшие ансамбли пожилых мужчин и женщин пели с энтузиазмом песни военных лет, но были среди них и молодые. Пели все хорошо, одеты были в национальные костюмы, были и татары, и жители Северного Кавказа, и монголы, и башкиры, и карелы, и ингерманландцы. Обычно серьезные выводы делает философ, подвергая анализу и синтезу не столько впечатления действительной жизни, сколько построения ума, как и математик доказывает свои теоремы, не ссылаясь на рисунки треугольников на песке, а на абстрактные отношения абстрактных математических элементов – но в данном случае (как и в подобных же, относящихся к сердцу жизни), вывод следует из впечатлений и событий, и при этом даже более достоверен, чем следующий из силлогизмов, потому что иные события и впечатления обладают глубиной и всеобщностью **символа**.

Сначала напомним азбучные истины о формировании европейских народов. Англичане объединили кельтов и англосаксов, шотландцев, валлийцев, отчасти ирландцев... Сегодняшний француз, поклоняющийся Орлеанской деве, возможно, потомок бургундцев, которые вероломно ее захватили в плен и продали англичанам, которые ее сожгли, или эльзасский немец, который то становится французом, когда в результате войны Эльзас отходит к Франции, то снова становится немцем, когда Бисмарк или Гитлер отвоёвывают его назад. Итальянец соединяет в себе кровь римлян, населявших Апеннины, сицилийцев, греков, колонизовавших юг Италии еще до расцвета Рима, этрусков и варваров (германских племен, накатывающихся на северную Италию в течение полутысячи лет, так что Флоренция и Венеция обязаны варварам. Русские дворяне постоянно тщились доказать свое происхождение от Рюрика, но не от славянских князей, крестьяне же свободно вбирали в свое племя угро-финские племена, как река вбирает в себя притоки. Так было при

рождении и становлении народов, но сие происходит донныне, притом надо иметь в виду, что национальное в человеке существенно разнится с половым: Пол – это биологическая характеристика человека, национальность же в значительной степени – историко-культурная (на чем нет нужды излишне останавливаться, так много уже сказано и более сведущими чем я).

Сегодня на Невском в народных «этнографических» нарядах пели татары, башкиры, карелы – но все они были несомненными русскими, не менее несомненными, чем я сам. Народ создается не кровью, не рождением, а **общим языком, судьбой и памятью**. В Сибири в моем классе сидела внучка Махно (якобы *украинка*), сибирский *татарин* (это совсем другой народ, нежели казанские татары), еврей, мордвин, немец, ... вероятно, я один различал их по родам и знал о родах (такова была моя особенность – знать много лишнего), но все остальные считали и чувствовали себя единым народом – в Сибири это единство было особенно сильно. Коммунистическая политика нас всех искусственно разъединяла, но общая Судьба нас обязана связать воедино снова, как это было во времена Российской империи.

Возрождение России и единого общерусского народа – вот главная задача современной исторической жизни.

10 мая 18. Горе быть учителем, пятнадцать раз исправляющим в тетради «заедеваело», чтобы наконец **нирадивый** ученик в семнадцатый раз написал правильно слово Иней. Вот и я повторяюсь до одурения, уже и сам перестаю понимать, что правильно, что неправильно. Я русский националист (народник), но больше всего обличаю русских, чаще защищаю евреев. Я против вселенского смещения, против общечеловечества, против той каши, в которой нет уже вкуса ни одного из зерен, нет их аромата – но в то же время умилен и подвигом эвенского снайпера, и он для меня русский из русских, а коленопреклоненные толпы русских идиотов, счастливых от того, что Сирию разбомбили, или что Грузию шапками закидали, или что одну часть русского народа натравили на другую (в Донбассе, в Крыму, на всей Украине) вызывает во мне **боль и ненависть**. Русские, говорю я, тупы и преданы повелителям, как пьяная баба, которая любит того, кто ее бьет. Всё очень просто. Народ устроен в двух уровнях бытия, он двуедин, двоесущностен, его характер, быт, поведение, помыслы и обыденность коренятся в телесном и психологическом, и часто мы нацией и народностью называем его **психологию** (по выражению Вадима Салова), и глядя на гитлеровские орды, недоумеваем: *где величие немецкого народа?* И все же мы смутно понимаем, что Толстой и Булгарин не равны не только как писатели, но как Идеи, как трансцендентные сущности, так же не равны Бетховен и немецкий фельдфебель... Загадка заключается в том, что в трагические моменты своей истории, по своей *дурости несусветной* (выражение Башлачева) промотав и пропив Россию до Волги, даже этот дикий русский народ вдруг *становится* равен своей Идее, равен самому себе *ноуменальному*, равен Замыслу о нем Бога (всеродне, вместе со всеми своими собственными поволжскими немцами, северными ненцами, татарами и башкирами, эвенками и евреями (которые в этой странной

России такие же русские, как мы сами – или иногда, такие же нерусские, потому что русские чаще всего меня, русского, клеймят печатно и устно за якобы шовинизм и национальную рознь, сажают в тюрьму и в сумасшедший дом, а то и расстреливают на берегу Байкала...

Эти русские, которых я так временами отчаянно ненавижу и готов послать на строительство Северной железной дороги – и пошло! – меня раздражают, вызывают во мне бешенство, сами меня иногда готовы зарезать тоже (писал, писал один из них патриарху письмо с просьбою разрешить ему пырнуть меня ножом!) – но что-то нас связывает, как развязаться? Я их ругаю за то, что они не думают о своих детях (которые ведь и мои дети!) Если мы войну и выигрываем, то наши дети в количестве тридцати миллионов лежат на всех болотах России и Европы и некому похоронить их. Бездарных маршалов, памятники которым стоят на Красной площади, поставили во главе они, памятники от поношения защищают они... и что же, пронести фотокарточку своего деда по Невскому или его бездетного брата (многие ведь погибли, не успев никого родить) – этого достаточно?

Я мысленно собираю наш народ на краю безбрежного гречишного поля в скорбном молчании и пытаюсь ему перечислить его вины...

Мои деревенские крестьяне почти все не умели читать, но пели прекрасные русские песни, и все заставляли своих детей хорошо учиться – а сегодня растлилась и школа и университет, только чиновник всеислен как новый барин и там и туг... И учительницы носят на выборах незаполненные бюллетени в незаполненные урны, как Буффон (нет, кто-то другой?.. Кювье!) подпиливая кости неандертальца, чтобы доказать, что это от него произошел человек (и я уже не верю, что человека создал Бог, не мог создать Бог такого порочного и дурного!). Не то плохо в России, что олигархи ограбили ее и вывези золото за рубеж, а что образование пало, что песни петь перестали, что книги не читают, что музыку в филармонии и в опере не слушают ни стар ни млад, что поля и леса, озера и реки стали свалками! И это мои друзья и родные, мои христианские *ближние*, которых я якобы должен любить! В.П., всё жалел, что Сталин Пятую колонну не всю пострелял (вчера несли дети пострелянных его портреты по Невскому), устал я с ним спорить, собрал наших соратников по «Русским страницам», повез всех в мою деревню в "баню по черному", проехали треть пути, что-то где-то конечно сломалось, пришлось искать поляну, разжигать костер, хорошо, что с собою была и выпивка и закуска – ох, погуляли славно! (Но до деревни мы не доехали, устали пить и вернулись).

М., мой товарищ студенческих лет, сибиряк, как и я, ездил на открытие памятника отцу и старшему брату (боровшимся против советской власти) в центр вражеской земли, вернулся, вздыхает: здесь, говорит, лучше (какого рожна ищут за границей ежегодно 150 тысяч самых талантливых русских людей, уезжая на Запад за длинным рублем и «красивой жизнью»? не так же ли и изношенные актеры бегут от жен к молодым соблазнякам? Я не говорю, что соблазняться не надо... но надо ли убежать?!). М. до моей деревни доехал, и я его повел на Мсту ловить рыбу, по дороге 12 километров, давай, говорю, *напрямки!* К вечеру дошли, начали ловить, местный мальчишка кричит:

дяденьки, здесь рыба вверх дном плавает! На обратной дороге насобирали грибов, у соседки купили самогонки (в магазине водку брать я уже боюсь, если вместо сыра нас пальмовым маслом кормят и фуражным зерном, то какая же водка в магазине?)

Но кроме психологии черни, которая нас всех обуюла, есть еще **русскость**, вокруг нее, как вокруг знамени, я и хочу собрать мой народ. Я против вселенского перемешивания, потому что не перемешиваются литературы, музыка, философия, не перемешивается русский язык с китайским! **Психология**, которою подменяют народность, то же, что дым и сажа и копоть, когда я топлю свою **баню по-черному** – заканчиваю топить, проветриваю, кидаю ковш воды на каменку, потом закрываю хайло, через десять минут мы взбираемся на полок – Европа – это *баня по белому*, она тоже хороша, не отвергайте сгоряча Европу, немного розог, и она образумится – но нет лучше русской *бани по-черному*! Этот **дух**, который пронизает всю плоть до костей и даже кости – он *самый душистый дух в мире*! Но розги нужны и нашим русским... Розги нужны и мне – почему я не умею писать так, чтобы рушились камни?! Правда, ходил я с Сократом по улицам Афин, ничего особенно умного в нем нет, за что благодарные жители его казнили, тем и прославился?! Но пали Афины, пал Рим, пал Константинополь. Ужели и мы падём? *О, Русь, небесная странница, в тебе упованья мои! Но ты мне не внемлешь...*

5. Исповедь русского националиста.

11 мая 18, В восемь часов вечера заболел живот, если когда-то я мог есть жареные в машинном масле гвозди, то сегодня лучше их жарить вовсе без масла и без всяких других приправ, они могут оказаться либо *пальмовым маслом* вместо машинного (что неизмеримо страшнее), либо наполнителем, улучшителем вкуса, разрыхлителем, красителем или веществом, сохраняющим продукты питания от порчи, то есть *консервантом*. Эти страшнее синильной кислоты и мышьяка и цианистого калия вместе взятых. Вчера у нас была коммунистическая диктатура, и хотя мы пили водку из опилок, как пел Высоцкий (который ее при этом и пил), но от этой водки мы еще не умирали, она не была «палёной!» (что сие значит, я не знаю, а те, кто от нее умирает, не успевают сказать). Сегодня наступила долгожданная демократия, и если вчера еще на что-то я мог пожаловаться в газету «Правда» или в Партком, и иногда это помогало, то теперь все настолько продажно, что даже за цианистый калий мы сами платим. Обыватель при современном режиме не может повлиять ни на что, ни на выборы президента (как и при Брежневе), ни на процент радостных голосов (а тогда было еще больше, чаще всего блок беспартийных и коммунистов набирал вместе сто один процент голосов вместо нынешних трех четвертей!). Но водка была не ядовитой и сметану хотя и разводили, но делали ее не из мела. Итак, я съел полбанки икры кабачковой и три мелких помидорины (жилистых, как австралийские кенгуру, которые недавно нам поставляли вместо мяса, пока не начались санкции против оставшихся в живых россиян, спасибо Трампу) – и в восемь часов вечера начались рези. Это еще ничего, я их терпел, но в одиннадцать

вечера в области сердца началось **жжение**. Да не подумает читатель, что я какой-то хлюпик (хотя я и хлюпик), и даже укус комара воспринимаю как укус гадюки – нет, начало нормально жечь, как жжет уютю в руках у бандюги, вытуживающего у вас номер счета, на котором деньги лежат. Правда, денег у меня нет, счетов тоже, у меня даже электронных карт нет, ни одной, потому что мне никто никаких денег не присылает, а пенсии меня лишил наш народный капиталистический суд, увы, уже не «самый гуманный суд в мире».

Я пересмотрел свои отношения со всеми, даже с христианским богом, во всем покался, понял, что был обуян гордыней (думая, что скоро издам очередной номер журнала), написал завещание... не помогло... Точно то же самое я однажды уже испытывал, выпив глоток той самой палёной водки, тогда я целую ночь пролежал на операционном столе, уговаривая хирурга и главврача (которые около меня встали в полночь с ножами в руках, то есть, по ихнему, *скальпелями*), уговаривая их «подождать до утра». Тогда обошлось, на третий день боли сократились и резать живот не понадобилось. Но теперь – запас прочности поубавился, тем более что недавно закончились выборы...

И тут я вспомнил, как в моем детстве в нашей деревне крестьянин поступал с коровой, объевшейся клевера (а клевер для коровы был то же самое что для русского человека современная капиталистическая кабачковая икра или помидоры) – тогда такую корову гоняли, заставляли бегать, а сзади разъяренный крестьянин хлестал ее кнутом.

Итак, я спустился во двор и начал бегать вокруг дома (благо уже настала ночь и никто не наблюдал за моим мелким бегом.)

Как ни удивительно, хотя брюхо болеть продолжало, и даже болели близлежащие ребра – но жжение в сердце остановилось. И я лег в постель, хотя еще не раздеваясь, но уже на что-то надеясь, и понемногу дремал, в два часа ночи вышел в прихожую и стал *прыгать*, стараясь сотрясать как можно сильнее свое *тело* (это именно в нем все причины грехов и неправд и скорбей, даже причины смерти, которая мне казалась уже вероятной – а я боялся не только ножа хирурга...).

В четверть шестого я проснулся, оказывается, в последние два с половиной часа я спал. Болело все тело, болели ноги, поясница, шея, спина, грудь, но сердце не болело, да и брюхо, хотя тупо ныло – но разве же это боль?!

И в начале седьмого мы уже выходили на платформу (а жена все это время еще на что-то надеялась, она меня продолжала уговаривать, призывала сдаться, покаяться и вызвать скорую помощь, отбросив гордыню – она, кроткая, думала, что после всего бывшего у меня еще что-то от гордыни осталось? Да какая гордыня в нашей великой стране, в которой *человек проходит как хозяин в необъятной Родине своей*, и человек – это звучит – *гордо!* (конечно, если это человек с большой буквы. Я был человеком с маленькой буквы, как все жители нашей необъятной родины, все русские, эвенки и евреи, все ненцы, поволжские и казахские немцы, чуваша и татары – кроме членов политбюро и **аллигархов** (разумеется, и ОПГ).

На выходе на платформу я посмотрел на табло, на котором оповещалось,

кому куда надо – но все надписи, поскольку мы были **не** в Парижском туалете, о котором Высоцкий тоже пел, были **НЕ** на русском языке.

И наконец во мне произошел окончательный поворот и переворот: во первых, я понял всю историю, политику и геополитику, царский режим и советскую власть, во-вторых, я понял, как надо жить и за что страдать и бороться. Русские в России (которых я не очень люблю) не очень любят евреев (к которым я хотя отношусь и терпимее, чем к русским, но не пылаю любовью тоже), иногда не любят тех или других (как общественный ветер надует им в то ухо, которое приложено к телевизору или к газете). Я не люблю, по существу, никого, кроме своих родных и друзей и тех замечательных людей (чаще из предыдущего поколения), с которыми сталкивала меня жизнь (вчера прослушал в интернете последнюю прелестную лекцию Сигурда Оттовича Шмидта, вспомнил наши встречи у него дома, я издавал некоторые его книги и мы подружились...) Итак, в России живут русские, эвенки, татары, немцы, карелы, тунгусы, цыгане... **Я пришел их защищать от враждебных сил.** Они все – мой великий русский народ, вот такой своеобразный, русско-еврейско-татарский (не зря его жена называет одного моего товарища "жидо-татрином") Нам всем противостоят два других агрессивных народа: *православные* (раньше я их тоже защищал, но они испортились) и *коммунисты* (они всегда были против нас). Они вместе с большевиками и бандитами захватили нашу страну и мучают наш общерусский народ. Смысл моей оставшейся жизни состоит в том, чтобы русские (общерусские, русско-еврейско-татарско-эвенкские) вернули себе свою страну, и на табло начали писать расписание поездов по-русски, и мы не боялись ругать и отставлять от власти Политбюро, коммунистов, православных, бандитов и агентов иностранных разведок, и вообще всякую сволочь, *захватившую* нашу страну. (А с чего это ты так *раздухарился?* – спрашивает меня жена. Да с того, что я вдруг окончательно понял, что смерть вдруг может взглянуть прямо в глаза даже на ровном месте, *ни с того ни с сего* – а тогда **уже не успеешь стать человеком.**) (Но все же не печатать ли мне все это мелким шрифтом?... хотя вряд ли поможет... да и некогда... надо все же хоть напоследок стать человеком!)

12-13 мая, суббота, воскр. Ночью ко мне приходили философы, в частности Иван Ильин и кто-то еще, разговаривали о чуде рациональном и о чуде таинственном, рациональное чудо они принимали, таинственное отвергли.

Нация двуедина, в ней духовное и плотское сливаются (как и в человеке): **кровь**, плоть, *перстное* (как говорит апостол Павел) и **душа**. Но и любовь двуедина, пусть она даже животный инстинкт, но вместе с тем и культура, и память и многое еще...

Продолжаю мелким шрифтом, вдруг не все прочитают, и мне все сойдет с рук? Все равно ведь боюсь... В человеке есть нечто от неба, от «божественного предопределения» (и искушаемые Богом, увы, прижимаются к нему так, что предадут человека во имя, как думают, Бога, а в действительности во имя Сатаны), но есть и нечто от своеволия, их разведение делает человека или добропорядочным

обывателем, верно-подданным, праведником, – или разбойником, хулиганом, революционером, анархистом. А их редкое соединение, их синтез (*предопределения свыше и своеволия изнутри*), внешней организации и личного долга (перед государством, семьей, близкими, народом, человеком) – делают нечто необычное, делают из человека такого как я.

В человека вложена *необходимость подчинения долгу и власти* (вот в чем объяснение верноподданности и желания раствориться в барине, рабовладельце, тиране, в Сталине и в Гитлере, в скверно понятом, усеченном боге, божке, идоле, сотворенных по образу барина, рабовладельца, тирана, жажда растворения, в конечном счете предающая человека!), но и жажда свободы, своеволия (вот он, бунт Ивана Карамазова и Достоевского и Алеши – и мой бунт, более сознательный и более роковой, трансцендентный, доводящий до отпадения от Бога во имя человека. Соединить божественное и природное в человеке почему-то кажется трудным (а я с этим даже родился, временами и думал и чувствовал, как будто я беседуя с Богом как с доброй и милой учительницей).

Человек национально рождается и по плоти, по крови (от родителей, которые, впрочем, не совсем природны, они прошли тысячелетия становления в народ, и даже если они оба русские, то сколько в этом русском от скифа и угра, от славянина и обра – кто знает, кроме меня?) – но рождается и от народной памяти, от сказок и присловий Арины Родионовны, от *культуры* (в Лицее и в школе в Краслаге). Человек двойствен даже национально (как, кстати, двойствен отчасти и через *пол*). И все же он – чистокровный, полукровка, или *черт его знает что* (это три вида в отношении к нации, и я соединяю в себе все три) – *национален* (как при всем он мужчина или женщина).

Я пришел защитить всех – поэтому и соединяю частное в целое.

Есть жажда устроиться **национально** (как устроивался немецкий народ и французский, разные там бельгийцы, швейцарцы и скандинавы) и жажда устроиться в империи (эллины, римляне, испанцы, португальцы, англичане и – самое естественное – русские. Но есть *руссофобы*, которые сему мешают, это по большей части *природные русские*, почему-то им все русское претит, они бы хотели жить в СССР (который не был русской империей, но **подчинением** великого русского народа всеобщей каше в головах и в мире).

Полукровки либо в конце концов примыкают к одной половине, клянутся ей в верности и любви (таков и Христос; возможно, полукровка и апостол Павел, как предполагал бывший полукровкой Чемберлен, бывший англичанин, ставший немцем и духовным отцом Гитлера), либо становятся выразителями имперского сознания, при том становясь испанцами, англичанами, немцами, а уж русскими до мозга костей (Даль, Екатерина, Пушкин, Достоевский, отчасти таков и я).

Чистокровный еврей, как правило, или сионист (как Файнберг, мой тюремный товарищ), или просто еврей, или просто человек, или русский (так, впрочем, и с немцами). Чистокровный русский полукровен! – вот разгадка подлинных русских, таких как Пушкин, Достоевский (почему-то, впрочем – из-за своего повернутого христианства стремившийся к всемирности, откуда недалеко до руссофобии) и Гоголь, и Даль, и, разумеется, ВИ. А полукровный русский, то есть настоящий русский, непременно националист, стремящийся *возродить Россию как империю для всех*, в которой русские являются соединяющим духом, кровью, идеей, ЯЗЫКОМ и литературой. Подлинный русский – националист, народник. Против **национализма** все скрытые руссофобы, и явные, все ненавистники русскости (вот

они и жаждут СССР, в котором за произнесение слова русский сажали в тюрьму а то и расстреливали!) Русский национализм – это народничество и имперское сознание, это братское объединение всех в России в одну великую семью.

Христиане и коммунисты избирают для себя – в духе – вместо русскости христианство или коммунизм, поэтому непременно, будучи полукровками, становятся русофобами.

Но кто таков я сам? О, со мною просто *таинственная* (не рациональная) *мистика!* Я сибиряк, а Сибирь – алхимический плавильный тигль, мы там все русские, и евреи, и тунгусы и татары, и эвенки (особенно с винтовкой Мосина в руках или, в крайнем случае, с топором дровосека или лесоруба).

Вот почему я пришел не отменить народ и народничество, но подтвердить их. И защитить и русского и еврея и всякого другого от Молоха государства и еще от Молоха искаженного интеллигентского сознания, ненавидящего всё естественное, плотскую любовь, голос крови и голос духа, сострадание, культурность... Почитайте **интеллигентов** – непременно голубые, непременно верноподанные, упертые православные, упертые в Сталина, в тоску по СССР, в вояжа, в тирана, в сталинскую КПРФ, в Единую Россию (в которой столько же России, как во мне еврея) – хотя именно **я и только я – с евреем еврей и с тунгусом тунгус** – вот подлинное определение русского человека, *каким он и должен был родиться через двести лет после Пушкина* (по предвиденью Гоголя).

Да ты не возомнил ли себя **мессией**? – вскричал возмущенный читатель (православный, сталинист, коммунист, русофоб – что одно и то же).

Ну, не совсем... Это Володя Меньшиков меня подвигнул. Он прочитал мою «Исповедь пасынка века» и тоже вскричал: если уж идти до конца и быть дерзким, то и напиши прямо: **Я русский мессия!**

И вот, предыдущей ночью, собираясь умереть (я выше о том писал) я и подумал: надо успеть стать *человеком и мессией*, а то умру и не успею. Поэтому надо ли откладывать сие до лучших времен? Много было уже тех, кто обещал нас спасти, *всемирно* (по Достоевскому) или местечково (по нему же, так, как в селе Степанчикове), а так как никто еще не спас до конца, как жили и двадцать веков назад, одни богато, другие бедно, одни кое как, другие во всю силу, то и живем до сих пор, поэтому, кто бы сегодня ни объявил себя *спасителем* (что и значит в переводе с еврейского *мессия*), нельзя сказать, что у него на это прав меньше, чем у бывших до него, будь то Савл, ставший Павлом, Баркохба, взявший сначала даже Иерусалим у римлян, Спартак, Лютер, Маркс, Ильич, Виссарионч, Шри Ауробиндо (уже и не помню, кто это такой, но и он был мессией)... люди живут плохо, иногда, по приходе спасителя, они живут хуже, не знаю, спасу ли я вас, но хуже вы жить не станете, обещаю (ибо хуже жить невозможно!)...

Я вас буду любить (частично), от вас же поклонения требовать я не буду.

14 мая, понедельник, семь утра. Какая-то сердечная усталость, *плохота*...

Недавно закончил «Исповедь пасынка века», словно бы только о себе писал, но ничего существенного о себе я и не написал. Там все о том, как я воспринимаю советское и нынешнее общество, кое что из истории, кое что о моем отношении к христианству и марксизму, – но это я все характеризую общество, а кто я сам таков, чего ждал и жду от себя?

Последний вывод таков – я абсолютно расколот с обществом, мы по разному видим мир, по разному понимаем прошлое, настоящее и будущее.

Я не переживал противоречия «отцов и детей», моими учителями, наставниками, авторитетами и подлинно близкими духовно друзьями были «отцы», предыдущее мне поколение, с разницею в 30 лет (как Юрий Борисович Перепелкин, на музыкальные «Среды» которого – не говоря о бесчисленных встречах у меня дома и у Людмилы Петровны Жуковой) я приходил тридцать пять лет, книгу о котором издал именно – и о его брате, с которым был знаком мало; и Теодор Адамович Шумовский, который ходил ко мне на Литературные вечера 25 лет, стихи которого я издал, и который умер на руках у меня и моей жены, прожив 99 лет). Моими учителями были и Александр Исаевич Солженицын, Игорь Ростиславович Шафаревич, Валентин Иванов, Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев, с которыми я был знаком мало или совсем не знаком. Мои современники, многих из которых я любил, бродили словно по обширным лесам и пустыням чуждой мысли и чуждых интересов, то их увлек Интернационал, «*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*» и «наше поколение будет жить при коммунизме», то их увлек, уже по воспоминаниям, сталинский (отчего-то) СССР, сталинская КППФ или, напротив, жизнь на Западе среди голубых и богатых; то их увлекло «самодержавие, православие, народность», при том самодержавие в духе Сталина или позднего Брежневского Политбюро, православие в духе Игнатия Брянчанинова (которого они не читали, и хотя проповедовали, но сами жили совершенно иначе, ну и народность, конечно, неотделима была для них от советского империализма, радости от присоединения Абхазии, трех поселков в восточной Украине и временного присоединения Крыма – великую Россию, ее культурное и хозяйственное могущество они презирали, отождествляя и народ и страну с временщиками от Ильича до Андропова и "далее везде"... (но не принимайте, каждый из тех, с кем я пью или пил, мои слова на свой счет, я представляю в этот момент тех, кто уже умер, и близки мне по воззрениям и составу моей личности были и Казимир, и Саша Михайлов, и Толя Степанов, и Володя Алексеев, и Леня Измайловский, и Маркиан, и Наташа Мартынова, и Сергей Сергеевич Шульц, и хотя спорил и расходился я с Анатолием Шиманским, американским ковбоем, сторонником превращения русских в евреев, и с Витей Гарниным, сторонником тотального уничтожения русской пятой колонны под водительством Сталина – но я любил и их. Меня окружали десятки близких, и все они в меня впитались, большинство их умерло, каждым я дорожил, одни из них остались советскими, другие стали галилейскими, третьи и сами не знают, что они таковы, с живыми (дай Бог им долгих лет, как и мне) мы продолжаем спорить – не думайте, что я ваш враг, или что возвышаю себя над вами, если бы и я не таков был как вы, я бы с вами расстался. Ну, например, кто я, белый или красный? Революция погубила и Российскую империю, и Россию, и погубила все русские образованные сословия, к власти пришли евреи (революционная закуска)... но ведь и Великая французская революция погубила великую Францию! Мистический парадокс состоит в том, что революция одновременно болезнь и выздоровление от затяжной болезни, великого будущего не может быть у страны, отказывающейся освободить и поднять к духовной жизни производительные сословия, крестьянство и интеллигенцию. В России болезнь еще продолжается, может быть, мы так и умрем (вместе со мной)... революция – необходимая катастрофа, таяние Ледника, наводнение – оттого она и несет неисчислимые бездны мусора и трухи, и не надо обольщаться революционерами, все они *гниль* и *гной* – но и без Русской революции (пусть и под водительством Троцкого, Ильича и Кобы, этих Марата,

Робеспьера и Дантона) мы бы сгнили (хотя догниваем и с ними). Друзья у меня еще есть, с некоторыми я продолжаю пить, некоторые уже перестали сами, и так как они, слава Богу, живы, то ни на кого из них я не киваю. Большинство из них меня не читают, а есть среди них совсем странные, одни живут в моей деревне и обличают меня за то, что я уже не пью, другие радуются, что я бросил, хотя и наливают, третьи бросаются меня обнимать, это недавние дети, с ними я говорю о любви, но они еще в ней ничего не понимают, а я уже перестал понимать; есть те, кто меня бросил, потому что батюшка им не велел, ... многие пишут мне письма, или часто, или изредка (а меня бросили, за всю мою жизнь, только две, даже те девочки, за которыми я ухаживал в школе, меня помнят – но и ведь и я помню каждое движение своей души и каждый их шорох ресниц, даже если у некоторых забыл имена...) Многих я обличаю словно бы близких – но они умозрительны, это все типы моего народа, действительные люди, пересекающиеся со мною, мне гораздо дороже и ближе, никого я не оттолкну как Христос свою мать...

И все же **от общества я отколот абсолютно!** Началось с того, что общество **запретило** мне печатать свои сочинения и преподавать математику, и на протяжении пятидесяти лет удавалось мне делать то, что я умею лучше всего, только подпольно. Ни одна школа и университет меня к себе не впускали, иногда я к ним проникал под чужим именем. Ни одно государственное издательство (и даже почти ни одно частное) не напечатали ни строки моих сочинений – и этим я горжусь. Но общество в постоянной вражде и с Солженицыным и с Шаламовым и с Шафаревичем, хотя их и печатает – но общество их не любит. Удивительно, но это же общество, меня отвергая и не печатая, меня все же любит.

Последние строки о Пушкине, был ли он христианином и умер ли по их заветам... Я им и мертвого Пушкина не хочу отдавать, да он им и ненавистен, вот что они говорят: «...на Пушкинском празднике православный священник выступил с речью о том, что *"Пушкин греховен, по жизни и по стихам, и учителем русскому человеку быть не может, вместо отечественной литературы надо читать сочинения святых отцов"*. А другой священник пророчесствует и угрожает: *"Если пушкинская звезда непременно будет стоять над Россией, то придет 2037 год, который будет во столько же раз страшнее 1937 года, насколько телевизор и интернет громче поют льстивые песни об империи и свободе, чем пел их поэт Пушкин!"*

К сему я только добавлю, что Золотой век русской литературы и среди моих учителей и среди друзей, и Пушкин, и Лермонтов, и Вяземский, и Толстой и Достоевский, и так же Серебряный век; но так же и декабристы, и освободительное движение девятнадцатого и начала двадцатого века, и Бакунин, и Данилевский, и Блок, и Иванов-Разумник (только не социал-демократы)... Следовательно, я принадлежу к аристократической, анти-народной партии Пушкина ... ? – то есть, к тем разочарованным аристократам, которые воскликнули: *"Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды. В порабощенные бразды бросал живительное семя... Паситесь, мирные народы! Вам не доступен чести клич! Наследство вас из рода в роды – ярмо с гремушками да бич!"*

Но... Я внук и сын крестьян. Я жил только за счет собственного труда (или труда моих родителей и пращуров). Во мне врожденная неприязнь к дворянам, под властью которых мы трудились и воевали... Могу ли я быть только с ними?

И поэтому основная проблема моей жизни – мое отщепенчество.

Смыслом моей жизни являются Труд, Творчество и Культура (ненавистные религиозным идеологиям), *условием моей жизни* является полная **духовная свобода** (и множество других свобод, более частных, менее значительных, то есть гражданская свобода, равенство граждан перед законом, **русская** национальная свобода – **национальное государство**, как и **империя**, не являются ни Постояльным двором, ни проходным, ни ночлежкой, они соединяют в целое и Армию, с ее иерархией и подчинением, и Театр, с ее вольностями; и семью и отдельного, и крестьянина и писателя).

Но: на правом и левом берегах народа **духовная аристократия** и **чернь** – совместимы ли они? Возможен ли между ними диалог? Можно ли их соединить или хотя бы примирить? Или это «два берега у одной реки», которые никогда не протянут друг другу руки? Некоторым из моих друзей и слово интеллигент и слово культура ненавистны, меня они принимают ... даже не пойму, почему...

На прошедшей предвыборной кампании все соревновались, кто больше благ наобещает народу, повышение пенсий, повышение зарплат, уменьшение труда, увеличение льгот и уменьшение обязанностей. О том, что Россия, усилиями этого негодного народа превращена в гигантскую зловонную свалку, леса вырублены, и даже вырубаются вокруг Байкала, образование деградировало, бабы рожать отказываются, мужики отказываются работать или идти на баррикады за право на труд, культура пала, интеллигенты стали невеждами, мня себя потомками этрусков или египетских пирамид... Какие зарплаты и пенсии этому народу? Я бы отобрал и последние пенсии и уменьшил зарплаты, крестьян обратил в крепостных, остальных обратил в *рабов на галерах*, заставил сажать леса и очищать их, построить дороги, солдат вернуть домов из всех чужих и ненужных земель. Народ перестал петь родные песни – это и есть главный признак того, что он обратился в **чернь**.

... Но и с дворянами, и с интеллигентами мне неуютно...

И я знаю, что я никого не могу повести за собою. Возможно, я писатель – но я не вождь ни правой ни левой партий, для этого я слишком образован (будучи, по существу, полунеждой среди невежд). Общественные движения подобны тем ветрам, которые ломают деревья, и начинают они дуть тогда, когда леса вырублены. Ни я ни мои близкие не способны быть суровыми, мы не можем построить солдат в колонны и заставить их маршировать. Я пришел, вероятно, и в самом деле для того, чтобы защитить обездоленных и соединить достойных – но в рамках литературы и силою литературы.

Всю жизнь я любил *красивых* девушек и ухаживал за ними, романов в общепринятом смысле слова у меня с ними не было, но они меня любили. И друзья мои были своеобразны, даже противники Пятой колонны и ненавистники русских. И хотя я сам из Пятой колонны, они меня почему-то тоже любили. Но зато теперь узнают обо мне всю правду и крепко задумаются...

Девушки меня, как ни странно, и теперь любят. Не все... Не в целом. Может быть, за то, что я слишком многословен, за это меня любят и водители авто, пролетающих по шоссе и иногда вдруг около меня тормозящих. Вчера остановился парень, мне только оставалось до шоссе в гору триста метров, дальше он ехал в другую сторону, но все равно посадил, говорит, что я обещал ему написать книгу «Встречи на дорогах». Да вот она, ответил я ему и вытащил ее из сумки. Итак, автоводители меня любят, красивые девушки тоже, любили раньше даже немногие имеющиеся читатели, но теперь, наконец, они узнают обо мне всю правду и крепко задумаются.

Счастлив ли я? Новый топор для деревни я купил, рубит офигенно! Баню по-черному топил, не баня, а зверь! На меже поговорили с соседом о заборе, я поднимал упавший забор, он предлагал истопить его в бане – но все же совсем без забора нельзя, у меня была бутылка холодного пива (хотя я уже ничего кроме чая не пью), выпили за то, что заборы нужны, хотя бы воображаемые, но чтобы они не разделяли, а соединяли нас как отдельных, самобытных, независимых.

Теперь я стану еще счастливее, я отказался от политики и пропаганды, критика и литература, в крайнем случае литературная философия – вот огньне будет удел нашего маленького кружка. Нечто подобное было вблизи Афин, где в местности, называемой Ликей, прогуливались Платон, Аристотель, даже, по преданию, Парменид, и его ученик Зенон Элейский (которого разгадал только я. Разгадка противоречий его апорий состоит в том, что *действительность не тождественна восприятию и представлению*. Какие цари, включая и Александра Македонского (ученика Аристотеля), могут похвастаться влиянием на мир, которое оказал этот кружок *праздно гуляющих и болтающих*?! Если нам удастся – а нам удастся! – то будем и мы гулять в нашем «Ликее», а может быть соберемся однажды и в моей бане "*по черному*", и вы узнаете, какой дух меня одушевляет...

Да, чуть не забыл написать про **чудо**. Я тоже знаю, что моих собственных сил, какой бы я ни был *незнающий* даже пуще Сократа (а потому еще умнее чем он!), но если чудо мне не поможет (ибо любовь у меня уже есть – к красоткам и даже к друзьям и иногда даже к России) – ни я один ни мы вместе ничего существенного сделать не сможем. У меня тоже есть Бог, это тот Дух благой целесообразности (вроде Солнца, освещающего и согревающего весь мир), который и пронизывает наш мир (как и Солнце пронизывает его лучами). В эманации нашего Бога входит и Чудо. Он нам поможет, потому что с кем еще ему дружить?!

А как же *чернь*? Их мы отправим в школы (или хотя бы их детей), заимствуя и у советской власти ее праведное желание сделать народ образованным. И я сам первый уже стал чернью, распивая с ними пиво, потом мы будем петь русские песни, а потом слушать музыку Скрябина. И это будет точно также, как и то, что бывшие богатеи будут строить Северную железную дорогу!!!

И все же кое-что необходимо добавить. Ехал из деревни, меня подвез молодой паренек до шоссе от Сушилова, потом остановился молодой мужчина, перемолвился я и с тем и с другим, первому вручил свою книгу, второму обещал прислать электронный текст. В городе я звонил одному и другому, вчера принес автор свой роман на рецензию. Все эти люди существенно живут иначе, чем я, к иному стремятся, в иное верят. Одни из них православные (проклятьями в их адрес пересыпана моя книга, и я не сомневаюсь, что если бы через сто лет объективный историк ее переиздавал и *редактировал*, то есть снабжал примечаниями, то он бы написал, что я ПРАВ в своих нападках на это странное учение, обещавшего рай для одних, *праведных*, и ад для других, неправедных, но к праведникам относя множество **не** лучших); другие марксисты, интернационалисты, коммунисты, строители коммунизма и советские люди (и невозможно считать, что они были правы, приведя свою вакханалию революции, Гражданской войны, раскулачивания и войны с крестьянством к страшной войне с немцами, в которой они проиграли власть и территорию, а мы проиграли треть народа); третьи упоены современным порядком жизни, когда вырубаются леса вокруг жемчужины России – Байкала, живем мы за счет нефти и газа, завалили

мусором всю европейскую часть, травим собственный народ дымом и угарным газом в Красноярске и вонью в Волоколамске; четвертые просто живут, может быть и ни царствия божия, ни коммунизма, ни проматывания телесных русских богатств на Запад – просто тупо живут (а им кажется, что не тупо), книг не читают, Бетховена и Скрябина не слушают, в оперу не ходят, тем более книг не пишут, не ведут философских дискуссий и **даже бывших народных песен не поют**, как пела их та моя забитая крестьянская "чернь", среди которой я жил в детстве – и дай им волю, и для меня не станет опер и симфоний и собирательства книг полоумными коллекционерами, бесконечных ученых занятий дармоедами-учеными, исследующими то каких-то дрозодил, то простые числа, то тексты живших две тысячи лет назад таких же полоумных философов – то есть не станет той самой ИСТОРИИ, в которой я живу (ибо их **просто жизнь** – это не история!) – как мне примириться с первыми, вторыми, третьими и четвертыми? Ведь я их всех отрицаю тем, что кричу им в лицо, что вся их жизнь – неправда – тем более что и не может быть правдой строительство коммунизма и христианская чушь, или, наоборот, стремление к царствию божию и коммунистические зверства, они и сами друг другу это говорят – но их отрицая и понося на страницах своей книги, я их всех противопоставляю себе и следовательно ненавижу! А ведь это тоже неправда, разве я не живу с ними мирно и доброжелательно и не помогаю многим из них (как и они мне)? Разве я такой злой и жестокий, какими были их революционеры и чекисты и инквизиторы, и их кумиры (русские поклонялись Сталину, немцы поклонялись Гитлеру – но в своей приверженности тому и другому тирану разве они не абсолютно одинаковы?!)

Я хочу, чтобы мою книгу читали. Я ее раздаю проезжающим автоводителям, и все те, кто останавливается, разве хуже меня? Почему же я написал не о народе и не для народа, но только о себе – а я так прямо и говорю, что лучшее в человеке, это то, что отождествляет его и с седьмой симфонией Бетховена, и с сонатами Шопена и Скрябина, и с концертами Чайковского и Рахманинова, и с романами Толстого и Достоевского и стихами Пушкина – а им это все на фиг не нужно! Да и те из них, которые проповедуют нам всем своего бога, ведь тоже отрицают мою культуру, им и их богу мои симфонии и поэмы и простые числа тоже словно бы от антихриста ... да по существу разве и письменность и нотная грамота и математика и могучий русский язык и мелодическое богатство песен, которые в их церквях тоже не поются и уже нигде не поются – все это чуждо *простожизни*, с их телевизором и хоккеем и даже с их *«крымнаш»*.

С кем я? Для кого я?

Я подлинный человек и подлинный народ, говорю я им. А кто они?. Я твердо знаю, что если вдруг прервется связь нашего ущербного сегодняшнего дня с тем прошлым, в котором были построены величественные театры и написаны романы и симфонии, то есть если вдруг померкнет или будет окончательно порушено соединение с Пушкиным, Достоевским, Чайковским и Мусоргским, с Толстым и Вернадским (это все символы культурного прошлого), замрет та прошлая музыка, или просто будут вырублены последние кедровые леса Сибири, протухнет Байкал (к чему они стремятся) – то прекратится всякая жизнь, даже и их *простожизнь*, с телевизором и хоккеем и с бутылкою на троих. Я написал роман «Боль и любовь», написал бы ты лучше что-нибудь для нас, для народа, ответили мне читатели. Я знаю, что когда и меня и еще небольшой кучки негодяев, которые пишут такие книги, не станет, останется только одно: снова вернуться на деревья и отрастить

хвосты. Кажется, что и хоккей и "крымнаш", и "делят неизвестную любовницу на троих по телевизору" с зрителями и мужьями и их незаконными детьми, делат Табакова и Джигарханяна (великолепных актеров) – кажется, что все это чудовищно и это только пена жизни, которая им кажется жизнью. Но ведь даже и этой пены невозможно без той похлебки культуры, которая варится кучкой негодяев, Аристотелем, Парменидом, Пушкиными и Достоевским... Сидя у телевизора, даже язык (русский или немецкий) не сохранишь и не передашь детям. И не телевизор его создал. А кто? Апостол Павел прибыл в Афины, улицы которых были «установлены идолами», благодаря ему мы только обломки этих идиолов раскопали через тысячу лет и учимся отличать красивое от безобразного. Писал он свои послания на великолепном еллинском языке, созданном Гомером, Евклидом (которых христианство проклинали), Парменидом, Гераклитом, Зеноном и Вергилием и несть числа другим. Этот язык и его ученость (то есть **античная культура**) создала и его и его сообщников (книжников и фарисеев и апостолов), не Христос принес им знание древнегреческого языка, на котором писалось все то, что они проповедовали. Даже русские монахи и столпники *были сначала людьми просвещенными*. И Игнатий Брянчанинов окончил великолепный Московский университет, и научился в нем говорить, писать и мыслить, и только потом проклял все то, чему научился, и совлек с себя все человеческое, и не копал гряд, не сажал картошку, не стирал пеленок – как я... не строил баню и не учил детей – как я. Не возил детям одежду и обувь, кашу и пряники – как я. Не утирал слезы плачущим, как я (призывая взамен утешиться потом, в раю)... Я пытался изо всех сил соединить простой народ (к нему принадлежали мои крестьяне, которые ПЕЛИ красивые песни, этих крестьян перебила и растлила городская чернь, так называемый пролетариат... и многие другие...) Я пытался соединить Вову, которому давал денег, чтобы он опохмелился, Юлю (которой дарил ботинки, чтобы она обула дочку), бабу Шуру, которой дарил таблетки от сердца и пачку чая, Элю, которой ее бабушка не разрешала давать конфет, коллег-сотрудников по институту, которым рассказывал про Солженицына, Шафаревича и Сергея Радонежского – пытался соединить с собой и образовать народ. Мне ничего не удалось, Солженицын, который был врагом советской власти, и которого русский народ ненавидел, остался все так же врагом этого народа (который, кстати, сверг ту самую советскую власть, которую он обличал, и разрушил СССР и любит антисоветское правительство – но ненавидит Солженицына)... Итак, мне ничего не удалось. Я не хотел ни опозорить свой «простой народ», ни признаться ему в ненависти. Я ЕГО ЛЮБИЛ. Разве и он не любил меня тоже, разве кто-нибудь из народа сделал мне что-то плохое? Как же оказалось, что нам не о чем говорить? Как же оказалось, что я сидел то в тюрьме, то в сумасшедшем доме, когда даже следователи меня изо всех сил пытались защитить? Скрыбина и Бетховена соединить с нами со всеми, со мною, Вовой, Юлей и следователями ЧК я не сумел... Ничего мне не удалось. Значит, мне еще невозможно умереть. Значит, надо передохнуть, выспаться, немного придти в себя... И потом еще написать, более трезво, более спокойно, быть может, внятнее, и читатель у меня появится.

А пока лягу поспать, впереди еще день, мне надо составлять Журнал с топором... Да надо и жить, и так и этак, и к внуку съездить, и в деревню, и читать книги, и слушать музыку и *простожить... Вторник, 15 мая, половина восьмого.*

9-54. Итак, нас разделяет многое, с разными разное, но со всеми я разделен. Я принадлежу к меньшинству, но даже в нем я отщепенец, *малый русский народ в единственном числе*.

Культура разделяет все общество, и в городе и в деревне, я принадлежу к той небольшой части, которые читают хорошую литературу, слушают музыку (хотя бы по Интернету, но лучше в Концертном зале), бывают в театре. Но мы еще разделены тем, что большинство смотрит телевизор, и многие потребляют вульгарную пищу, в которой заменителями масла являются суррогаты и даже мел или дуст. Но «*типл хавает*» все, что ему дают, и шоумены преуспевают, как и продавцы плохого пива, кормового хлеба, кормового картофеля и паленой водки.

Содержанием нашей истории и нашей судьбы, нашей трагической жизни и простожизни, даже моей, является **вырождение народа и расгление**. Ни одна семья не в состоянии вырастить даже двух детей, казалось бы, не их в том вина, а только беда, но *они любят правительство* и другого правительства они не хотят – значит, только они виноваты в том, что Россия погибает. Они идут за околицу деревень между горами свалки, от старых тракторов до завалов железок, резины, полиэтилена, и что-нибудь приносят туда своего. Они не сажают цветов и деревьев, они благословляют преступную вырубку кедровых лесов Сибири и превращение Байкала в зловонную лужу, они благословляют строительство заводов без очистных сооружений... Если бы дело было в том, что они не культурны – нет, их бескультурье делает их поборниками оккупационного правительства, которое уничтожает мою страну. Почему они любят это правительство? Потому что ненавидят Россию. Значит, они враги народа (подлинного народа) и изменники Родины. Они – новые власовцы. Нас они называют Пятой колонной, скрытых партизан или будущих партизан, всех тех, кто еще может выйти на баррикады в защиту России.

Другие преданы советской власти, подготовившей вырождение народа – своей анти-национальной пропагандой, ненавистью к патриотам и националистам, реформами школы, снижающими ее уровень. Другие преданы Богу, который призывает не рожать детей, не любить родных и семью, не сеять и не пахать и не заботиться о завтрашнем дне, и быть покорным скотом у рабовладельцев.

Но ведь есть и националисты? Да, словно бы есть... Но эти подозревают всех непохожих, в каждом свободомыслящем видят агентов запада, их национализм – это не любовь к своей стране и жажда ее выздоровления и преобразования, а неприязнь: во-первых, к евреям (из которых большинство ни в чем не повинно и так же страдает от преступной власти, не важно, еврейской или ичкерийской), во-вторых, к тем несчастным русским, которые оказались в чужих республиках и теперь на своей и старой и новой родине парии, беженцы – и им негде приткнуться; и, наконец, в ненависти к разным там Растрелли, Бенуа, Лансере, Шульцам, Фальц-Фейнам, Далям, Фон-Визиним, Пушкиным (за то, что прадел арап) и Жуковским (а у этого и совсем мать турчанка, даже и из гарема).

Нет, я не сказал, что род и кровь, природа и происхождение ничего не значат в становлении нации – но ведь есть еще и **душа** – и у человека и у народа.

Но все же я отъединен от целого. И тут что-то есть роковое, какой-то изъян моего мышления – как же Гринев не оказался отъединен от Пугачева непроходимой пропастью? (Хотя, впрочем, злосчастная семнадцатилетняя «царевна», вторая жена Пугачева, оказалась *отъединена* от императрицы Екатерины, которая

«сгноила» царевну в Пугачевской башне в Кексгольме, и это гноение разве не на совести христианского Российского общества? Я должен свое *отъединение* преодолеть, оно преодолевается в культуре, в творчестве, в труде. Русская национальная партия главными целями выставит оздоровление природы и общества, очистку *лесов, полей и рек*, этого труда хватит на целое поколение (а пенсии и зарплаты мы у них отберем, быть может, вернем и *крепостное право...*)

(Во главу правительства найдем и Сталина, возродим и строительство коммунизма – и все будут счастливы, наконец-то вернулся **хозяин!**)

Назначим и Петра четвертого, чтобы не слишком много было монастырских земель для кормления дармоедов: Надо жить собственным трудом.

Разумеется, мы возродим деревню и крестьянское сословие.

Мои современники привыкли проклинать «проклятое царское прошлое», которое, несмотря на большевистские казни, тюрьмы, войны и лагеря народило великий пока хоть стамильонный народ, и большая роль в этом народной крестьянской религии, которой мы «попустим». Дело в том, что вера в Христа и Богородицу и в святых была преимущественно изузстной, не читали крестьяне не только Библии, но и нового Завета, и батюшки были народны, и на девять десятых весь Катехизис сводился к сумме традиционных русских преданий: проповедовалась Любовь Бога-Сына к родителям и их любовь к своему страстотерпящему сыну (ради людей пошедшему на подвиг, который конечно объяснялся смутно). Проповедовалась любовь между родными, односельчанами, честный труд, защита отечества, «любовь к отеческим гробам» (а не повеление мертвым хоронить своих мертвецов). Да были еще и славянские праздники, и Ночь на Ивана Купала, и Ильин день (в память Перуна и Велеса), яблочный Спас (причем тут был «Спас?»), и праздник урожая (литовские дожинки) (вот, кстати, вспомнил про литовцев, эстонцев, к ним уж приплету и евреев – с бытовой точки зрения, и финнов и карелов. Как мне нравятся их семейные отношения, как они культурны в быту, как помогают друг другу, и как русские перегрызают друг другу горло! Почему же нам не поучиться у тех и у этих и сохранению национальных обычаев? И у венгров я видел, как хороша деревня. Так может быть хватит и мне слезы пускать о моем разъединении с народом, а хотя сам я не гожусь на роль Отца и Учителя, то хоть в литературной философии проповедовать грозного и сурового Петра Великого и несгибаемого Николая Палкина, да хорошо бы и «Столыпина-вешателя!» Перевешали с комбедами и чекистами пол-России, а этих всех, созидавших Россию, при которых народ возрос численно (не в пример советской власти, при которых убыл в полтора раза), всячески заклемили. Нет, снова надо *«Россию вздернуть на дыбы!»* – и на этой *радостной* ноте я и закончу свою Мениппею, названную Исповедью. ХВАТИТ!!!

I. ПОЭЗИЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Владимир Меньшиков

МЕДВИЖУХА

(Медвежье Движение)

Библиография: поэзия

«Оккультная оккупация» – 1992г.

«Стихотворения» – 1998 г.

«ГОЭРЛО горла» – 2003г.

«Начало тысячелетия» – 2006 г.

Двухтомник «Стихи и проза» – 2009 г.

«Простор» – 2013 г.

«Прорыв» – 2015г.

По(х)вальная грамота – 2017 г.



За новых коров!

Редкая сельская живность
Чешет о жерди бока,
Я голосую за жирность
Высшую у молока.

Был всегда за надои
В баки до самых краев,
А не за край... Вот на то и
Надо нацелить коров.

Поднял молочную банку
За дорогую страну.
Сморщился, будто бы в пьянку,
И на крыльцо блевану.

В тех, кто годами прокурен,
Плохо идет молоко,
И разбегаются куры
От блевуна далеко.

Может, вливают здоровье
В родину, но посмотри:
Брызжет, харкается кровью
От нездоровья внутри.

Братец, давай за живое
Выпьем хотя бы по «сто»,
Чтобы в нас горькому вою
Было держаться за что.

Звероязычник

Я не желал ни с кем литвласть делить,
Поскольку мне совсем не надо власти.
Уехал. Здесь чирикanye «чирк-чьить»
Раздалось из лесной медвежьей пасти.

Когда-то чиркнул Салтыков-Щедрин,
Что воробья ль, чижа сжевал медведко.
Да об медведя поломаю дрын,
Чтоб жрал буржуев, обнаглевших крепко.

Нешадно мелких и беззлобных жруг.
А я как будто бы поэт важнецкий?
Озера да поля немые тут.
Хотя б разок услышать рык советский!

Торчат избушки, словно у земли
Карманы вывернуты, гляньте – пусто!
Доносчика сюда бы привезли,
Чтоб не давал и в глухомани спуска.

Пугаются чирикать воробьи,
И боязливо шепчутся деревья,
Пускай литературные бои
Озвучат отшумевшую деревню.

Страшная местность

Холодна же утренняя синь,
И туман белесый в поле вязок.
Не пройти, браток, хоть сердце вынь,
Эту жизнь без ругани и сказок.

Мне, вообще, не сделать ни шажка
Без ... оды-шки... оды про свободы,
И моя еловая башка
Точно уж от матушки-Природы.

Я же сам здесь поразвел зверей
Яростного «Звероисповеда...».
Добежать из леса – до дверей
Бывшей школы с комнаткой комбеда.

А за мной Медведи – след во след,
Я же их поднял, но не построил
Для патриотических побед.
Вот и школа, а с торца комбед,
Что комфортностью и фартом скромн.

Я же сам его сформировал
Для защиты бедного крестьянства,
Но теперь в той комнатке развал
И разлив немислимого пьянства.

Вот в окне медвежия башка,
А потом другая... Лапы-дуги.
Спрятаться в бутылке «портвешка»,
Может, не унохают зверюги?..

Широко черемуха цвела,
По мозгам вдаря ароматом.
Только не с нее народ села
Запьянел и заругался матом.

Мы просили Красного прислать,
А прислали красного винища.
Я устареваю. Тишь и гладь
Надобно искать в глуби кладбища?

Медведь уламывания

Звень-цветень у всех дорог
И в леске, и над горою!
Поэтический пролог
Соблазнительной устрою:

– Чтя высокие пути,
Я хочу (прикрой-ка ноги)
К Богу Русскому идти
До космической берлоги.

Если взять тебя туда,
Сбрендят инопланетяне.
Крупногруда, молода,
На такую роль потянешь.

Пусть Медведь оставит след!
И, спеша не к беззаботью,
Дай тебя на много лет
Помнить чувством!
Помнить плотью!

Чресла... Если у тебя
Был бы я мужчина первый.
Накачаю, полюбя,
На цветах медвежьей спермой.

Патриотов-медвежат
Нарожаеть... Хватит жаться.
Дай, красивая, обжать...
И она дает обжаться.

Электронскры

Пора бы про покой крестьянских мест,
Но в крае, называемом сторонкой,
Наэлектризован даже крест,
Как будто бы начищенный суконкой.

Здесь, словно сняв при даме хромачи,
Наяривают смрадною онучей
Стога и трактора нехохмачи
И даже знак, чтоб стал еще блескучей.

Надраенно-искристые поля!
Век среди магнитных завихрений прожит.
От них, взвинтив, взлохматив, распала,
Селянина российского корежит.

Ток православья по нему идет.
Мужик искрится, пальцы крепко сжаты
В огромнейшие кулаки свобод,
Мощь у которых превышает ватты.

*Такой за иудейского Христа
Отдаст северо-западную душу.
Простят ль богозабитые места,
Что вероизмышления нарушу?*

Гнев исчезает... «Силу» сбил Иисус,
Поигрывая полюсами тока.
Поменен «минус» навсегда на «плюс»
В физических просторах и не «токо».

Как обрезали древние века,
Как все в России следствие подлога,
Электрик Иисус до мужика
Не доведет энергию Сварога.

Вычитывай внимательней квиток
Духовно-коммунального заглавья...
Энергия язычества, браток,
Проходит под контролем православья.

Встреча

«Медведь бежал за мной с версту.
Догнал и лапу поднял...».
Я просыпаюсь в соплях, в поту,
Разгорячен и вял.

На кухню пошел, глотнул кофейку,
Ныне снотворное – он.
Жену повернул, пусть спит на боку,
И вновь погрузился в сон.

А дальше, – опять надо мной Медведь
Когти занес. Конец?
«Медведь, медведь, медведь, ведь
Давно я уж твой певец!».

А он отвечает: «Нас поделил
На красных и белых ты.
Я буржуазный. Ты нам не мил.
Порву на куски, как порты.

Пусть на пергаменте кожи твоей
Кровь нарисует флаг...».
И я просыпаюсь. Я всех живею.
Меня ж закалял ГУЛАГ.

Как стяг примеренья, под мной простыня.
Я задницу клал на мир?
От стонов жена орет на меня,
Крошится в руке «Памир».

Иду на кухню. Кладу (хитер)
Кофе в бокал свой (шок),
Будто медведя сейчас я стер
В бурый, густой порошок.

Юродивый

Медведи и змеи – мой «конек»,
Но конь – православья знак.
Такая тоска, что молюсь на ларек
Пивной или на кабак.

За это половником даст жена
Как ее звать? Жаннет?
Откуда свалилась в село она,
Писал же, что не женат.

Ведь в том столетье, одной из зим
Прогнал же, спровадил псам.
Что бабы? Лишь тратиться, тратиться им,
И ни копейки нам.

А нам бы лишь трахать, трахать их.
И мало, когда одна.
И снова жену прогоняю, псих,
Вернее, прогнала она.

– Проваливай в свой шальной зоопарк,
В заказник своей мечты.
Сама же сгорает, как Жанна Д, Арк
С кастрюлями у плиты.

Но змеи, медведи не просто так!..
Они уже на спине
Коня христианских святых атак.
Да, да, на коне-огне,
Несущемся по стране...

Зеленая тоска

1

Немало в сельшине подпорок,
И на ладонь – одну из них -
Кладу главу, а полдень горек
И мотив-ированно тих.

Коль пальцы длинными корнями
Вошли в худящую щеку,
То знайте, эдакими днями
Ращу зеленую тоску.

(Нет бы оброс звериной шерстью,
Что черно-бела иль рыжа.
Тебе бы, Вова, перед смертью
Лишь над самим собою ржать?).

2

Тоску обильно поливаю
Дешевым красненьким вином,
Чтобы сторонка полевая
Дала прозвание Агроном.

Гудя, аэропланчик-муха
Летит над щеками к виску
И удобряет что есть духа
Мою зеленую тоску.

Не стриженные ногти-грабли
Лицо почешут, порыхлят.
Моторы вздора не ослабли,
Хотя порою барахлят.

За здрав... (Да здравст!..) растениеводства
Мне, как Лысенко, даст страна
Огромный Орден идиотства
И помалее ордена.

Сентябрьские фонари

Когда безветренно и полночно,
Жестянка не грохочет на столбе,
И фонари заботятся досрочно
Про память вековую о себе.

Они к своим подножьям положили
Венками желтоватые круги,
И пусть по ним подвыпивший служивый
Забудет как печатают шаги.

Тем более что он без карабина
Приехал на побывочные дни,
А утречком нескромная рябина
Покажет ягод вечные огни,
Которые окажутся, конечно,
Невечными, как во поле вилки.
Эх, память, память... Оттого увечно
Пускаю дыма серые венки.

Такие ритуальные услуги
(Плюс воинский оркестр и журавлей)
Предложат вам любой поэт округи
И военчасти спившийся старлей.

Таких предпринимателей – пинками,
Но лампочки сшибают дикари,
Поэтому-то светлыми венками
Порадуют недолго фонари...

Сон - отъезд

У колес, бегущих в дали,
Замелькали лапотки,
Надо мною прорыдали
Тепловозные гудки.

Из села в зеленом гробе
Быстро-быстро, что держись,
Улепетывал в ознобе
За теперешнюю жизнь.

Потому что лирик русский
Подрывную сущность лет
Ощущает и на узкой,
И широкой колее.

Мчат навстречу тепловозы!
И бегут (какая лесь)
За писателем березы,
Чтоб автограф приобрести.

Обогнали, встали вместе,
Протянув скорей ножи
Для отметок на бересте
Полных пошлости и лжи:

«Володимир + Россия
Получается Любовь»,
Колеси я, колеси я,
Возвернусь в деревню вновь.

У родных берез автограф,
Поблуднев, возьму лицом.
Был поэтом, был я огра-
ничен ладожским сельцом.

В. И. Чернышев

**СТИХИ, НЕНАЙДЕННЫЕ
ПОД СТОЛОМ**



* * *

Надо вернуться к поэзии. Рано
Солнце встает уже, спать неохота.
В теле блуждает сердечная рана...
Рифм, правда, мало – исчерпана ль квота?
Надо вернуться хоть в третью – но младость.
Соль я рассыпал во сне беспричинно.
Ссоры и слезы пророчатся. Сладость
Будет с горчинкой, и небо с овчину.
Нет, я вернусь даже в детство золотое!
Утро такое румяное! Небо
Блещет и в лужах, внизу, под пятою.
Соль я собрал на завалинку хлеба.

12 апреля 2018

* * *

Сеять еще рано, земля не нагрелась,
Сеятель не стяхнул с бороды вчерашний сон.
Что-то нам всем снилось, стремилось, пелось?
Каменная в тесто крошилась соль.
Солнце растопило, наконец, тучи,
Даже вдалеке запел петух.
Сею: *намерение, надежду, случай,*
Магию, бесстрашие, радость, слух.
Апрель 18

* * *

Забыл все то, что забывать нельзя,
Что примиряет нас с перемещением,
Забыл дорогу, чистый лист, скользя
Усталым взглядом по векам и мщеньям.

Два века в моей памяти слились
Фасадом и задворками. Доныне
Из прошлого вперяю взгляд как рысь,
Из будущего – мухой в паутине.

Дворянство мне не кажется пустым,
Крестьянство не вызывает к состраданию.
Мы не были убоги и просты,
В руке единой – нужные персты,
В земле и небе – гимном мирозданию.

Два века я с собой не примирю:
С паденьем слова – взлет литературы,
Прекрасную, как детский смех, зарю –
С жестокою усмешкой диктатуры.

Неравенство... Ну, что ж, мы не равны
В родителях и в детях, и в эпохах.
Отцам убитым столько мы должны,
Что надо ль нам пенять, когда нам плохо?

Все в жизни я приемлю как урок
Мне заданный в залог и испытанье.
Так мудрому и узы будут впрок,
Так глупому и скипетр – наказанье.

26 апреля 2018

* * *

Жизни мышья беготня?

На свете счастья нет,
но есть покой и воля...

А. С. Пушкин

Четыре часа утра,
Безвременье – тихо, тупо...
Слова я высыпал в ступу,
Толку их. Зачем? Игра?
Лекарство? Приправа к супу?
Вступила *в игру* и мышья,
Газету терзает справа.
Мне слышится даже «браво»!
И это долгожданная тишь?
Всесилье деревенского права?
Нет, в город снова пора,
Пусть днем там страстей кипение,
Но все же в четыре утра
С мышьями не ждут нас прения,
И не пророчит судьба,
Не нужные испытания,
Душа моя, увы, лишь раба...
Какая, к черту борьба?
Смирение, но не восстание!
Я буду и тих, и благ,
Лаская мелкую долю.
Пусть мышья бунтуют вволю –
Не мне: «с винтовкою ляг!»,
И рысью бежать по полю.
Я в ступе все истолок,
Прижался к подушке ухом:
Земля уже полнится слухом –
На завтра – горячий полóк,
И воля банного духа!
Не я – хозяин толпы,
Тем паче – за ней "смотрящих",
Мои топоры тупы,
Для нас ли, для настоящих,
От всех, увы, отстоящих?

* * *

Меня утешает небесная рябь,
Колокольчика звон под дугою,
Стужа, жара, даже водная хлябь
Разверстая под ногою;
Надежда, доверие, память, азарт,
Луч свеч, проскользнувший на блюде
Серебряным всплеском, паденье трех карт,
Ночь, месяц и башня с трезубцем –
Все то, в чем неволя и воля слились,
Что манит, зовет, обещает.
Мы ночью с тобою во сне обнялись,
Но жизнь нашу сон не вмещает.
И блики пожаров, и крики толпы,
У стен наших общего дома,
Безумны, безгласны, послушны, слепы,
Бесплодны, как сны и солома.
Царь гуннов велел: Расточи и разграбь
Все то, что от предков досталось!
...Гряда облаков, как небесная рябь,
трущобы, пустыня, болотная хлябь,
Отчаянье, мрак и усталость...



Сергей Николаев

Из книги стихотворений «Театр других «Я». 2017

Николаев Сергей Анатольевич
Г.р. 1957, г. Ленинград

Автор 20 книг: поэзия, проза, драматургия, эссе, графика.

Закончил заочно рус. отд. филол. ф-та ЛГУ.

Работал топографом, экскурсоводом, охранником, преподавателем и т.д.

Моностих 1783-2016 г.г.

Крымский коньячный Лист...

Герой без поэмы

Герой без поэмы танцует легко,
Он сбросил сомнений оковы,
Вновь первую ищет во веки веков
Любовь. И хоть он не фартовый,

Но всё ж подфартило: находит её
И с ней он танцует былое,
Крутое-сякое, йо-йо, ё-моё...
Любовь. Это дело такое...

И ворон забыт по-над левым плечом,
Забыта эдемов богема...
И можно не думать уже ни о чём,
Понять лишь: не это ль – поэма?

...Герой без поэмы потом на войне,
Войне без конца и начала,
За правду сражался в межзвёздной стране,
Где дикость и та одичала.

А после научной работы прыг-скок,
Семейство, детишки, лекарства...
Как расшифровать этот калейдоскоп:
Фуфырство? Фофанство? Фиглярство?

Герой без поэмы заснул наповал,
И, словно был страусом эму,
Во сне камни фактов вот этих глотал
И в жизни узрел вдруг поэму...

Перед отплытием

Выгибаются сказочной кошкой мосты,
Непонятные формулы пляшут на крышах,
И всех стран языки чрезвычайно остры,
А кораблик на шпиле всё выше и выше.

Амулет он? Иль фетиш? Быть может, тотем?
Или чья-то судьба? Или чья-то причуда?
Он плывёт непонятно куда и зачем,
Неизвестно: кто в нём, для чего и откуда.

Дебаркадеры, верфи, брандвахты, леса,
Гул турбин, дымы фабрик и скрежет металла,
Звон трамваев... И все в решете чудеса...
Он плывёт в небеса, и чудес ему мало.

Воскрешая в душе всё, что кануло в тьму,
Наши мысли отточим как острые сабли,
И, ему поклонясь, так мы скажем ему:
– Ты прими нас на борт, странствий духа кораблик.

Мы по Розе ветров (вовсе не абы как)
Обнаружим норд-вест в синекрылом зюйд-осте,
С Эсмеральдами джигу зажжём в кабаках,
А с потомком Синдбада сыграем мы в кости,

Мы увидим моря неоткрытых планет,
А их жителей трассы отметим пунктиром,
Мы узнаем богов, тех, которых уж нет,
Но которые правили суетным миром.

Мы матросами были когда-то на нём,
Мы крутили штурвал и рубили канаты,
И вот в это «когда-то» теперь поплывём
В те миры, где в «потом» переходит «когда-то»...

Танцы под музыку праздничного оркестрика

Крутился событий спонтанный винил,
И мы ожидали Нирваны.
И в новое время оркестрик манил,
А звуки его были странны:

Про «Мишек на Севере», про конфетти,
Про соцреализма картины,
Мол, в рай на земле нас должны довести
Чудеснейших марок машины:

КАМАЗы и КРАЗы. И про раскидай,
Свистульки, жужжалки и флаги.
Сквозь призму партсъездов, мол, жизнь наблюдай,
А суть излагай на бумаге.

Но рухнула призма средь белого дня.
В руинах всего нам дороже
Дурацкие шуточки, фактов фигня,
И Бог под научною кожей,

И профили-кляксы казённых чернил,
И фокус космических станций...
Крутись же, играй, окаянный винил,
Про жизнь в продолжении танцев!

Летняя фактография

Обтянутый кожей змеиной трамвай
Сверкал носорожьей ухмылкой,
На крыше его расцветал Иван-Чай
Для слов в чаепитии пылком.

Слова на трамвайной висят «колбасе»,
Звенят на пантографной вые.
Люблю летний город – уехали все,
Остались их сны чумовые...

Летняя фактография 2

Кто чая на крыше трамвайной не пил,
Поймёт ли трамвай-ящерцу,
Который летит, не кусая удил,
Меня в движении лица?

Но он человек или гиппопотам?
Иль он божество мимикрии?
А может быть он для фантастов плацдарм
Иль птица тахеометрии?

Чтоб это понять, нужен псевдоколлапс,
Устройство для ловли аккордов,
Стихов дешифратор, да мыслей филфак,
Да двух-трёх кузнечиков морды.

...Со сфинксными фактами, с львиной судьбой,
С грифонами странных открытий
Я в городе летнем остался собой,
Другим уж теперь мне не быть.

Поиски Дао

Вот тут-то ты и поймёшь,
Что понимать ничего и не надо,
Потому что всё и так уже понято
До тебя и за тебя

Там, где бензопила «Дружба»
Становилась одноимённым сырком
И здесь, где левый ботинок
Превращается в правый...

Гуманное отношение к шнурке

Мне лапшу вешать вам не с руки,
Стали куролесить у меня шнуры:
Пройду метров несколько, у них словно зуд –
Червяками, падлы, кто куда ползут.

Может быть, это чьё-то колдовство
Или теперь такое у них естество?
Вражеских шпиёнов это кавардак
Или это морлоки подают знак?

Или гуманоидов план-перехват?
Словом, шняга шнурная в 107 КВт.
Я шнурню не буду шнурорезом – бжик,
Я на пляж, где нет шнурков – в город Геленджик!

Там...

Где все мысли в рейнвейне
Уходящей войны,
В той далёкой таверне
Отгоравшей страны,

Где смурная ухмылка
И тарелки с фигнёй,
Где визгливая скрипка –
Танцевали с тобой.

Как зачем, так наверно...
Но тогда ли сейчас...
В той пошлейшей таверне,
Где враздрызг контрабас?

Ярче пьяниц румянца
Отрезвился наш бред –
Кроме нашего танца
Ничего в мире нет...

Где фальшивые ноты
И дешёвый фокстрот,
Там мы значили что-то.
Остальное – не в счёт...

Из «Энциклопедии фактографий»

(Нестихотворение на фоне архитектурных стилей, характерных и для др. городов)

...Извозчикам СПб и др. городов начиная с XVIII в. выдавался наспинный жестяной знак с номером экипажа. Обязаны были носить жёлтый кушак и шляпу с жёлтой лентой. Прокатные кареты, сани, коляски и дрожки должны были красить в жёлтый цвет. Дешёвые – «ваньки», дорогие – «лихачи», на грузовых перевозках – «ломовики». Большинство извозчиков – выходцы из крестьян. Подвозили «с ветерком» революционерок и георгиевских кавалеров, лакеев и поэтесс. Устояли перед конкой и трамваем, но были вытеснены автобусом, троллейбусом и такси в Ленинграде в 1930-ых г.г. Любили пить водку и мечтать под колокольный звон (поэтому выражение «пьян как извозчик» следует понимать в метафорическо-поэтическом смысле). Часто вспоминали о папоротниково-чехардовых прыжках через костёр в ночь на Ивана Купалу (зачастую – лоб в лоб). Выходцы из их снов в ЦГА досконально оцифрованы, что не мешает им существовать в биоприемлемой форме и в разумных количествах как на улицах СПб, так и др. городов и в наши дни на радость аборигенам и туристам (особенно в летний период), порою становясь при этом самостоятельными мыслящими существами...

Цветы СПб

(Нестихотворение)

Цветы СПб: Анютины глазки, *Артиллерийский цветок, Бабы сплетни, Безвременник, Бутылочное дерево, Венерин баимачок, Дерево счастья, Дружная семейка, Живые камни, Иван-да-Марья, Кавалерийская звезда, Калачик, Коньячная пальма, Колбасное дерево, Львиный зев, Мать и мачеха, Монетное дерево, Недотрога, Незабудка, Ноготки, Пальма сапожника, Пастушья сумка, Пельмень, Плац Марии, Плакса, Рябчики шахматные, Тёщин язык, Терновый венец, Ухо Наполеона, Цыганские серьги, Шлейф невесты* – цветы СПб... Такие же, как и в других мегаполисах...

Полёт

Над собакой бородатой,
И над кухней, где тефтели,
И над дворником с лопатой
Человек летел с портфелем

По-над ним года нависли,
А под ним сменялись флаги,
А в портфеле были мысли.
Мысли в рифму. На бумаге.

Когда во второй раз придет Иисус,
То он никому не запретит и не разрешит
Делать или же не делать с собой селфи,
Ведь, согласитесь,
Фишка второго пришествия
Вовсе не в том, чтобы делать
Или же не делать сэлфи.

Он будет панком или хиппи,
Хипстером или кондуктором трамвая
И т.п. Ведь, согласитесь, выбор,
В общем-то, небогат...

Ночной ларец

Владелец морозом протёр ларец
И смотрит спектакль до утра:
Швея, жница, и на дуде игрец
Пляшем в Ночь Рождества.

Кто же прав из нас наконец:
Тот, кто из огня или льда?
А звёздной ночи волшебный ларец
Открыт для всех навсегда...

Ладана, золота, смирны спор –
В звёздах... И, хлопнув винца,
С нами Каспар, Бальгасар, Мельхиор
Пляшут внутри ларца...

Из книги рассказов «Фасеты». 2016 (2005)

СТРЕЛОК ВОХР

Орёл или решка?

Мне нужно было это сделать именно в ночном цирке. Или всё или ничего. Я снял форму, переоделся в тот, какой нужно, костюм, взял фонарик и приклеил бороду и усы. Теперь никто бы не признал в этом представителе высшего эшелона власти стрелка ВОХР... Я показал охраннику удостоверение друга моего друга и прошёл вовнутрь. Мне нужно было сделать это именно в центре ночной арены, потому что так пишут об этом в старинных фолиантах. Сейчас или никогда. В полном мраке я вышел к центру арены, включил фонарик, положил его на ковёр так, чтобы луч его был устремлён ввысь. Затем достал серебряный полтинник 20-х годов, на котором мускулистый человек перерубает молотом цепи, и, загадав то, что должен был загадать, в луче фонарика подбросил его, и как он засверкал! Орёл или решка? Но он не упал на пол. А в цирке ведь всякое бывает. Может быть, его схватил там под куполом на невидимой трапеции иллюзионист или клоун, дриада или королева, она (да, да, она) или же обезьянка, может быть, кто-то остался там с моей судьбой в руке...

Когда я вышел из цирка, в воздухе медленно кружились осенние листья, редкие машины освещали фарами площадь, были слышны обрывки разговоров случайных подвыпивших прохожих. Это была уже совсем другая, хотя всё та же самая штука – жизнь. Я шёл наугад и был уже совершенно свободен...

Шёл холодный дождь...

Стрелок ВОХР, начальник караула, любил дышать на два одинаковых, как два близнеца, «ГТ» из своей коллекции и смотреть, какие таинственные узоры появлялись, сходились и расходились на металле от его дыхания. Чего здесь только не виделось.

Шёл холодный осенний дождь. *Радио было включено, но никакой передачи не было.* Он допил второй стакан крепкого сладкого чая, ещё раздохнул на оружие и чуть было не задремал. Его возлюбленная тем временем вложила в ошейники дрессированным хамелеону и игуане записки. На одной было написано «С днём свадьбы!», на другой – «С днём смерти!» Умные зверьки знали, куда им надо пойти этой ночью. Пусть кто-то придёт первым.

Раздалось царапанье в дверь. Зверьки пришли одновременно. Стрелок снял с их ошейников записки, зажёл спичку и сжёг их, не читая. Снова открыл дверь и выпустил зверьков в ночь, махнув на прощанье рукой. Он закурил ещё одну «беломорину», допил третий стакан чая. *Радио было включено, но никакой передачи не было. Шёл холодный дождь...*

Отрывки из дневника акробатки

Вот что было можно прочитать в отрывках дневника цирковой акробатки:

«44. Настаивал на том, что мы играем судьбой, и судьба играет нами. Я ему возразила, что судьбой, в таком случае, играют боги, но он сказал, что, наверняка, скоро окончательно узнает нечто, что играет и нами, и судьбой, и богами, что уже знает, где встретится с этим нечто лицо к лицу, и... Для того, чтобы... И тем самым запечатлеть своё действие в памяти Космоса (как будто такое возможно)... Ну, словом, чушь собачья...»

19. Да, мне дарят поклонники цветы, ну и что с того?.. А какое тут всем дело, мы с ним разведены или нет? А, может быть, мы вообще не женаты... Да кто они такие, чтобы мне... Да плевала я на них! Хочу – скармливаю его цветы слонам, хочу – не скармливаю...»

53. Настаивал, что вроде бы уже когда-то встречался со мной, и, хотя это и ерунда, но я внушаема, и у меня уже начало создаваться такое чувство, что...»

29. Он утверждал, что скоро свадьба наших друзей «Я», и в этом, я, дура, ему подыгрывала... Ну, словом, такая вот лабуду...»

Однако, не меняется ли воля богов от настроения зрителей в цирке и от настроения цирковой акробатки в день свадьбы, и, шут его знает, ещё от чего?..

Стихотворение стрелка ВОХР из её архива

Сон о Диане

Там, вон там ягдташ – на Луне!
Здесь – стихами полный стакан...
И сказала Диана мне,
Словно был я охотник Глан**:

– Пусть в печаль тебе моё ню –
Ты печаль подругам дарил
И о них рифмовал брехню,
Как трофеи, их боготворил.

Жизнь хотел прожить на ура
Под ружейный щёлк-перещёлк?
Ты – не два и не полтора,
Плотоя-травоядный волк!

– Да, поэт – блажью пьяный волк.
И пора сбить ему понты.
За стрелой к тебе пришёл,
Поцелуй меня ею ты.

А Диана смеялась в ответ...
Рассказал я егерю сон.
Почесал репу умную дед:
– Сколько в мире стрел, столь имён...

*** Лейтенант Глан – персонаж романа К. Гамсуна «Пан».*

День свадьбы

Он был стрелок ВОХР, начальник караула. Сколько было ему лет? Наверное, столько же, сколько может быть стрелку ВОХР, начальнику караула. Она была акробатка в цирке, прекрасная – от бриллиантовых тупфелек с золотыми пряжками до страусового пера в сиреновой шапочке, а возраста у ней не было. Сегодня должна состояться их *свадьба*, и поэтому он до синевы выбрился, выгладил гимнастёрку и тщательно вычистил сапоги, выпил два стакана крепкого сладкого чая из стакана в подстаканнике, и теперь курил папиросу за папиросой, сидя на табурете в дежурной комнате, и слушал радио. Он любил слушать передачи о политике, в них было что-то такое, как бы это сказать... Нет, это не объяснить. Но сегодня он никак не мог сосредоточиться на словах диктора и вспоминал её, прекрасную и недоступную. В течение года стрелок ВОХР ходил в цирк и дарил ей цветы, которыми она скормливала слонам, и, рассказывая ему об этом, смеялась, покачивая пером в шапочке... Но вот радиоведущий умолк, и *женех* встряхнулся, зажёл потухшую папиросу и попытался вызвать в памяти картины того времени, когда ещё не знал её; но мысль словно бы замерзала, да и что о нём вспоминать-то, о прошлом. Что ж, сегодня их *свадьба*. Он вытряхнул окурки в мусорное ведро, убрал в шкаф стакан, ложку и сахарницу и ещё раз передёрнул затвор в табельном стареньком «ТТ», пахнущем по-молодому – машинным маслом, произвёл контрольный спуск, потом расписался в журнале, сдал дежурство, и, не переодевшись, в шинели и фуражке отправился в цирк, но, выйдя из проходной, вдруг вспомнил, что забыл портфель из кожзаменителя в шкафчике. Возвращаться – плохая примета, но как же не возвратиться? Он вернулся, приоткрыл портфель, передёрнул наощупь затворы двух стареньких «ТТ» (на этот раз уже из своей коллекции оружия, похожих на табельный, как два близнеца на третьего и также тщательно смазанных молодым машинным маслом), и выкурил ещё одну папиросу. Из-за этого возвращения он на двадцать минут опоздал к началу представления и, когда сажился на первое место у выхода, во втором ряду, то факеры уже уносили с арены свои атрибуты. А потом зазвучал брагурный марш из кинофильма «Цирк», и в алом луче прожектора под потолком появилась его *невеста* в красном платье, сидящая на сверкающем обруче. И тогда он приложил один пистолет к виску, вторым тщательно прицелился в неё и одновременно нажал на два курка. *Из дула первого «ТТ» выползла змея, шевеля раздвоенным языком, а из второго вылетел радостный белоснежный голубь...*

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Меньшиков Владимир Петрович

НАЦИОНАЛИСТ и ГАРМОНИСТ



Владимир. Меньшиков родился в д. Кеврола Пинежского района Архангельской области 8 сентября 1953 года. После окончания средней школы в г. Волхове работал в лесоустроительной экспедиции, служил в СА. Закончил Ленинградский пединститут имени Герцена, факультет истории. Живет и работает в Петербурге. Член СП России с 1993 года.

Автор поэтических книг «Оккультная оккупация», «Звероисповедание», «Гармонь снопа», «Стихотворения», «ГОЭЛРО горла», «В начале тысячелетия», «Русский простор», «Прорыв», «Приладожье», «Труд и пруд». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Аврора» и др., в газетах «Завтра», «Литературная Россия»... Награжден юбилейной Есенинской медалью. Лауреат литературных премий России (1997) и (2002).



НАЦИОНАЛИСТ И ГАРМОНИСТ

Этот «кряк» у нас песней зовется...

1

Василию Никитичу или просто Китычу 61 год, он среднерослый старичок-здоровячок, лысоватый, бедноватый, бывший участковый в селе Паша Ленинградской области, где и проходили нижераписанные события.

Китыч китель не надевает ни по пьянке, ни по большим государственным праздникам, а преимущественно носит цветные рубахи, свитера да тасканные и обласканные грязью и крапивой джинсы. Жена умерла, дети разъехались, как паровозики и машинки, в разные стороны, живет один в неказистом, коричневом доме, полным тоски, возле серебрястой реки.

Завершался дождливо-солнечный июнь. Вымахавшая зеленая трава танцевала и подпевала, но не обращая никакого внимания на ее утреннюю слезливую росу, природа – всё для народа! – безжалостно пускала ее под железную косу. Темно-изумрудные листья высоких тополей обрели законченную форму, нужный вес и плавную подвижность, научились артистично шелестеть и благодаря своему шелесту стали услышанными. А увиденными ли? Вряд ли. Ведь природоведы все тащат и заталкивают под оптику микроскопов для пристального рассматривания, а на большинство остальных людей жестко распространяется закон: за листвою листьев не видать. Впрочем, на мелочи и, правда, некогда было обращать внимание.

В то утро, а было же около одиннадцати часов, всё щебетало, стрекотало, щекотало. Заметно оживились и население, и само деревянно-кирпичное селение под названием Паша – с ударением на второй слог, а не как пресловутая Раша, которая здесь постоянно иронически упоминается, пожалуй, только из-за примитивной созвучности.

Когда время приблизилось, как лось, к полудню, Китыч направился пешком за дешевыми куревом и курятиной в дальний универсам «Пятерочка», однако пришлось остановиться около ближнего и дорогого (по ценнику). На обшарканном синем крыльце дурачилась и громко крякала группа детей школьного возраста. Китыч не придал такому голосистому баловству никакого значения и с предположением «Ну, крякают, а через десять минут захрюкают» пошел дальше. Вскоре опять остановился и закурил. Кусты сирени, росшие возле дороги и еще сохранившие гроздь пахучего цвета, казалось, были завалены множеством отечественных сигарет. Легко, без всякого напряжения представлялось, что придорожный лес, словно многометровый дядька, стоял над разросшимися зелеными насаждениями и, словно опытный борец с никотиновой зависимостью, раздирая одну за другой пачки, обсыпал ветки белесыми табачными изделиями.

А через сто метров на этой раздолбанной, плохо заасфальтированной дороге, на ее грунтовой проплешине можно было с горечью увидеть вафли тракторных следов, оставленные тяжелыми железными гусеницами. Возникло предположение, что здесь передвигался трактор-кондирер. Такой вот получался и виртуально обозначался дорожный магазин с предельно скучным, но необходимым ассортиментом товаров табачного и кондитерского вида.

Через четверть часа Китыч появился возле «Пятерочки», имеющей цвета белый и преимущественно красный – «кря-сный». И около этого внушительного универсама всюду крякали ребята, но уже постарше, этакие парни-парии. При помощи какого-то шестого чувства он понял, как говорится, не отходя или находясь в непосредственной близости от магазинной кассы, что и ему самому вскоре придется встать в эти народные ряды, влиться в «природные пруды» и тоже по-утиному прокрячаться. Про себя матюгнулся: «Ну, твари, даже при мне не затихают... знают же, что раньше ментом здесь был... Совсем обнаглели. Сейчас покажу им оковы участковы...».

Поманил загорелой рукой рыжего и щербатого, двадцати пятилетнего Саньку Степанова.

– Ну?

– Что ну?

– Зачем погнали волну? Что тут Уткину заводь, Яблоновку устроили, пацанское кряkanie изображаете? Говори, почему? Не скажешь, пожалеешь, Степа.

Санька, подойдя совсем близко, шепотком доложил, что к «Пятерочке» уже второй день приезжают питерские мажоры на иномарках. Старшего зовут Даней-Дональдом. Этот Дон Альд показал на ноутбуке, как, пародируя премьеры Димона Медведева, построившего на одной из своих шикарных дач дорожный домик для своей любимой уточки, весело крякает продвинутая молодежь в Москве и во всей России. Прокрутив видео, импресарио всея Руси, «гоп» или толп-менеджер дал щедро три тысячи рублей на круг, для десяти человек, на выпивку-адреналин, а сегодня все удачно повторилось, и предположительно через два часа прибудет сюда с проверкой. Потом Степа опять-таки без всякой степенности предложил Китычу, бывшему киту местной полицейской службы: «Вливайся! Подзаработаешь! Обещает с сегодняшнего дня давать по пятисотке на нос. Бери старые кроссовки (на них, вонюче горящих, премьер и спалился) или резиновую игрушечную утку, может, от детей осталась, лучше с пищалкой, и завтра подплывай аккуратно, ну, примерно, к десяти утра. Я тебе позвоню, когда уточню... Кря!».

Последовал злой, но примиренческий ответ: «Ты, что, берега попутал? Тоже мне утка, гусь... Ну ладно. Звони».

Китыч посмотрел вверх, в синее, малооблачное небо. Ему показалось, что даже желтое солнце крякает. Переведя взгляд вниз, увидел, что на обочине дороги, а «Пятерочка» стоит на перекрестке петербургско-мурманской федеральной трассы и местной шоссейки, некий незадачливый шофер в малиновой безрукавке для проверки забарахлившего мотора открыл капот

(кап пот), и передняя часть выдавшей виды зеленой грузовой машины стала напоминать раскрытый рот здоровенной жестяной утки.

Китыч, словно кит, выпустив из себя пар, а не фонтанчик воды (от горячей собственной жидкости мог избавиться, сплавив в раш-росшиеся кустики-водоросли), сходил в универсам, купил дешевых сигарет и куриных голеней, но не утку или дорогущую индейку, и вновь оказался на улице. Парни, принявшие спиртного, продолжали задорно и насмешливо кричать. Их в большинстве своем пропитые лица или хари можно было смело вносить в полицейскую фотоколлекцию катов, то есть в каталог. Акция явно доставляла им удовольствие. Но для прекращения такого удовольствия у бывшего мента не было служебной меты, удостоверения. Зато в оранжевом полиэтиленовом мешке находилось полбуханки «Дарницкого». Поэтому Китыч, видя весь этот кич, но помаленьку добрея, достал хлеб и, ломая его, стал бросать куски в сторону парней.

– Хотя и негоже продуктами швыряться, но вы заработали, кажется.

Тут возле «Пятерочки» появился стареющий очкарик Меньшиков (автор), знакомый с Китычем по совместной и многократной рыбалке, и, устроившись на завалинке красно-белого торгового здания, более подробно объяснил суть и муть происходящего крикливого и «крякливого» действа.

– Значит, не видел по интернету?.. Это фильм Навального про Медведева, «Он вам не Димон», и про то, что премьер имеет в неограниченном и бесплатном пользовании дворцы, виноградники, яхты. Громко заявлено, что главпремьер коррупционным способом завладел дорогостоящей недвижимостью и что за такие прегрешения пора ему, Диме-Дыму, а он не бывает без огня, уйти в отставку. В Москве был проведен ряд несанкционированных шествий и прогулок, так это теперь называется, чтобы отстранить Медведева от должности.

– Стоп! – прервал его Китыч. – И про кроссовки, и про уточку, и почему крикают, мне уже известно.

Но Владимир спокойно продолжил: «Наши правители-лицемеры, громогласно заявив о беспощадной борьбе с коррупцией, тем не менее не разрешают реальные митинги с протестами против этого общегороссийского порока, а хорошо обученные полицейские жестоко разгоняют шествия, винтят и задерживают людей, и поэтому молодежь использует такой игровой, эзопов способ протестовать против замалчивания, против лишения свободы слова. Крикают хором, группами. Думают, что работает».

Бывший мент хмуро проворчал: «Но они себе позволяют публичные циничные высказывания в адрес государства и его руководства».

– А почему бы и нет? Чиновники воруют, безнаказанно тырят и не тюрю, а миллионы рублей и долларов. Многие мужики за тюрю в тюрьмах парятся.

Китыч сверкнул глазами: «Ты что, не знаешь, что я работал здесь участковым? Да тут массовое нарушение общественного порядка».

Поэт скривил губы: «Хочешь сказать, что бывших ментов не бывает, и ты не потеряешь таких концертов?».

– Не потерплю.

– А как отнесся бы к народному кваканию, если бы Димон развел в дачных прудах золотых лягушек?

– И квакания у нас не потерплю. Пусть в Москве и квакают. Мос-ква! Мос-ква!

Владимир продолжал упираться: «Но не забывай местной шутки, что Пашá – столица нашей Родины. Что, опять промолчим? Ведь так прохлопаем Россию».

Китыч тут же привел не «агу», а взрослые аргументы: «А крикание из уст молодежи – это не издевательство над самой молодежью? Карикатура, самопародия».

– Ты, Василий, еще выйди к ним и скажи, пусть расходятся, пусть идут работать, нечего ерундой заниматься. Пойми, чиновники крадут миллионы у народа, а людям негде даже тысячку честно заработать. Половина пашской молодежи безработная. А труд на своем огороде не оплачивается. Крякнула работа... А вот если население России, все как один, закрикают, тогда Путин скovyрнет этого Димона, воровастого и либерастого, то есть в ласть, как утя, кряка.

– Путя сам утя.

Китыч полез в карман за сигаретами. Решили устроить общий перекур и кряки антипремьерской атаки. На часть из выданных Дональдом (американским утенком) денег, но экономя на всякий случай, купили пивка и не миротворческих сигарет «Дипломат», а оптимально подходящих – «Оптима». Кто-то назвал их «Оп, Дима!».

Над синей рекой и красной «Пятерочкой» летали чайки и ставили парням галочки (но еще не оценки «пятерки») за частично проделанную работу. Часто произносилось слово «коррупция». К нему Владимир добавил коммерческий термин «корпорация» с расшифровкой «хор по рациям». Еще бы начали крякать по переговорным устройствам и по секретной связи... Недалеко от магазина стоял сломанный оранжевый российско-японский трактор, в его железных потрохах копались два механизатора, и если бы они его завели, он бы своим тарактением заглушил любое крякание. Поэтому требовалось или научить его угиным песням или придумать такое, чтобы не начал трещать в ближайшие часы. Пустое черное ведро выставили рядом, возможно, для того, чтобы в него бросали звонкие деньги как плату за длительное молчание. Впрочем, ни трактор, ни крякунов нельзя было назвать попрошайками, все же как-никак работали или с ними работали. Хорошо, что пока никто из молодых, но напившихся пива утят не соизволил своей жидкой валлотой поспудить в искореженную, промазученную емкость. На этом эпизод с транспортом не закончился. На близкой мурманской трассе в потоке фур и разноцветных иномарок, громко дребезжа и чуть ли не переворачиваясь с боку на бок, прямо-таки волочился по асфальту обдолбанный и весь исцарапанный «узбек», словно привязанный к хвосту России-лошади. Название федеральной дороги с ее округлыми буквами «Кола» тем не менее издевательски кололо-покалявало души и сердца местных патриотических мужичков.

Китыч, закурив, начал высказывать примиренческие идеи: «Да, иногда во мне, как по тревоге, резко пробуждается ментовское прошлое... Конечно, у меня нет полномочий заткнуть эту молодежь и отловить тех, кто их провоцирует...».

– Это как раз Медведев и его кореша провоцируют, это их действия могут стать причиной русской оранжевой революции, – с реактивной скоростью сделал существенное уточнение поэт.

– Согласен, но надо придумать что-то другое, попримичнее.

Китыч вытянул в сторону парней свободную левую руку и, приближая большой палец к остальным пальцам, изобразил то отрывающийся, то закрывающийся уткин рот, и негромко повторял известные присказки-переделки: «В каждой шутке есть часть утки. Утка уткой, а уд в желудке».

Он уже захотел остаться здесь, встать в тесные ряды честных и правых, подзаработать, но поскольку купил курицу, а она могла испортиться от длительного пребывания на улице с многоплюсовой температурой (не отнесешь же обратно в «Пятерочку»), чтобы положили на пару часов в морозильник), вскоре направился домой.

2

Я проснулся около девяти часов утра. Мой брат Геннадий, владелец этой внушительной, деревянной, желто-красной двухэтажной дачи, еще в малиновом рассветном мареве подался на рыбалку ближе к Ладожскому озеру, так что всё кухонное и приусадебное хозяйство находились в моем подчинении. Но распоряжаться (или по-простому – обрывать), как бывшему участковому Китычу, киту или коту Василию пашской территорией, попросту не хотелось. А во владениях брата имелась и всякая пищевая растительность, которая уже пищала, чтобы ее скорее срезали и съели, и мелкая живность: кошка, бело-красные курочки, однако не уточки. Но я не спешил заняться трудами праведными. Первым делом направился к окну раздвинуть вазильковые занавески. На белом подоконнике (уже в другой комнате) находились бледно-коричневые пачки (еще из старых запасов) с пересохшими сигаретами и слипшимся растворимым кофе. И ту, и другую сразу же вычеркнул сразу после операции в онкологическом отделении из списка употребляемых веществ-продуктов. К ним я теперь если и прикасался, так только взглядом.

Глотнув просто водички, вышел на крыльцо, освещенное неярким солнцем. Потянуло к большой воде... Идти куда было не надо, так как часть неширокого русла просматривалась прямо из яблоневого сада. «Как по синей речке плыли в даль дощечки». И действительно, перпендикулярно берегу плавно передвигалось несколько белых обрезных досок, напоминавших воинские лычки на погонах. Выходило, что река-сержант и она могла дать мне по утрам зычные команды: лечь, встать, снова лечь, отжаться, отжать у прижимистой грядки ворох драгоценных сорняков... Да вот только река, не успевавшая закрывать уставные уста и приказной рот, могла вскоре захлебнуться от громких команд и собственных вод.

Вдруг услышал кряканье, раздававшееся из-за синего деревянного забора со стороны небольшого пустыря, заросшего ольхой и колючим кустарником. Не спеша направился на голос и задавался вопросом: «Кто это может быть? Ну не натуральная утка ведь. Может, какая постава? Или со вчерашнего дня в Паше и России начали крякать все: и соседи, и деревья, и туалеты?».

Нет, за высокий забор цвета морской волны я не поплыл, еще пропорол бы живот острой штакетиной, а обходить, чтобы оказаться на месте уточки или уточкиного звучания, далековато. Потоптался, пошарил в траве. Ни ш-утника, ни злодея-страшила я не обнаружил, но вскоре в зеленой осоке нашел плоскую розовую ласту. Улика? Красная «черная метка»? Если это серьезное предупреждением мне или Гене, то ласты были бы склеены, а обнаружился единственный экземпляр.

Вдруг я вспомнил собственный стих, в котором имеется выражение «склеить ласты», и тут же в памяти прокрутилась история с публикацией этого стихотворения. В прошлом году вздорные составители не взяли мои стихи в поэтическую антологию. Я, возмущившись, направился к председателю Орлову с заявлением, мол, меня, лауреата двух премий, небездарного и большого человека, просто нагло проигнорировали, лишили публикации, голоса, и теперь хоть крякай от негодования. Чтобы успокоить, Орлов предложил мне срочно предоставить подборку стихов для публикации в газете «Литературный Петербург». Буквально через неделю с объемом на полстраницы под фотографией бедной приладожской избы, к стене которой прибиты крупные клубные портреты Маркса и Ленина, были напечатаны три моих стихотворения:

Светла – черна

Река, облака, берега,
Березки на краешке луга,
До радостных слез дорога,
До боли родная округа!

Такой вот бесхитростный штамп,
Хоть нынче бесхитростных мало...
На травы навалено шпал
Вразброс и внахлест, как попало.

А шпалы, понятно, черны,
И я с комплиментами краю
Слетаю мгновенно с черты
И местность уже очерняю?

Влюбленность и чудный мотив
Проплыли по рощам и лугу...
Совдеповский локомотив
Вдруг дымом окутал округу.

Чего это он зачадил,
Зачухал, чух-чух, и заухал,
Ведь станет для взора не мил
Июньский простор с дымовухой.

Я сам вековой паровоз
Со Сталиным, с Красной звездой
Пригнал, чтобы шпалы увез
На базу, что рядом с водою.

И там же, на сини реки,
Суденышки копать исторгнут...
Взрвуг паровые гудки,
Чтоб выразить краю восторги!

Ладожанин

Небо над округою синее...
 Все сильней буржуазии власть.
 Эх, зелены клены, как бы с нею
 Сельскому народу не пропасть.

Нищета... Но за деревней пропасть
 Аленьких и беленьких цветов.
 Не ныряй в них, а, впадая в робость,
 К жизни быстротечной будь готов.

Утонуть в лугах душистых просто,
 Станешь как уопленник лежать –
 Как мужчинку небольшого роста
 Никому тебя не будет жаль.

ЗДЕСЬ всего! Любых цветов для
 гроба!

Но перевернув, потерябя,
 Все ж должна осуществиться проба,
 Чтобы откачать, поднять тебя.

Может, при искусственном дыханьи
 Золотые рыбки из рта
 Поплывут в красивом трепыханьи,
 А за ними – деньги на счета?

Сказка буржуазная! И «деза»!
 Не смехи кремлевский караул!
 Если из тебя что и полезет,
 Так цветы, в которых утонул.

Если ты еще не захлебнулся
 Ими, то найди себе дела.
 Плохо с работенкой здесь,
 и в нуль вся
 Жизнь так неожиданно ушла.

Приладожский поселок

Заалел далекий горизонт.
 Словно красный крейсер,
 солнце тонет.
 Рассуждаем про возможный фронт
 По защите ладожских устоев.

Поздно, паренек, окопы рыть
 Да из сучьев вырезать «дугалки».
 Демократы проявили прыть,
 И теперь здесь скорбь, вороны, галки.

На зеленых елках двух кладбищ
 Множество зловещей черной птицы,
 Даже рыбы каркают на бис,
 Выпорхнув из ладожской водицы.

Про «Летучего голь-ландца» тут
 (Что от слова «голь»)
 под ивой спорят,
 Мол, на судне-призраке плывут
 Поквитаться с буржуазной сворой.

Где работа, деньги и права?
 Давят так, что скоро склеим ласты.
 Сдали это озеро Москва,
 Ленинград и областные власти.

Быстренько доверились врагу
 И лжедемократам регионов.
 Лодки на воде, на берегу -
 Трубки кабинетных телефонов?

Брошены нервно на столы,
 Ни гудков,
 ни слов из них не слышно.
 И на Кремль, и на себя мы злы:
 Неприемль ... не как хотели, вышло.

От зари стал красным цвет воды...
 Не бойцы ли демобатальона,
 Вставшие в оккультные ряды,
 К озеру пришли топить знамена?

По команде ряд меняет ряд,
 Чтоб швырнуть
 марксизма флаги в воду.
 Одиозный ритуал-обряд
 С маршами, с презрением к
 народу...

В третьем стихотворении как раз и имеется строка про склеенные ласты. А во втором произведении изо рта утопленника выплывают рыбки. Но нет в стихах ни строки про уток или хотя бы про пожирателей рыбы – пеликанов и бакланов.

Может быть, и всё нынешнее пашкое крякание – это не больше, чем кричалка, бакланка, болтанка с матужными прибаутками, приколами? Но когда лишают голоса, остается крякать.

Хорошо, что во главе писательской организации стоит Орлов, и он позволил мне через литературную газету высказаться, но плохо то, что в руководстве страны нет влиятельных людей, которые не закрывали бы, а разрешали смело открывать гигантский общий рот Русского народа.

3

По старой советской привычке к началу продажи спиртного, то есть к одиннадцати часам, Китыч подплыл к «Пятерочке». Вот-вот должны были начаться утиные «герочки». Но местных парней, ни трезвых, ни пьяных, пока не наблюдалось, ни Сашки Степанова, ни понтового спонсора. Пришлось ждать, как неподалеку холодные и продолжительные дожди стояли в длинной очереди и шептали друг другу, когда же солнце разрешит им здесь пролиться.

К организатору, продюсеру, а, может, и «кря-ативному смотрящему» у Китыча имелось реальное предложение. Как гармонист он мог помочь крякунам исполнить легендарный и очень своевременный и уместный теперь Танец маленьких утят. И движения, и простенькие слова развивающей и сопровождающей танец песенки он знал хорошо, можно сказать, наизусть. Но пришлось ждать начальника.

На небе – к дождю – появились белые протяженные тучи. Синева с полосками перистых облаков напоминала тельняшку. Небу скоро придется рвать ее на себе? Китыч еще предыдущим вечером решил драть глотку и все что угодно, чтобы побольше подзаработать.

На маленькой площади около универсама стала ходить и взад, и вперед голубая мусороуборочная машина плоского вида, словно большущая стиральная резинка, чтобы ликвидировать, стереть всевозможные вчерашние следы. А не рано ли, подумал бывший «мусор», ведь сюда с минуты на минуту должна была прийти еще та гопота. На отвороте, рукаве дороги к закрытому кондитерскому предприятию, где работали гастербайтерки-азиатки, поднялся, словно красный смычок, шлагбаум. Кто-то, но, конечно, не придорожный кузнечик для узбечек должен был бы запилкать на абстрактной скрипке. Бетонные столбики и булыжники правильной округлой формы пребывали в таких позициях и позах, что казалось, готовы к уличному демократическому балу. Бал булыжников? Неплохо. Такой образ составителям злополучной антологии даже сообща никогда не придумать. А возле моста урчал бульдозер, передвигая большие объемы желтого песка. Делали насыпь. Насы... на ссы-ставителей.

Нервный Китыч терпел из последних сил. Не умел ждать. Но вскоре появился питерский пожилой очкарик, а за ним через минуту – около

пятнадцать местных верзил, крякунов-архаровцев. Владимир сразу направился, как сам выразился, к Ваське: «Привет!».

– Привет! Что-то ты, Китыч, раньше всех.

– Что вы с опозданием?

– Специально, чтобы дать тебе здесь в одиночестве поостыть, а то бы нас сразу стал разгонять по домам... Мне Степанов позвонил, что через десять минут выйдут на площадь. Так ты для чего появился, подавлять местных крякунов-смутьянов или заработать на выпивку?

Василий Никитич обиженно буркнул: «Нужна мне их водка. А вот деньги требуются позарез».

Вкратце познакомил со своей идеей подыграть танцу маленьких утят. Мол, если Дональд согласится, сходит домой за гармошкой и выдаст «комаринского» или «утинского».

– Да, так веселее будет, – поддержал его Владимир. И сам зафонтировал, как в советском парке культуры и отдыха из гипсовой скульптуры коммунистической уточки шла уточка или бил фонтанчик-танчик: «Разучивать надо не только танцы, но и коллективно – в двадцать глоток – старые песни, такие как «Летят утки да два гуся»... Еще у Розенбаума имеется «Утиная охота»... Есть так же веселая американская песенка «Утки-а-а!»). Да, ты Китыч, можешь хорошо подняться на уточках и на Димоне.

– Нет, только за деньги играть стану.

– Что-то больше не вспомнить... Лебединая песня – все же не утиная. Ути-ути Путин. Серьезных песен про него нигде не слыживал...

Вскоре на белом «Мерседесе» приехал продюсер, высокий и тощий Дональд в черных джинсах и красном пиджаке в мелкий белый горошек. Позвал к себе ржавого Степанова и дал ему на круг две тысячи и пообещал, что вечером еще даст пять косяк. Потом вступил в переговоры с Китычем, при этом представился: «Можешь звать меня Дональдом Траппом. Дональд – это могучий штатовский Ут». Идея с сопровождением и исполнением танца утят показалась ему блестящей, и он сразу согласился ее реализовать. Китыч, получив тысячную купюру в аванс, быстро направился за гармонью домой. В прихожей висела репродукция графической картины, на которой запечатлен революционный матрос-балтиец. С гармошкой. На изображении – мятежный Кронштадт, здесь – мятежная Паша. И у Китыча возникла мысль надеть на крякающую сухопутную братву тельняшки и бескозырки. Но когда он вернулся к «Пятерочке», растянул гармонь и раскрыл рот, то из него раздался не боевой музыкальный клич, а выплеснулась песенка для детского утренника:

На шагающих утят
Быть похожими хотят,
Быть похожими хотят
Не зря, не зря.

Даже толстый бегемот,
Неуклюжий бегемот,
От утят не отстает,
Кричит: кря-кря!..

Можно хвостик отряхнуть
И пуститься в дальний путь,
И пуститься в дальний путь,
Крича: кря-кря!

Даже бабушка и дед,
Сбросив 80 лет,
За утятами вослед
Кричат: кря-кря!..

Был вечер. По телевизору показывали, как кто-то высказался, опердную постановку, а мы с Геннадием, толстеньким и молоденьким пенсионером, одетым в спортодежду, смотрели футбольный матч на Кубок конфедераций Россия – Австралия. Если бы за нашу Пашу-Рашу выступала команда «Могучих утят», то мы победили бы кунгурят с разгромным счетом, каким бы маститым и фартовым ни был их тренер Кент Гуру. Игру в этот раз я смотрел без азарта. Пятнистый мяч через стекла очков, при чем не разбивая их, конечно же, влетал в мою круглую голову, но мозг из нее не выносил. Я частенько вставал из фиолетового кресла, подходил к окну и, раздвигая светло-коричневые занавески, смотрел на закат солнца. Пылающий горизонт подсказал мне (о, если бы и руководителям государства), что никакого разжигания национальной вражды со стороны русских нет, а есть здравый смысл и разумное понимание тревожной действительности. А когда после футбольного матча вышел погулять к реке и увидел драную рыжую собаку, понял почему евреи так горячо защищают мигрантов, цыган, брошенных псов. Потому, что их, обеспеченных жильем и деньгами, все равно преследуют вековые представления, комплексы, что они сами приезжие и бродячие люди. Понятно, почему они и против смертной казни коллективно и ожесточенно выступают, хотя при этом выгораживают и по существу обеляют убийц и других крупных преступников...

Вечерние или уже ночные виды природы были впечатляющими. Пейзажи, словно гигантские невидимые бульдозеры, надвигаясь, выталкивали из меня тоску и скуку. Домой я вернулся расслабленным, но разговорчивым, поэтому охотно и шутливо рассказал полненькому и подвижному брату, носившему по дому сине-бело-голубую зенитовскую спортивную форму, о боевито крикающих пашских утятах и предложил ему тоже поучаствовать в акции, тем более у Геннадия как мелкого предпринимателя имелось много претензий к премьеру. Участвовать в простонародном флешмобе он не захотел, не тот статус, и к тому же как опытный организатор-производственник почти всю жизнь проведенный среди строительного люда, очень хорошо представлял что значит влиться в суетливо-разговорчивую и жадную до денег массу гопников и маргиналов. Поскольку на улице темнело очень поздно, был пик июньских белых ночей, предложил авантюрному старшему брату сходить в сарайку, в которую было проведено электричество, и поискать там как резиновую, игрушечную, так и эмалированную больничную утку. Вернулся только с игрушечною и протянул ее Геннадию, сидевшему в плетённом желтом кресле и сказавшему:

– Помой сначала в бочке эту сраную птицу, капризную пищалку.

Я молча направился к черно-бурой железной бочке, наполненной дождевой водой. Поставил или положил утку на поверхность жидкости, нажал дважды на ее голову, но крика-деваха мгновенно выныривала из-под ладони, не собираясь уходить на дно.

Гена зло пошутил: «Вот так в России и получается. Некогда тихий

премьер Медведев завел на элитной даче утку, он же из соображений милосердия и всеобщей любви к животному миру построил ей красивый и комфортный домик, но как это всё отозвалось в народной России? Мужики начали на трассах, в том числе и на нашей, федеральной, снимать проституток, привозить к себе на дачи, трахать, а потом топить в бочках с водой для поливки».

Я высоко оценил глубокий смысл этого существенного замечания: – Доктринка... глубинка... Криминальная декадентщина, черный романтизм... Но знай, что утка-то непотопляемая! Да мы с ней, словно с «Авророй», совершим настоящую революцию как раз в 2017 году, в год столетия ВОР – Великой Октябрьской Революции. Наша утка как крикнет, так выстрелит, что погромче корабельной авроровской пушки прогремит.

Мелкобуржуазный Геннадий не стал слушать маргинальную ахинею, встал из кресла и потопал в дом, а я остался около бочки, в которой плавала зелено-черная резиновая птица...

Словно не тонущая уточка, в моей памяти снова всплыла история о том, как зимою чуть было не утопили меня в писательской бочке, в писательских отстойных водах. Да, имеется литературная вода и литературные уроды, дауны. Таким безусловно является молодой и заносчивый поэт, редактор московско-петербургской «Русской антологии» – просим любить и жаловать – Андрей Ермаков, который отказался печатать мои «слишком русские» стихи.

Требовалось публично возмутиться, прилюдно крикнуть что есть силы. Решил громогласно выступить на одной из ближайших литературных мероприятий, но Ермаков, как чувствовал, что на него мощно наедут, в течение полутора месяцев не появлялся на Звенигородской. Пришлось воспользоваться скандальными услугами телефона, и я, обрызгав слюной его красно-коричневый корпус, совершенно не фильтруя базар, обозвал Хермака самыми хорошими словами, которые начинается на букву «х». Отметился в классическом духе Жирика, где отсутствовала всякая лирика. Нет, нет, лирика присутствовала, ведь я обозвал главного и говнющего редактора пастернаковцем, паленым палестинцем, а так же вековым врагом деревенской поэзии, ставленником которой я и являюсь.

Но здесь имело место не простое столкновение честолюбивых и авторитарных авторов, простите за тьяв-тявлогию. Тут как бы опять, но уже на петербургской земле, на страницах литературных сборников столкнулись Пастернак и Есенин. Крестьянские поэты не должны отвечать молчанием на притеснения... Ну я и дал отповедь чисто по-деревенски, в варварском, даже языческом духе, обматюгав, обрызгав Ярмо-кова словесною грязью с ног до головы.

А когда он все же появился в Доме писателей, я уже прилюдно обласкал его как раз перед кабинетом Орлова. Дальше-больше, в ходе секции литературоведения при многочисленных присутствующих сделал очень громкое заявление, что в русском СП образовалась крепкая группа писателей, которые не печатают в коллективных сборниках и антологиях некоторых

талантливых русских поэтов, то есть в русском Союзе (специально несколько раз подряд повторяю определение «русский»), на русской территории, терроризируют русских литераторов. Применительно к себе заявил, что не брать в «Русскую антологию» стихи онкологически больного лирика, которому осталось жить, может год, два, это верх наглости.

Про то, что являюсь хорошим поэтом, молчал, хотя все же отметил, что имею две литературные общероссийские премии. Вообще-то, таких поэтов надо автоматически включать в число авторов всех сборников (ведь печатали меня даже в московских антологиях «Поэзия 20 века» и «Поэзия 21 века»), но кто-то считал, что лучше из автомата – по мне, мол, такова радостная участь настоящих крестьянских лириков.

Короче, поцапались знатно. Хотя из-за той же болезни не мог долго и громко кричать, но подтвердил реноме литератора-бойца, смутьяна, который когда-то читал протестные стихи с городской трибуны в адрес местных и столичных руководителей, который воюя с теми же пастернаковцами, вынужден был предстать перед петербургским судом на Караванной из-за того, что слишком рьяно защищал честь нашего поэта Николая Рубцова. Таковы вековые нравы в России: посадить русского, если он защищает русских...

К Орлову, как известно, уже обращался, он напечатал три моих стиха в «Литературном Петербурге», газете, выходявшей в свет раз в два-три месяца. Все же я еще раз сходил к нему и с горечью заявил, что в русском СП, при русском руководителе, (а Орлов к тому же является сопредседателем всего Союза писателей России, а не только петербургского отделения) русских поэтов вообще-то не должны третировать, замалчивать и зажимать. Борис обещал всячески помогать, что и делал, и за это ему большое «русское спасибо».

Так что я дал звону на Звенигородской! Звени, город! Звени, деревня! Звени, коса, пока роса.

В июне соотношение между атмосферными светом и темнотой такое, что можно с небольшой погрешностью заявлять: вечер косит под утра, а утро под вечер. Проснувшись и наскоро позавтракав, пошел на близкую речку порыбачить. Забросил леску, смотрел на красно-белый поплавок и начал иронически вопрошать: «Удочка, удочка, как говорит уточка?». Сам же и ответил «кря-кря». Мимо меня проходили мама и пятилетняя Люда: «Людочка, Людочка, как говорит уточка?». Кря-кря. Таким образом можно обучить кряканию всё 150-миллионное население России, чтобы оно на новогоднее поздравление президента ровно в полночь могуче крякнуло в один голос.

Через десять минут мимо меня, рыболова да еще ловца-самца, по берегу прошла тощая «овца» в купальнике желтого цвета, и поэтому ее лобок, ягодицы и груди были похожи на золотистые, но разные по размерам купола белокаменного собора. Девушка к тому же являлась жгучей брюнеткой. Хорошо же я ее вблизи рассмотрел, если заметил, что темные точки на лице похожи на пятна гудрона, появляющиеся на стенах зданий при ремонте крыш.

Требовалось подремонтировать и мою «крышу», а то она начинала съезжать при мыслях о крикании.

Мне как рыбаку требовалось в такой позднеутренний час найти «нишу» среди заводов реки, чтобы в ней удачно ловить рыбу. С голубеньким ведерком и удочкой направился дальше по течению Паши. Вдруг на желтой земляной площадке, на деревенском мини-пляжике увидел вылепленный из сырого песка и серой глины (явно кем-то из гостивших петербуржцев) метровый Исаакиевский собор. Несложно было досочинить, приплюсовать или присоединить к собору Медного всадника, гостиницы «Астория» и «Англетер», великого Сергея Есенина... Стоп! Еще для абсолютной полноты мистическо-исторической картины требовалось увидеть ползущую по берегу гадюку, но она в живом реальном виде, как я пристально ни смотрел по сторонам, отсутствовала, поэтому мне пришлось и ее домыслить, дорисовать, а так же вспомнить строку из произведения Игоря Северянина «Есенин – Змей крестьянского мятежа». А свои стихи об ритуальном убийстве Есенина-Змея вблизи оккультных невских и балтийских вод, которые мистически являются врагами Земле и Змее – по теории о глобальной войне между тайными Орденами Моря и Суши – я знал довольно точно. Вот первый стих:

«В зеркальной «Астории»»:

Не кидался с ножом-кинжалом,
Не вопил, что в былом – «Зэка»,
Как змея любовался жалом
В петербургском дворце зеркал:

Убольшалось и походило
На рогатину мужиков,
Что валила и под кадило
Подвернувшихся буржаков.

Расширялось или поуже,
Как весенний ручей в селе.
Гидра бунта на званый ужин
Пригласила меня в числе.

Все мы сожраны жадно будем.
Не подумай, что ты орех.
Ну а я, как змееныш бунта,
Пропаду поскорее всех.

Делай ноженьки из «Асторий».
Уползай. Пропадать на что?
Въедет в зал на коне Георгий
И копьём зашвырнет на стол,

За которым – никто без чина,
Ни Бухарин, ни лигактив...
Здесь земле и змее – кончина,
И недаром вблизи залив.

Драпани не в ближайший
садик,
Где курсистки и матросня,
Где мистически
Медный всадник
Над Землею поднял коня...

Город убитых змей

«Есенин – это змей мятежа!».
Игорь Северянин

Известнейший из вредин,
Король эпатажа,
Заметил, что Есенин
Был Змеем мятежа.

Прикинул: «Море, змеи
И смерть их от воды».
Оккультные идеи -
Предвестницы беды.

Здесь так же – Конь и всадник,
А ниже – русский змей.
Погибель гада – праздник
Для храмов и церквей...

И вот сюда Сережку
Доставил паровоз
И, подождав немножко,
Обратно труп увез.

Проверьте (если петрю)
Теорию мою:
Засунули здесь в петлю
Есенина – Змею,

Сдавили над землей,
Над мертвенной Невой...
Я сам ползу Змеёю
Крестьянской, боевой.

С архангельской злостью
Акцент дарю вам:
Язычества «охвостье»
Ударит по церквам.

В шипении и вое
Шикует звукоряд...
В золотое, вековое
Довольно ударять?

Да, я перестал даже словесно ударять по церквям. Я, так сказать, размяк, перестал по-язычески напрягаться. Я уже и не думал бунтовать со свирепостью змей, из-за болезни размагнитился, и теперь меня устраивает даже не кряканье, а квяканье (квя-квя-квя) уточек.

5

Утром у Китыча с похмелья болела голова. Если бы он на самом деле был китом, то из его макушки зафонтанировали выпитое вечером спиртное или загулявшая в организме блевотина. На пятисотку из вчерашних денег за аккомпанемент для танцующих утят (а подошли, подтянулись, чтобы оттянуться-уттянуться, и старухи, и молодухи) он наакался до поросычьего визга. Да, после кряканья – до хрюканья. Еле поднявшись с кровати, пошел к умывальнику, на который был наклеен снимок главкома Сталина. Приятель Толян, майор МВД, как-то поддел хозяина: «Что у тебя за генерали-ссы-мус? Вода из краника капает, как с конца у Сталина». Китыч в то муторное утро (мутро) ответил мудро: «Пуускай уж лучше Сталин ссыт на тебя и на клеветников, чем вы на Сталина». Поддел знатно. С демократами не чикался. Может, всему населению России надо по утрам промывать собственные глаза сталинской мочой-росой, чтобы правильно видеть?

Продолжим о вождях, а не о дождях (из умывальника тоже). Некогда Китыч, работая участковым, конфисковал у местных цыган-воров занятую шкатулку-гробик, внутри которой находилась фигурка Ленина в крохотной траурно-черной одежде и со сложенными на груди ручками. К шкатулке прилагались – на смену – еще шесть маленьких восковых фигурок советских вождей (в костюмчиках, но не в трусиках разного цвета). Получалась вождистская «неделька».

Китыч еще не решил, делать или нет скульптурку Путина. Думал, а может, ВВП в мавзолей к Ленину положить? Все же тезки...

Вскоре с гармонью пошел на злополучной «Пятерочке». По пути сочинил и сыграл частушку: «На прудочке утки ряно Раскричались «кряк» да «кряк». Танька злится на Ивана: Не моряк, ты, а мокряк».

Глядя на деревья, заметил по-осеннему пожелтевшие листья. Видимо, в кусты сирени и в плохो голосивших с ее ветвей птиц-певец некий разочаровавшийся романтик-слушатель бросал куриные яйца, скорлупа прилипала, обозначая белое цветение, а растекившиеся желтки придавали находящимся под ними листьям осенний окрас.

Но внезапно наступившая осень не осеняла и не опохмеляла. Мизерное количество дождевой воды имелось в рюмках-бутонах цветов, например, в колокольчиках. Можно было их слить в одну посудину, но получилось бы, – как для слона дробина, а не гробина.

Вскоре Василий подошел к речке Ягодка, впадающей в реку Пашу. Там серебристая ива просила пива, а досталась только серая пена прибрежных вод. Через десять минут пути увидел почерневшее бетонное кольцо придорожного колодца, в котором скапливалась избыточная вода. Думалось, что если в него сунуть руку, то выловишь, как Емеля, щуку. Тогда эта рыбина обеспечит тебя и пивом, и чем ни пожелаешь. Придя к «Пятерочке», Василий Никитич выпил водочки из стопарика, а не из бутона или черного шарика. Рядом с ним на соседнем дощатом ящике сидел Владимир и, жестикулируя правой рукой, вещал о вождях: «В России многие руководители по сути «ути». П-утин... не говоря уже о Медведеве с его уточкой. М-утко – министр спорта, – когда-то закончил ленинградскую шмоньку, был водником-болотником. Кто еще? Подсказывай! Нет, у Жириновского сын Лебедев, а не Уткин».

– Утки – политические проститутки, – выдавил из себя Василий. – Смотрю, все крякалы сегодня какие-то вялые. Нужны допинг, алкоголь.

– Ага, голь – алкоголь. Лучшая рифма года, – определил поэт, – дополню, что и Путин, и Мутко – водоплавающие птицы, не тонут, плавают и опохмелиться не просят.

Наступила непродолжительная пауза, которую восторженно прервал Владимир: «Мы здесь сделаем Васюки... Утю-ки или Утюги. Представь, по синей реке плывут раскаленные красные утюги, и от них расходится белый пар. Хотя нас вскоре тоже назовут отработанным паром... Мы создадим здесь Всероссийский утятный центр! Пашу назовут Утятня – у тяти я, то есть у отца своего – Сварога, Велеса. Мы здесь проведем концерты, чтения... Устроим Великий парад уток! Созовем слеты любителей и ценителей Танца маленьких утят, которые будут отжигать в несколько смен, вахт, днем и ночью! Василий, подыгрывай!».

Китыч растянул малиновые меха и действительно сыграл. Но чуть-чуть, хмуро и тоскливо глядя на сегодняшних крякунов. Ему требовалось увидеть Главного устроителя, получить аванс, а может, и все деньги за трудодень-угодень. Это его успокоило бы по-настоящему.

А Владимир продолжал: «На подведение итогов шествий, песенных и танцевальных конкурсов пригласим самого Димона, пусть вручает как призы золотых, серебряных и бронзовых уток за три первых места... Надо, чтобы сюда обязательно привезли трехметровую ростовую куклу Кряку. Тогда, завидев издали гигантскую могучую утку, близ магазина станут останавливаться все иномарки и фуры, идущие по мурманскому шоссе. Шофера будут выходить из машин и давать вам большие деньги. Да мы в добавок тут АнтиПлатон устроим, все движение на Север перекроем».

Василий, которому надоело внимать неукротимым фантазиям очкарика, нажимая кнопки, растянул меха гармони, чтобы раздались протестующие грубые звуки. Потом сам заговорил: «Что ты гонишь? Да за перекрытие федеральной трассы, за вредительство и саботаж этапируют по этой самой мурманской дорожке в такой лагерь, что не выбраться будет. Станешь оттуда писать Медведеву письма о помиловании».

Владимир тязело и оправдательно вздохнул: «Сами же вчера с тобой спланировали конкурсы утиных песен и танцев».

– Тогда скоро песню «Летят утки» запретят.

– Но Розенбаума не запретят. Кто человека с такой фамилией запретит, кто перед Розенбаумом шлагбаум опустит?

Владимир продолжил с серьезным видом: «Когда мы вчера с тобой расстались, на меня нашло. Начал опять фонтанировать. Придумал парады и новые конкурсы, даже переименовал самолет «ТУ» в «УТУ». Хочу обратиться с предложением к областному правительству, чтобы в Паше открыли выставку-продажу медоборудования с обязательным показом на ней ночных уток-писсуаров».

Китыч иронично покачал большой головой: «Писсуары... Забило у тебя из переднего места... Эти проекты надо обсуждать не с гопотой, а с Дональдом. Только почему он не приезжает? Пора бы уже. Если не заплатит вперед, играть не стану. Забесплатно против властей не пойду».

Вскоре со стороны Петербурга на белом «Мерсе» с личным водителем, одетым во все черное, прибыл Дональд-Даня, чуть ли не Данко. Он подозвал Китыча:

– Надо съездить поиграть в соседнее Доможирово, толпу тамошнюю завести. За двойной оклад.

Кот Василий или кит довольно улыбнулся: «За пару тысяч можно. А за десять тысяч хоть по всему северо-западу. А за сто тысяч по всей России-матушке с ударным кряканием прокатимся».

К Дональду с проектами, озвученными недавно Владимиром, подваливали кому не лень и он, кивая и отсчитывая Степанову на водку, посадил Василия Китыча в машину и увез его по направлению к Доможирову, где в добавок планировалось раскрутить на деньги водо- или льдоплавающего Женю Плющенко, имевшему там, как и тренер Мишин, дачу. Однако «ледового утенка» Женю застать не удалось, поскольку он в последнее время почти не выезжал из Москвы, где открыл свою очень престижную и очень прибыльную (обдирающую до кожи при падениях) школу фигурного катания.

6

Еще предыдущим вечером я пребывал в эйфории. Как же, со своей, а, вернее, с остаповендеровской идеей о создании в этом населенном пункте Нью-Васюков я несколько минут находился в центре внимания крякунов, а теперь как-то всё схлынуло, схлопнулось, горячка прошла, и поползли холодные, отчасти мерзкие размышления. Даже поставил под большое сомнение дальнейшее пребывание среди заплотенных и необходимость ежедневных хождений и улетов в лагерь сумасшедших и попросту пьяных с его утиной рутинной. Эпиграф «Этот «кряк» у нас песней зовется» начал быстро терять для меня свою свежесть и привлекательность.

Проснувшись утром, первым делом заглянул в окно и чуть ли не столкнулся своим лицом с лицами листьев разросшейся рядом с домом яблони. Все эти листья вдобавок напоминали множество зеленых матросов, которые с мачт и рей дерева-корабля подсматривали в окно, надеясь узреть и узнать, что я делаю за светло-синей занавеской, как и с кем сплю, провожу ночи. Так же можно было предположить, что в ночное время на цыпочки или на кончики своих пальцев вставали высокие травы и разноцветные тюльпаны, чтобы достать до подоконника... застать меня в комнате с женщиной. Ха-ха, грех-то какой.

Я высунулся в окно и увидел, что в мою честь оказались поднятыми рюмки цветов. Так же как продолговатый, очень узкий хрустальный бокал, набирал высоту серебристый самолет, чтобы вскоре разбиться – на утреннее счастье – о землю? Я скорбно вздохнул. Увидел и осознал, что всё пришло в движение. Тут же ощутил, как в тоннелях вен мчатся длиннющие многовагонные поезда или неустойчивые составы крови.

Когда вышел на крыльцо под освежающий синий ветерок, с улыбкой представил, что любовь ко всему земному и грешному наполняет, надувает мою голову, словно воздушный шар, что голова отделяется от туловища и улетает к красивой соседке, которой как раз требуется туловище мужчины, а не его заумная головушка. Э, нет никаких улетов, привязан к земле зелеными бечевками трав, прибит к ней гвоздями стеблей. Примерно так же колечками, длинной цепочкой звуков соловей был прикован к моему чуткому уху.

Надо было самому прямо с утра садиться на цепь или привязывать себя к письменному столу и петь... пером скрипеть. Хватит болтаться, тереться возле масонской «Пятерочки». А то ведь уже попробовал покрякать и похрюкать. Сам под себя подкладывал утку (немедицинскую). А вдруг в не очень-то уж и тесные ряды крякающих внедрена Подсадная утка? Потом же все на меня, язычника, свалит?... Надо поскорее написать повестушку о моем столкновении с Ермаковым. Опять стал копаться в своих записях, заготовках. Нашел черновик своего письменного обращения, так и недописанного, к Орлову. Вот что в нем значилось:

«Борис Александрович, прошу вас как сопредседателя СП России, как директора проекта «Антология» остановить этот русофобский произвол, либералистическое бешенство. Редактор Ермаков и его прихвостни гнобят, прессыют русских поэтов в русском СП. Борис, останови их, не подыгрывай

им. Ты же не их пособник, не из твоих ли уст я слышал заверение «Русские русских не сдают». Ты – председатель – гарант справедливости... Это же надо не напечатать стихи онкологического больного! Где у ермаковцев-пастернаковцев хваленый гуманизм, интеллигентность, милосердие, о чем так упорно и долго гундосили братья Вайнеры – по сути варвары. Это же дискриминация, наглый наезд на русскую патриотическую поэзию. Не назначай сомнительных людей составителями, а не то они сразу начинают играть в свои псевдодемократические игры, используя выделенный им административный ресурс. Надо же, как всю нынешнюю Россию, обставили ограничениями и запретами, так русского поэта Меньшикова обложили санкциями...».

Прочитал еще пару таких черновиков, перемешал их, как игральные карты, и засунул в оранжевый файл – до следующей недели. К тому же подходил Гена и предложил съездить в Волхов на кладбище к отцу и матери, которая умерла в январе этого года. Про кончину мамы еще не успел стихи написать, а про могилу отца рассказал в нескольких стихах, например, в таком.

На могиле отца

Скорбно стою я. Без шляпы,
Не средь солдат и знамен,
Возле надгробия папы...
Память ему и поклон!

В небе лазоревом светит
Солнце (превыше всего).
Мраморный памятник метит
Скромно могилу его.

Выпив, бывал генералом...
Да и грешно называть
Комплексом, мемориалом
Захоронения пядь.

Всё перепутал я в гордость?
(Враль без начала-конца).
Тут появляется, сгорбься,
Степушка – сверстник отца.

«Пусть твой отец не эпоха,
Не знаменитый, как те,
Но похоронен неплохо.
Вон и портрет на плите...».

Скорбно постояли, положили цветы и уехали в город. Хотел заехать в библиотечный комплекс, оставить новую книгу, но там директором работает моя бывшая одноклассница Галина Светлова, которая не расположена ко мне и к моим «крестьянским произведениям». Не очень-то доброжелателен ко мне и бывший однокурсник и нынешний директор Дома писателей Евгений Лукин. Так что ставка на одноклассников, однокурсников может оказаться совершенно проигрышной. Было ясно, что мою дорогу к читателю перекрывали почти что все и почти во всех местах.

Проезжая по улице Молодежной, я внезапно увидел не кого-нибудь, а самого именитого писателя нашего СП – Николая Коняева. Впрочем, я не так уж сильно и удивился. Знаю, что он давно кормится с земли волховской, с земли языческой. Не всегда, но частенько ему здесь помогали с той или иной подработкой. Где-то в 2000 году, будучи журналистом «Волховских огней», я

несколько раз побывал на предприятии «Волховгипс», работающем на минеральных отходах местного алюминиевого завода. Из гипса в соответствии полученными заказами делали скульптурные фигуры советских пионеров-безбожников, колхозников, сталеваров и так далее. Уже в меркантильно-буржуазное перестроечное время из него, добавляя для крепости разные градиенты, стали выпускать ларьки, павильончики, дачные домики. Сверху покрывали водоустойчивой краской, и получались очень симпатичные, компактные строения. Мне – язычнику пришла идея по созданию из гипса культовых сооружений... Короче, это длинная история, может, распишу ее подробно потом, но в ее счастливом финале православный Николай Коняев привозит мне из Волхова в Петербург пятьдесят тысяч рублей (новыми), которые оказались очень кстати. После того случая я занимаюсь формированием положительного образа писателя, хлопочу о его канонизации, конянизации.

Увидев теперь Николая на улицах Волхова, я попросил Гену, чтобы он посигналил. Я помахал рукой и вышел из «мерина».

– Откуда, Михайлыч? По-прежнему в «Волховгипс» ездешь?

– Нет, теперь в «Волховклипс».

– А что за контора?

– Клипсы делаем. Вернее, киноклипы православного содержания. Здесь у вас талантливый оператор Антон Храбров проживает, вот с ним стал сотрудничать.

– Ну ты теперь у нас еще и звезда экрана.

Фамильярно похлопав потенциального классика по плечу, продолжил: «Ну, так что ты тут творишь?.. Поделись сокровенным, я же не просто язычник, я по сути дела твой ангел-хранитель. Защищаю тебя от всяких пернатых, Скворцова, Голубева, Лебедева... О тебе же плетут черт те что, всякое нехорошее наговаривают. Тот же Лебедев-Серб все время стонет, что ты сам ничего не сочиняешь, голову не включаешь, а все материалы для исторических и религиозных книг берешь из интернета. А потом он же при всех слезно умоляет тебя, чтобы ты помог ему напечататься в журнале «Север». Кто-то говорил, что ты написал статью о Шадрунове для престижа, для своего пиара, ведь он теперь памятник. А я, наоборот, заявляю, что ты – светлый человек, совершенно не завистник, мол, вместо того, чтобы злиться на Шадрунова, так как памятник тот не заслужил, Коняев по доброте своей православной о нем написал хвалебную статью. Коля, я о тебе говорю только хорошее, пашу (и в Паше тоже) на твой позитивный имидж. Ура!».

– Спасибо, спасибо.

– Тебе сейчас куда? Мы-то через час снова в Пашу поедем, так что до Питера, к сожалению, не довезем.

– Было бы неплохо, если бы меня подкинули до редакции «Русская провинция», это на первом Волхове.

Подшли к белой машине, я обратился к брату, который уже давно через меня знал Николая. Когда сели в мерседес, и он поехал, Гена спросил: «Михайлович, ты Троянский или просто Третий конь в Русской тройке?»

Коняев хмыкнул: «Просто великий литературный тяжеловоз, рабочая лошадка русской литературы».

Во время поездки я спросил: «Может, помнишь мою повесть «Языческая столица»? Давай, рванем сейчас в Старую Ладогу, первую русскую столицу, и установим там сызнова языческую власть? А, хочешь, к мэрии вернемся и покрываем?».

– Какие-то у тебя, Володя, шутки несмешные.

Я хмыкнул и замолчал. Вскоре проехали мимо желтого довоенного дома с колоннами, похожего на радиатор или на гигантский обогреватель, утепляющий улицу сталинской заботой о народе. Двигаясь уже по набережному проспекту, конечно же, пристально смотрели на Волховскую ГЭС. Поток речной воды, плавно и широко спускающийся с плотины, напоминал полотенце на руке дореволюционного официанта. Народ, город, плотина подавали электричество как наипервейшее и наиценнейшее блюдо.

Я снова стал приставать к прозаику с вопросами: «Ну как тебе московское шествие 12 июня в Москве?».

– Знаешь же, как я отношусь к суете мирской...

– Эх, Коля, Коля... Опять затыкают России рот. Вот мы сейчас в Паше акцию против запрета на шествия, против ограничений критики в адрес властей проводим. Хочешь, поедем? Ничего за день с твоим богом, с твоей религией не произойдет. Геннадий, ты, надеюсь, не против, если Коля у нас немного погостит?

– Всегда «за». Коняев же ходячая, бродячая энциклопедия.

Писатель кисло улыбнулся: «Да, я бродяга и старый волк приладожских дорог и озерных онежских вод... Может, потом? Вот скоро надо вновь в Якутию ехать, потом в Арзамас и так далее».

Попрощались по-дружески близ редакции «Русская провинция», и мы с Геней поехали дальше, вернее, обратно во второй Волхов, в опустевшую квартиру недавно умершей матери.

7

В одиннадцать утра Китыч, как штык, прибыл со своей политически заостренной гармошкой к «Пятерочке». Бросилось в глаза, что компашка крикунов от ежедневных распевок и распивок продолжила морально разлагаться, и поэтому для наведения порядка и производственной дисциплины можно было явиться со штыком или с полицейским демократизатором, достав его из-под синюшной кровати, куда он закатился, как длинный и коричневый член негра. Гонять крикунов было за что. Всю эту братию вместе с тремя девахами Китыч безоговорочно отнес к разряду «экстремалов», от слова «трёп». Некоторых криминальных пацанов мог запросто назвать братьями Кримм. Парни и между собой ругались, как собаки, «гав-гав», как будто из «гавна» сделаны. У одной из девиц опустился красный чулок на толстой ноге, словно ртуть в термометре, тем не менее температура момента резко подскочила. В своем большинстве «кряки» являлись фанатами драки. У одного из них – Фирсова Лёни – синяки и ссадины были похожи на

коричневые сургучные пломбы. Он, наверное, считал, что если его мордаха находится под пломбами, то его больше нельзя трогать, бить. Зря он так предполагал, поскольку вскоре опять капитально получил по крякалу. Сам Китыч произнес слово «кулак» как «кулик». Но и каждый кулак-кулик мозговое болото своего хозяина хвалит. У малолетнего Вилкова, проходящего по кличке «Вилли», на лице имелась татуировка «вилы». У пожилого Рощина желтеющая лысина походила на седло, на которое норовили сесть и комары пьяные, и голуби «сранные».

Вскоре подъехал «мерс» Дональда. Из него повывлезали парни в белом, словно перья из подушки, и в этот раз вели себя не как души. Последовали резкие команды. Пьяненькие крякуны мигом протрезвели, засуетились, столпились...

Дональд повез Китыча в Доможирово. очередного именитого россиянина с украинской фамилией дачника Плющенко в селе вновь не оказалось. Может, уехал в Донбасс воевать за «укропов». Кстати губернаторы Питера и области – это люди с фамилиями, имеющими украинские и коммерческие окончания «К и о» – Полтавченко, Дрозденко. Сдержанный Дональд в этот раз матюжно разругался, так как не получалось фигурно раскрутить на деньги ледового каталу Женечку. Казалось, что сам Дональд (на льду) так и рвался на лед, хотя июнь опять выдался нежарким. Ему захотелось рвануть в Лодейное (Лёдейное) Поле, чтобы там под аккомпанемент Китыча поактивнее покрякали. Пришел к выводу, что для необходимого успеха надо в каждом селе нанять на время акции, а ее Дональд называл бессрочной, местного гармониста-баяниста.

– Василий, напomini какую-нибудь песню про гармониста.

Первое, что вспомнил красноглазый ветеран и фанат гармошки – это «одинокая бродит гармонь». Новомодному Дональду не понравилось, и он заявил:

– Нам не нужна грустная и одинокая, это отрыв от масс. Требуется песня как «Наш паровоз вперед лети... в руках у нас винтовка!».

И тут до большеголового Китыча дошло, ведь Дональд проговорился. Старый мент прикинул про себя: «Точно! Хотят начать с крякания, потом русский Майдан организуют. Путина и Медведева скинут. Ишь, в руках у них винтовка. Им паровоз, локомотив истории подавай, паровую машину Революции!».

Вот он провокационно и спросил продюсера: «А что ты, молодой человек, все как-то на лед вырливаешь, на Плющенко, на Лодейное поле? А не хочешь что-нибудь погорячее? Например, деревни Пожарка, Огнёвка».

– Просто я работаю на территории, которая мне поручена. Не надо мне всяких потных Потанино, Извозов-Навозов. Лучше спой о лагерях.

– Про эков песен не знаю, а вот про оперов, пожалуйста...

Пусть не по правилам игра,
и если завтра будет круче, чем вчера,
прорвемся, опера!

Вскоре остановились у поворота на желто-песочную лесную дорогу, где увидели сидящих за низким столом, сколоченным из чего попало, двух мужиков. Они склонились над разноцветными бугылками и стаканами, как над шахматами. За их уши, как прямые макароны, были вставлены сигареты. У одного из алкашей пятно на лысине напоминало дерьмо на перевернутом кверху низом ночном белом горшке. Дональд пробовал агитировать встречающих – напрасно.

Приехали в Доможирово, остановились у темно-коричневого магазина, находящегося близ перекрестка. Только распелись и раскрякались, кто и в раскоряку, как из огромной фиолетовой фуры выскочил гигантский шофер с монтировкой и матом: «Гады, что вытворяете... Сегодня же в Карелии большой траур, прошел год с гибели школьников на Сям-озере... Закругляйтесь! Расход, сказал!».

Действительно, год назад, 18 июня, около пятнадцати детей утонули в шторм, опрокидывавший лодки, как стопари водки. Китыч с жалости сжал меха. Между тем сдержанно похвалил себя, что заблаговременно взял у командира очередную «тысячную».

А Даня-устроитель недовольно кривил лицо: «Ничего не поделаешь. Нельзя против ветра и народа играть. Траур есть траур. Святое дело...».

– Сматываем удочки, смывайтесь, уточки. Завтра подольше поиграю. Но только завтра – понедельник, – заключил гармонист.

– Все равно будем выступать. Только после рабочего дня, с 17 часов начнем. Понял?

Вернулись в Пашу-Рашу. Конечно, появление Дональда встретили усиленным кряканьем, как же, надо ведь перед начальником показать свою старательность, но тут же громко заохали, когда Даня объявил, что из-за траура в Карелии придется прерваться до завтра.

Придя домой, Китыч попросил у соседки Марии в аренду уточку на завтрашний вечер. Все же работала у него голова, как у кита, из нее фонтанировало, фон тонировало. Пусть уточка у «Пятерочки» покрякает, тем более с Дональдом договорился, что тот заплатит, если для естественности принесет кряку. Но не смог спрогнозировать, что тетка Света, зная про все на свете, собиралась пригнать к месту акции к семнадцати часам целую стаю уток и гусей и тоже не забесплатно.

Соседку Людку в тот вечер в гости (к своему гусю) так и не дождался. Пришлось этого гуся не в кипиш вздрючить, так бывший мент выразился поблатному. Объемную подружку называл белой пристанью, а себя неугомонным однотрубным пароходом, которому хотелось пристать да поплотнее к этой пристани. На темно-синем небе широкая полоса горизонта была похожа на красные трусы. Из них через какое-то время должен был показаться продолговатый месяц и устремиться к самой да яркой дояркиной звезде. Когда Василий-гармонист лег в кровать, то, засыпая, пробормотал: «Летят гусь и две утки... Ох, не дожидаться мне сладкой Людки».

Чтоб признала новая эпоха,
Лирики в предатели идут.
Сдашься – заработаешь местечко,
Станешь местечковым,
твою мать.
Вышел с папироской на крылечко
И колечки дыма стал пускать.

А колечки, будто бы колеса
Детских поездов, мини-машин...
Предал русский стих Собакин
Леша!
Предал деревеньку сукин сын!

Да, разругались русские поэты. И таким раскольником, ловцом буржуазной удачи, автором возможных публикаций в будущем – стал этакий собира- тельный, коллективный поэт-изменник под условным названием Леша Собакин. Это вовсе не Леша Ахматов, который отродясь не писал крестьянских стихов. Это такой общий марамою, халдей, жидовская подстилка. Ведь когда надо было помочь мне, он, эта подстилка, этот коврик, лег под Ермакова, стал его адвокатом. Служебная лайка – это и есть Собакин. Являлся вроде нашим, патриотическим лириком. Любит он похвалить пастернаковцев, не считая их за своих гонителей и гнобителей. С ухмылкой относится к прогнозу, что мы в любом случае попадем под траву забвения, а противники имеют сертификат на бессмертие. Бесполезно гнущься, расшаркиваться перед ними, все равно за своего не признают.

По какой-то причине я отвлекся от размышлений о литературной среде и принялся вяло рассматривать обстановку комнаты. Не включенный телевизор напоминал прямоугольный, почти квадратный кусок заезженного асфальта, а рядом стояло красное древко, но без знамени, – похожее на лом, которым можно было взломать этот асфальт или попросту включить телящик. Детский велосипед со странным названием «Азия» напоминал желтое и среднее по размерам н-азе-комое (образ притянут за крылья или за руль). На белой скатерти соседнего стола валялись ниточные катоны и наперстки, словно сброшенные в снег с вертолетов бочки с горючим. Где-то поблизости должен был находиться (в случае с нитками – ошиваться) настольный мини-снегоход. Вскоре громко, как трактор, надо знать его характер, в комнату «въехал» рассерженный брат и обиженно заворчал:

– Запарился я... Никто не помогает. Можешь ли хоть малость пополють?

– Эх, Гена!.. Только не смотри на меня как на предателя. Вы все думаете, что если человек ходит, то он здоров. Нет, за так просто в наше время вторую группу инвалидности не дают. Да если согнусь, сразу дыхание перехватывает. Сколько раз для всех вас повторять надо. И воду таскать в ведрах мне теперь не по силам. А носить ее в трехлитровом бидончике – это маразм.

– Ладно, просто мои возрастные дети игнорируют папу. Дачу строил для них, а она никому кроме меня не нужна.

Геннадий, пытаясь, ушел, а я продолжал размышлять: «Так же и в литературе, никто не бросился помогать мне. Председатель Орел – да, сразу вступился, но у него другой статус, он – мерило, мирило, а другие русские поэты пребывали в ролях безмолвных свидетелей, статистов. По сути дела – не одному Собакину, – а в сторону всех стихотворцев, всей секции поэзии я должен был крикнуть «Презираю!», но воздержался от такого крайне

яростного определения. Все писатели в какой-то степени являлись оборотнями, которые могли всё и всех сдать, и сам СП в том числе.

Это все вранье, что русские русских не бросают. Еще как бросают, сам не раз так малодушно поступал. Зато как по-русски отметились в том конфликте психологические типы «раб» и «хозяин». Раб молчит, как рыба, а новоиспеченный «козляин» антологии, свеженький редактор спешит показать свое мурло, свою власть и сразу кого-нибудь покарать, отстранить, уничтожить. А потом и хозяин, и все вокруг включают «дурака» и разводят руками, мол, утопающий сам утоп, не среагировав на «стоп».

Молчуны дальновидны, они всегда страхуются. Когда я попробовал оценить поведение моих дружков-приятелей в той или иной ситуации, вдруг осознал, что они все, кроме меня, куда-то и к кому-то пристроены, кто к Ирэне, кто к Скворцову, кто к Сергеевой. Только я в тяжелый момент оказался один...

Вру, после операции, хотя и значусь язычником, я находился в привилегированном положении у православного поэта, у нашего председателя Орлова. Он сам является онкобольным и знает, что такое заболевание никогда не проходит окончательно, а давит, мутит сознание и образует много побочных эффектов. Вообще же начальник приближал к себе в основном поэтов-трудоголиков, общественников, активистов. Но такие поэты-груженники чаще всего являются людьми бесталанными, малообразованными и попросту глупыми. Самое вредное в их деятельности то, что некоторые из них не просто пытаются, а упрямо проводят свою писательскую линию и, как бы это громко не звучало, литературную политику. А это уже откровенный дебилизм. Особенно выделялась среди таких честолюбцев, редакторов и руководителей семинаров – Грибова Вера – козырная, верченно-переверченная тетка, шизофреничка, городская сумасшедшая, отъявленная шабесгойка, шабаш-гайка недокрученная или перекрученная...

Все же решил прервать размышления и не делать на листе пометки, снова бросил заготовки в папку и направился помогать брату. Хотел было попробовать полоть в теплице, но задохнулся. Могу собирать красные и черные ягоды с зеленых кустов, не они еще не выросли. Оставалось, как всегда, помочь на кухне, почистить картошку, сварить или поджарить что-нибудь простенькое.

Объяснился с Геной и снова направился в дом. Включил телевизор, по которому в то утро показывали революционный фильм. В моей голове, правда, без треска (ведь это не кинопроектор) начали продвигаться как киношные, так и пулеметные расстрельные ленты. Через десять минут пошел на кухню, где газовая плита напоминает трибуну, и стоя рядом с ней можно толкать пламенные кухонные речи. Потом взорвалась мина минералки – это с громким хлопаньем я открыл голубоватую бутылку «Боржоми». Вдруг вне дома раздался знакомый и мощный гул и стрекот. Я посмотрел в окно и увидел в промежутке между деревьями, что над селом кружится зеленый вертолет, похожий на толкушку. Чтобы толочь нас, вталкивать что-то в нас, чтобы был толк? А, может, просто расплющить и размазать? Тогда пусть с таким вертолетом разберется какой-либо вертопрах.

Быть благоразумным надоедает. Иногда хочется что-нибудь замутить. А Гена, например, пожелал, чтобы я в одну из бочек наложил навоза, залил водой, размешал и полил этим золотистым раствором яблони. Чтобы подкормил, так сказать. Но я сам ничего с утра не ел. Поэтому в голове поэта стали возникать образы, связанные с едой. Например, я отметил, что навозная куча, прикрытая коричневой полиэтиленовой пленкой, которую закрепили, чтобы не сдувал ветер, несколькими круглыми камнями, похожа на жареную утку или гусыню, обложенных запеченными яблоками, тыфу. Так же отметил, что давным-давно брат Геннадий женился на Любви Гусевой, а не Уткиной... Голод не тетка, поэтому я пошел из дома к грядкам за луком и укропом. Проходя между яблонь, влип в паутину, словно в черное и ажурное женское белье. Да, в – «пау», как в паву или как в Паулину, в которую втюхался не я, а далеко не нюхлый Федор Бондарчук. Вспомнились так же слова «фрау» и «фау-патрон», который забавно было бы использовать в борьбе с паутиной (утиной) в красивом и ухоженном приусадебном саду.

На крыльце стояли синие резиновые сапоги с крыльями вонючих портянок, а так же мои зелено-черные, как у Димона, кроссовки с крылышками черных носков. Хотелось скорее поесть и куда-нибудь улететь, хоть на кладбище с его вороньим карканьем, хоть к «Пятерочке», поближе к кряканию. Но было еще рано.

9

Итак, в воскресенье 18 июня без официального указания в пашско-ладожской глубинке начался траур по погибшим в карельском озере. Следующий день значился тоже как день тяжелый – понедельник. Через двое суток – вновь скорбный день, 22 июня. Какой тут на хрен комедийно-медийный фольклор.

Все же в понедельник к запланированным семнадцати часам Китыч пришел к «Пятерочке». Живую утку у соседки так и не взял, эмалированную тоже, но в этот раз вместе с гармонью прихватил легкую и крепенькую коричневую табуретку, чтобы играть сидя, а не стоя. И эта табуретка не была ему в тягость, по дороге сел на нее, чтобы покурить или сыграть частушку. Или же мог просто постоять на ней, как скульптура на пьедестале. И когда все же поднялся на нее, дух захватило от того, что с высоты посмотрел на темно-желтую дорогу. Очень даже понравилось. Пройдет сто метров – встанет, еще проковыляет сто – поднимется. Славная процедура-дура.

Когда встретился у красного магазина с Владимиром, первым делом высказался по поводу черного 22 июня: «В той войне с Гитлером столько народу полегло, а нас, русских, посмотри по телевизору, кому не лень фашистами называют. До слез обидно».

Владимир после тяжелого вздоха в знак солидарности похлопал приятеля по плечу: «Это наглость, крайнее бесстыдство, мерзость, за которые надо сажать минимум на пять лет».

Наступила словесная пауза, как минута молчания. Ее прервал Китыч: «Все же эта утиная акция с календарем в контре. 18 – день траура, 22 – день траура, вдруг и в промежуточные три дня – 19, 20, 21 – какие-то скорбные дни

имеются, и опять наши выступления внезапно прервутся? Не охота деньги терять. Хотя бы недельку аккордно повкальвать, аккордно поиграть, срубить «капусты», а потом хоть горюй, хоть радуйся. Ты, Владимир, человек грамотный, вспомни, есть ли в эти дни что либо трагическое?

Китыч погрузился в печаль, а большинство крякунов – в придурь. Кто-то в округлую лужу, образовавшуюся возле универсама, бросил синюю крышку от пластмассовой селечочной бочки, словно грампластинку на проигрыватель. Несколько человек, в том числе две девицы, видимо, услыша рокенрольную музыку, сняв обувь и закатав джинсы, стали лихо отплясывать на других лужах-проигрывателях или просто в лужах. Гожев Андруха так вообще «жёл», как движок.

Пришло время появиться Дональду с мегафоном, чтобы призвать к дисциплине. Мегафон похож на гигантский бутон или на батон, чтобы закрыть... чтобы забить в слишком уж болтливый рот. Для пляшущих в лужах можно было вызвать ОСВОД или ВДВ. Только их здесь не хватало. У какого-то не плясуна, а трясуна-старика при переходе площади со штатской гимнастерки упала медаль, и он, низко наклонясь, долго искал ее и все же извлек из черной лужи, как золотую рыбку. У его приятеля или собутыльника на пиджаке были прикреплены старые наградные планки, напоминавшие железнодорожные шпалы. Не оказалось только красно-зеленого знака, символизирующего собой паровоз или тепловоз. Но живой, настоящий локомотив подал знак о себе гудком, когда проходил мимо станции Паша, находящейся в километре от «Пятерочки».

На вопрос Китыча о том, имеются ли в календаре в конце июня еще скорбные дни, Владимир только плечами пожал: «Не знаю, хотя мой питерский знакомый довольно детально расписал 12-летний животный цикл с 2001 по 2012 год. Я лично не помню. Это надо к Коняеву обращаться. Он постоянно за большие деньги хронографы составляет и публикует. Кстати, звал я его в Пашу, но он не поехал. И как нам здесь без него? Эх, надо бы в компьютер заглянуть. Позвоню-ка сыну в Питер».

Через десять минут пунктуальный Вячеслав сообщил прямо из офиса: «19 июня 1996 года при выходе из здания правительства России задержаны шоу-мэн Лисовский и помощник Чубайса с коробкой из-под ксерокса, в которой находилось полмиллиона долларов. 20 июня – надо же, опять катастрофа и опять в Карелии, в 2011 году в этот день под Петрозаводском разбился самолет ТУ-134, погибли 50 человек. 21 июня – в 2004 году банда Шамиля Басаева совершила нападение на Ингушетию. В этот день родились Золотухин, Собянин, а на следующий день мой братец Зезожа. Не очень радостный день».

Китыч с горечью смотрел куда-то вдаль: «Сплошная русская скорбь, хоть гармонь с горя пропивай. Нет, мне сказано играть, и я стану это делать. У меня сезон. Хочу заработать и заказать памятник на могилу жены».

Тут внезапно оживился Владимир: «О, напомнил. Скажи, а что у вас здесь, в Паше, с памятником Кирову происходит? Говорят, что на заре капиталистической перестройки желали снести памятник этому выдающемуся марксисту-сталинисту».

– Ну, да... Памятник оставили, хотя собирались его переделать в памятник Державину, у которого была дача поблизости, в Званке, в нынешнем Волхове. А у Кирова здесь госдача имелась.

– Но у них не было на дачах шикарных домиков для уток, – язвительно дополнил Владимир. – А как это переделать памятник?

– Очень просто, нацепить на Кирова державинский парик, и готово. Так при помощи черных кудрявых париков несколько памятников революционерам переделали в пушкинские. Ну а здесь фигуру не тронули, только подписи меняли – «памятник Херову», памятник крейсеру «Киров», ну это тому кораблю, который был во время войны лидером Балтийского флота, флагманом, и возглавлял караван советских военных кораблей, шедших из Талинна в Кронштадт.

– Знаю, помню, что при его закладке в 1934 году присутствовал командующий морскими силами РККА Орлов.

– Знающий ты однако...

Глаза у Владимира горели, очки сверкали, язык готов был выдать сенсационное: «Одно дело знать, а другое придумывать. Если же только менять таблички на постаменте, надписи, то я бы теперь переименовал ваш памятник Кирову – в «Киров-лес», в шутку, конечно, якобы в честь главного крикальщика России Навального, славного обличителя Димона-уточника».

Китыч утвердительно закачал головой: «Понятно, что в шутку. И я в шутку здесь играю. Но такая шутка по велению желудка. И наш шеф, начальник, продюсер Даня-Дональд на этом деньги делает».

Владимир хмыкнул: «Ах, этот массивик-затейник, масс-зат, Моссад – израильская разведка. По совместительству Даня – подсадная утка. Ут-плут».

– Ага, очередная провокация против русских...

– Да, да, и еще с участием русских. Но хотя бы так, но надо протестовать. Хватит молчать... Все же такие – вроде бы либеральные акции – перерастут в патриотические, в чисто народные выступления. Так же и пошлое крикание может превратиться в прекрасный протестный гимн. Опять все на простых людей свалят. Чтобы не путаться, все вали на буржуйский Кремль, это он своими указами на самом деле всё разжигает: и классовую, и национальную, и религиозную рознь и ненависть.

Далее прозвучали слова, которыми Китыч прежде всего успокаивал себя: «Нам, старикам, нечего бояться, нас-то не тронут. Мол, от нечего делать крикаем, ну, ты хоть не крикаешь и деньги не берешь, а в сторонке отсиживаешься... Мол, в детство впадаем».

– Нет, эта акция меня все же вдохновляет, заводит. Поэтому всякое и придумываю, Например, надо выращивать в Паше-селе и в одноименной реке не только уток-крякуш, но и «кря-кодилов». Или в рамках этой манифестации провести международный турнир по футболу и по ут-болу в лапах. Круто?

Китыч кисло улыбнулся: «Только позволь мне, бывшему менту, украсть кое-что реально выполнимое из твоих идей. Предложу их Дональду, вдруг заплатит. А денежки поделим или пропьем».

– Знаешь, что не пью.

10

Памятуя о событиях, произошедших под Петрозаводском 20 июня, я решил объявить для себя этот день днем траура по погибшим в авиакатастрофе и в литературной борьбе. Ведь состояние подлинно деревенской поэзии в нашем СП предвещает гибельное. Корневую систему народной литературы подрубают городские мужики острыми бумажными топорами. Оказывается, что про село пишут только великовозрастные поэты, старики и старухи. Всех молодых русаков-рысаков загнали в интеллектуальные стойла пить нерусское пойло. Ни распиаренная мастерская Шестакова, ни поэтическая студия «Молодого Петербурга» при СП не дали путевку в большое творчество, в Союз Писателей ни одному молодому деревенщику, только Морозов что-то делал в этом направлении. Вроде все логично, разорили село, а, значит, сгубили сельскую лирику, но законы искусства нельзя отождествлять с законами действительности.

Сделав такой пессимистический и даже скорбный заход, я направился на близкую речку. Мимо меня прошла некрасивая девчонка школьного возраста, явно попадающая под определение «гадкий утенок». Но тут же успокоился за будущее «отталкивающей» (водовыталкивающей) купальщицы. История знает миллионы случаев, когда из гадких утенок-утят вырастали красавицы и красавцы. Или как в деловых brutальных мужиков превращались дохлые мальчишки. Возможно, и Россия времен этой полупьяной акции с дебильным криканием когда-нибудь преобразуется в подлинную красавицу.

Впрочем, криканье начало надоедать, и чем-то свежим потянуло с береговой лужайки, на которой вдруг громко заблеяли баран и две овечки, которых туда только что пригнала тощая тетка в красно-синем сарафане. Их звукоизвержение лишь на полминуты прервало мои размышления о поэтическом лидере «Молодого Петербурга» Алексее Ахматове, при этом активизировав мозг, который вспомнил стихотворение «Год овечьего кода» в сокращенном виде:

У меня во всем теперь осечки,
Выперли из «Рая», дали под...
Приземлюсь туда я, где овечки,
Видно же, имеют общий код.
Залижу после паденья раны,
Посмотрю на клонные войска:
«Есть Ворота Божьи. Есть Бараны,
Злющие, как хоккеисты СКА, –
Значит, будут новые тараны?»,
Но и так расколота башка.
Обломался я на агрессивном:
На медведях, змеях сельских нор.
Может быть, в овечьем и пассивном
Затаился надобный отпор?!

Пусть не астронавт, но знаю Навь я,
А пометит бе-е-леньких не наш
Зоотехник в плащике, слюнявя
Красный туповатый карандаш.

Может, Алексей Ахматов и есть этот зоотехник или овцевод, который умеет управлять целым «стадом» молодых поэтов! Действительно, пастух! Пастырь? Да на любые новые или старые ворота он их может повести, на любой таран! Только вот, чтобы на любой – не надо! Имеется среди его подопечных этакая Влада Баронец, которая так и рвется героически и «проатлантически» атаковать хрупкие русские березки и такие национальные ценности, как «родная земля, русский дух и т. п.», которые (как она выражается в своей отвязной заметке с пренебрежительным названием «Что такое Старикан и что такое Люлин?») якобы нагромождены друг на друга, словно бутафорные конструкции. Ага, русские березы и русская земля – это какие-то аппликации, бумажные макеты, но что тогда подлинное, настоящее, – не петербургские ли и европейские камни и клоаки? А вот то, что Баронец является не настоящей русской поэтессой, а поддельной и безусловно бутафорной, которую надо называть злопахательной фурией русофобии и которой не место в СП России – это точно. Слушайте, какие она позволяет себе изысканные враждебные перлы: «Старикан опять уходит в штампы, в общие фразы о любви к русскому (с тремя р)». А на самом деле подразумевается – с тремя «с»... Или высокомерный вывод, полный интеллигентского разочарования: «И рефреном проходящая строка *«мы русские с тобой, а это значит»* делала весь текст печально предсказуемым». А не является ли такая пренебрежительно-презренная трактовка Баронец рефрена «мы русские» предметом специального разбирательства? Вот и надо чтобы Ахматов как наставник и литературный руководитель (пастух, пастор) с ней разобрался, поговорил с молодой заблудшей поэтессой в так (возможно, притворно) почитаемом им Сталинском духе. Как-то совсем запущена работа о продвижении подлинно русской деревенской поэзии и выявлении талантливых лириков-традиционалистов среди литературной молодежи... Да и в самом СПР крестьянские поэты не в большой чести. Вот и на недавней конференции молодых писателей Северо-Запада, проводимой под эгидой СПР, руководителями творческих семинаров были как специально назначены представители так называемой городской поэзии. На одном из семинаров верховодил сам Ахматов. А в другом троицу руководителей я обозвал «китаезами», поскольку из начальных букв их фамилий (Краснов, Попов, Комаров) образовывалась КПК – то есть Коммунистическая партия Китая номер 3, – находящаяся в политическом изгнании в Петербурге, где эти китаезы-ревизионисты проводят деятельность, идущую вразрез с линией Маркса-Ленина-Мао и вдобавок ко всему из-за своего городского гонора «наносит урон русской деревенской поэзии». А в третьем семинаре, отказавшись от услуг настоящего патристического поэта-наставника Владимира Морозова, лихо заруливала И. Сергеева со своими личными секретарями Н. Наливайко и слугой трех господ (Кравченко, Краснова,

Сергеевой), ну, еще совсем юной и не целованной по литературно-учетным меркам Н. Апрельской. Позднее всех этих голосистых городских певунов Ирэна Андреевна любовно разместила на красочной афишке «Весенние голоса», как соловьев, на генеалогическом, опять-таки городском древе, только что скворечника с русофобом Вовой СКВорцовым не хватало...

...Вдруг вблизи меня упал коричневый камень. Я, конечно, сматюгнулся и помахал кулаком в сторону прибрежных ягодных кустов. Будь здоровым, бросился бы туда, но не мог ускоряться при одном легком. Меня, беззащитного, день мог запросто превратить в прибрежного лягушонка и растоптать. Я посмотрел вниз, но в этот раз увидел не квачика, а полуметровый желто-белый железнодорожный состав, поезд, составленный из окурков. Конечно, мог его разнести одним движением ноги, но от размашистого пинка отказался. Потом, подняв глаза, устремил взор на разноцветные дома, стоящие на противоположном берегу и имеющие на своих головах-крышах округлые телеантенны, похожие на восточные цветные тубетейки. Не станут ли вскоре эти дома азиатскими, не займут ли их понаехавшие в Пашу-Рашу гастербайтеры? Гниение начинается с крыш, с голов, и, может быть, даже с церковных золотистых главок.

Впрочем, до осенних желтизны и увядания было еще далеко.

Тут же на травосочный пологий бережок еще одна бабка-пастушка выгнала овечку, похожую на белую узкую печку, поскольку та вроде как без явных причин, отвергая изумрудную травку, к моему изумлению вцепилась зубами, слово зубцами огня то ли в березовый дрын, то ли в длинное полено. К чему такое видение? Не олицетворяет ли оно неким образом разжигание этнической вражды?

Тут же, стоя почти у самой воды, я оптимистически, но с известной долей иронии подумал, что можно было бы собрать в одном месте белесые речные плоты, с которых женщины полощут разноцветное белье, и на этой общей непотопляемой сцене, широких подмостках с участием Нины Заречной поставить самую новейшую, трехсотую по численности версию «Чайки», назвав ее в этот раз «Утка».

Вскоре снова стал размышлять о деревенской поэзии. Почему-то опять первым делом вспомнился Коняев. Нет бы другой высокоталантливый прозаик – Вячеслав Овсянников, с которым недавно познакомился. Оба вроде бы серьезные, приветливые люди, но ведь обоих обстоятельства загнали, можно сказать, в одно стойло, и поди догадайся, спрогнозируй, кто кого сожрет, то ли Конь – Овёс, то ли Овёс Коня? Так вот, у Коняева, пусть не 22 июня, а 23 февраля проходила презентация новой книги в Лавке писателя на Невском проспекте. Нет, он не прославлял в тот день, скажем, израильскую армию, но подарил мне большую по формату книгу «90-е, лихие и святые», в которой в одном из эпизодов восхищался не русским поэтом, а поэтом-полукровкой, занимающимся откровенным плагиатом. Такова русская черта, не разобравшись толком, восхвалять чужаков, а не своих. Понятно, что и Коняева тоже кто-то игнорирует, задвигает, но зачем ему-то становиться заложником этого не нового, а векового поветрия?

«Русские топят русских»» – это свидетельство мною было словесно заверено на берегу.

А будто подводник Орлов никого не топил? Недавно я пробурчал ему: «Заговор против меня – это заговор против тебя, против всего русского СП, против всей русской поэзии. Это фашизм, дискриминация по национальному признаку. Борис, я всегда был твоим единомышленником, хотя и язычник, имеем общих врагов, недоброжелателей. Они...».

Не очень-то наш председатель хотел распространяться на такую неудобную тему. Что-нибудь произнесет в ответ и дальше идет, мол, занят. Да и на самом деле тяжело ему было быть за нас всех в ответе.

Через несколько минут здесь появилась странная, незнакомая мне любовная парочка, барон и ярочка. Плаксивый мужик-любовник в черном костюме при галстукке возле кромки воды пас полупьяную женщину, чтобы она, одетая в цветастое платье, не рухнула в реку. Почему-то вспомнилось слово «пас-квилянт», но оно скорее относилось не к жалкому мужчине, а к серебристому самолету, который, как бы «квиляя» своим алюминиевым хвостом, копался в белых тучах, словно в постельном белье.

Вскоре пришел домой. Продолжал размышлять про то же самое. Порой мне хотелось наброситься на мощного Орлова с вопросами, почему он назначает редакторами сомнительных людей? Появилось предположение, что Ермаков является разменной монетой между Орловым и руководством Комитета печати. Впрочем, и меня так же могли разменять, кто как не я – язычник должен был стать удобной и приемлемой для всех жертвой вяло текущих литературных сражений. Конечно, они не ожидали, что я, больной, начну так громко возмущаться. Тот же Ермаков наверняка считал, что с какой легкостью он не включил мои стихи в антологию, с такой же легкостью я соглашусь с его авторитетным решением. Но не тут-то было. Не «ут-то». Я протестующе закричал: кря-кря, зря-зря, гады, так сделали. Но и в свой адрес неоднократно адресовал «зря!». Ведь на самом деле в последнее время, защищая позиции Орлова, в пух и прах разругался с некоторыми заносчивыми поэтами, но председателю некогда было обращать внимание на эти громкие, но локальные конфликты.

Большой обидой являлось то, что меня самого, некогда сидевшего в тюрьме за нынешнюю свободу слова, гласность, лишили публикаций, перестали печатать и, может быть, надолго. А взять суд на Караванной, где рассматривали иск ко мне со стороны А. Романова? Я тогда защищал доброе имя Николая Рубцова (позднее и Коняева за это же таскали в суд), честь русской поэзии, но подошло время, и за Меньшикова практически никто кроме Орлова не «вписался». Да какое заступничество, если некоторые из наших псевдопатриотических писателей без всякого смущения печатались у Скворцова, Хохлева и Тихомирова, известных тем, что являлись адвокатами, защитниками Людмилы Дербиной – убийцы Рубцова. Это всё подтвердит и Коняев, столкнувшийся с такой же ситуацией равнодушная и даже предательства. Кстати, один маститый поэт высказал мне обиду, поскольку я

раскритиковал его за то, что он печатался у Скворцова. Я не выдержал и психанул: «Ты обижаешься? А это ничего, что защищая Рубцова, я под суд попал? Мне тогда даже антисемитскую статью хотели пришить. А ты с такой легкостью, с явным самолюбованием и якобы чистой совестью, бля..., печатаешься у русофобов.»

Теперь я оказался в отверженных, в непечатаемых. Можно сказать, попал под санкции. Напоминаю Россию, которую со всех сторон обложили ограничениями, запретами. Простите за гиперболу, за гротесковое сравнение, но я в какой-то степени Россия и в немалой степени повторяю судьбу Родины.

Впрочем, дела идут на поправку. Помаленьку пишу роман-шутку про Утку. Использую охотничье-прицельный принцип, что если не попаду в крику, то в озеро не промахнусь всяко. Не забываю про публикации... Морозов и Мальцева сказали, что взяли мои стихи в составляемые ими антологии. Возможно, и у Дорошенко (из Москвы) очко сработает (мяк-мяк), и редактор дрогнет.

11

Китыч снова повредил руку. Опять произошел сильный ушиб правой кисти, и он потерял трудю, – а как гармонист игроспособность. Словно утка, в селе должна была всплыть шутка, что бобыль Василий до такой степени гонял своего гуся, что рука не выдержала и хрустнула.

Действительно, какой из него музыкант с одной рукой. Какая утка с одним крылом, если второе подбито? Как пожилой человек, многократно получавший различные травмы, посчитал, что перелома нет, в медпункт обращаться не стал, далеко, а сходил к старухе-соседке, та чем-то помазала и перевязала распухшую кисть. Все же к полудню, взяв гармонь и перекинув ее длинный коричневый ремень через плечо, направился к пресловутой «Пятерочке». В этот раз табуретку оставил и от идеи прихватить с собой на «крякание» соседскую утку пришлось вновь отказаться.

Погода оставалась переменной, то дождь, то слабое солнце и умеренный ветер. Ныла рука, зато были целы ноги. Почему-то вспомнилось выражение «хромая утка», относящееся к людям, потерявшим уверенность, к бедолагам, банкротам. Провел по щеке загоревшей ладонью и понял, что не брит. В таком случае рекомендуется пройтись по лицу напильником или рашпилем. Вспомнил про пиво, и очень захотелось, чтобы пиво лизнуло его своим кислым желтым языком. Подумал о своей гармонии и почему-то о духовом оркестре, который играл у той же «Пятерочки» на 1 Мая. И гармонь иногда врет, а оркестру, умеющему нагнетать психоз, ничего не составляет надуть народные массы. В чем нельзя обвинить трубачей, так это в том, что они не появляются возле церквей, чтобы надуть или, наоборот, сдуть на землю их золотые купола.

Как осенью в лесу попадают грибы-рыжики, Китычу теперь начали встречаться местные дурачки и шизики. В начале появился маленький и

худенький паралитик Костик Ершиков, задирающий переднюю часть спортивных штанов прямо-таки до подбородка, и громко кричащий в сторону угрюмого Василия: «У кого гармонь порвата? У кого гармонь порвата?». Вот вам «вата» и «ватники».

Когда Китыч прошел еще метров сто, из синего придорожного дома выскочил пацан в алом свитере и черных шароварах, быстро подошел к гармонисту и стал ему тыкать в ногу ночным желтым горшком и, коверкая слова, говорить: «Дядя, возьми горсок». Говорил так невнятно, что произнесенное слово пришлось растолковывать по-своему, например, как горький сок в загаженном горшке. И правда, какой сладкий, если горшок из-под мочи. Только ни сок, ни горькое пенное пиво из такой посудинки Китыч не стал бы пить, ну если только в крайнем, – когда трещит башка, то можно из горшка.

Аккуратненко отстранил сердобольного пацаненка и пошел дальше. Думал: «Хотел заработать побольше, да сломался. Жадность мента (или фраера) сгубила. Не сыграть, не слетать, крыло подбито. Вот вам и песня «Летят утки и два гуся». Ведь сейчас появлюсь, и начнут зубоскалить, что дрючил гуся да повредился. Связался с этим кряканием, с этими утками. Куда мне теперь больному? В ути-ль-сырьё?».

Опять «ути». У Владимира понахватался. Но не только от очкарика, но и от П-утина. Да что значить, нахватался, просто сам принцип правления ВВП в стране подсказывал простому мужичку, что он в стране никто, отброс, утиль.

Китыч уже успел с новым приятелем затронуть тему путинского властвования. У обоих к президенту имелись большие претензии. Например, Владимир заявил, что у него главные расхождения с наипервейшим выявляются в трактовании национальной политики, в решениях по национальному вопросу. Так и говорил: «Завезли сюда с его позволения несметное количество гастербайтеров... Эта музыка будет вечной, если я заменю гастер-байтарейку... Именно Путин провозгласил о создании нового, русско-азиатско-кавказского этноса. А это по сути кровосмешение, от которого уродцы рождаются. Приезжие – всё, русские – ничто и никто. Бились, переживали за Крым, а он уже не «Крымнаш», а узбекский, откуда вернулись тысячи потомственных крымских татар, депортированных некогда в советскую Азию. Русских актеров и политиков не пускают на Украину, а хохляцкие политологи с разрешения интернационалиста Путина месяцами, даже годами ошиваются на бесконечных телешоу, получая большие русские деньги и говоря при этом любые гадости в адрес России и русского народа. Да на хрен нам такой президент, которого любой приезжий хохол может в прямом эфире на всю Россию послать уточек ловить! И ловит. По негласному приказу сверхгуманиста Путина солдаты ДНР и ЛНР почти не берут «укропов» в плен, почти сразу отпускают, сейчас таких плененных всего около тридцати человек, зато «потрохшенцы» или «потрахшенцы» в своих застенках удерживают длительное время порядка двух тысяч добровольцев,

приехавших из России воевать на стороне восставшего Донбасса. И так ВВП поступает с русскими всегда и везде. Даже на смену вам, кричающим тут, возле «Пятерочки», могут прибыть крик-хряк-хохлы – вахтовики. Янисколько не удивлюсь, поскольку теперь спектакли разыгрываются какие угодно. Одно стабильно и предсказуемо: помочь щедро другим (тем же сирийцам), а для своих денежная минималка на пенсии и на лечение тяжелых заболеваний, например, онкологических.

Так, вспоминая те или иные разговоры и события, Китыч шел дальше. Запыхался. Больше никакие шутники, ни пацаны, ни взрослые, не останавливали и не предлагали испить из ночного горшка или из больничной утки. Вскоре показалась «Уте-рочка» со своими двумя, тремя, но никак не пятью баллами покупательного спроса, ажиотажа. Потихоньку площадь стала заполняться крякунами. На другой ее стороне, напротив универсама, имелась узкая, но протяженная грядка-клумба, на которой росли и еще не опали красные тюльпаны-толпаны. Целая толпа с раскрытыми ртами-бутонами, но никто не слышит их криков и рева. Они немые, мы глухие. Прибывающие крякуны в этот день вели себя вяло. Одна девка предложила воткнуть мужикам в задние проходные отверстия по батарейке Energizer. А ей в ответ прозвучало: «От батарейки работают арийки и еврейки». Над черной трубой красно-коричневой котельной, находящейся за «Пятерочкой», нависло белое облако. Казалось, что если его, как презерватив, раскатать по трубе сверху до низа (в духе демократического централизма), то здесь начнется великое русское порево. Потом над головами крякунов стал летать букет-глобус, от вида которого кружилась голова. Одна девица, видимо, очень хотевшая выйти замуж, упала в обморок, другая прямо на площади обмо..

Китыч думал, кому сдать в аренду гармонь, кому дать – за деньги – на ней подыграть уже успешему поднадоесть утиному танцу. Не знал, кто на что способен, но предполагал, что всяко уж из двадцати прибывших человек кто-то сможет управиться с музыкальным инструментом. Главное было предстать перед глазами Дональда, показать свою заинтересованность в успешном проведении акции, даже находясь в травмированном состоянии. Темен день, ясен пень, что за пользование гармонью продюсер должен будет заплатить.

Вскоре появился и Владимир. Уже в ходе утреннего разговора по мобильнику Китыч узнал, что тайный создатель «Медвежьих песен» не владеет ни одним из музыкальных инструментов, поскольку архангельский медведь на ухо наступил. Встретились, обменялись репликами. Оказалось, по дороге к универсаму оба думали об Украине. А о чем же больше, Путин через теле-шоу приучил. На хрен Россия, если имеется Укропия или Угробия. И про внезапно ожившего и засветившегося в Израиле Вороненкова оба вспомнили. Владимир иронично хмыкнул: «Вороненков – это в чем-то Уточкин, Лавочкин. Такие пируэты над Россией выделявал, хотя версия о том, что ожил, возможно, утка».

Вскоре, хлопая руками-крыльями по боковым, значительно опустевшим карманам своего малинового пиджака, прилетел-приехал Дональд и в не траурный, пасмурный день – между сплошными траурными днями – сообщил трагическую и скорбную весть, что в Доможирово полиция конфисковала двухметровую ростовую игрушку Утку, а так же резиновую надувную проститутку, и что для острастки арестовали троих человек из кричающих.

– Наверное, в течение получаса полиция и здесь появится. Порежут, продырявят наших уточек-куколок. Могут и из вас кого-то повязать. Похоже, требуется сделать перерыв в нашей акции.

Раздалось несколько выкриков: «А деньги за сегодня? Ведь собрались, пришли!».

Дональд поднял руку: «Я авансы так просто не раздаю. Соберемся в следующий раз, поработаете, покрякаете, и отстегну... Впрочем, дам за старание тыщенку на сгущенку».

Китыч негромко сообщил Владимиру:

– Я пойду скорее отсюда, а то еще мою гармонь конфискуют или на месте порвут.

Владимир на прощание сказал: «Этот флешмоб – плешмоб. Быстро же крикание надоело, плешь проело. Открыкали туточки голосистые уточки».



III. ЛИКИ. ЛИЦА. ЛИЧИНЫ
(литературная и философская критика)

Владимир Меньшиков

Пути-тропинки
(о творчестве Н. Тропникова)



Александр Медведев

СИЛА ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

(Эрнст Неизвестный)



Владимир Меньшиков
Пути-тропинки
 (о творчестве Н. Тропникова)

Мне, наверное, не надо было писать критическую статью о большом русском писателе Николае Тропникове, но это уже свершившийся факт, статья «добита и обмыта». А о ком я еще должен был написать, если всё свое детство – до 12 лет – провел в тех таежных краях, где родился Николай, в том же лесном и картофельно-крапивном Вилегодском районе Архангельской области. Хочешь не хочешь, а написать, выполнить пусть не заказ, а долг (звучит еще высокопарнее) я был обязан. А что значит, «высокопарнее»? Это наверное, забраться туда, где выше пар, на полок и там хлестаться вениками-языками. Но разве мы врем, хлещемся, называя Тропникова прекрасным прозаиком? Вы только посмотрите, как он описывает округу, выходя в зимние снежные потемки из бани или из дома: «Оглушала тишина, никого не было, ничего не двигалось, но всё как будто копошилось. На задворье деревни в снегах, излучавших мутный свет, не допуская тьму до самой земли, блуждали пятнами стога сена и клочки кустов... От могущества и таинства ночи было радостно и страшновато, и чтобы подтвердить свое существование, захотелось пошевелиться. Скрип снега под валенками вернул уверенность и ощущение себя. В темном пухе ночи лишь дома смотрелись отчетливей, тверже. Через один, два в них светились окна. Поток света, не подпуская тьму, будто стоял с лопатой и отгребал ее от стен, как снег от крыльца...».

Я и сам помню эти зимние вечера и морозные заветерья под низким северным русским небом. Хватай с него хоть звезду Героя СССР, хоть звезду Литератора, например. А «глотануть» звездочку, заболеть звездной болезнью для честолюбивого молодого писателя из еловой глубинки – явление распространенное, хотя само название поселка, из которого Николай по тропке-дорожке уходил в большую жизнь, – Нарчук как бы содержало в себе предупреждающее «чур», мол, не очень-то выставляйся, задавайся... большими целями.

Я и самолично бывал в поселке Нарчук, от названия которого образовалась фамилия главного героя тропниковских исповедальных повествований – Нарчукянинов, а моя тетя Елена Дмитриевна учила его в нарчук.нач.школе, в которой ученики (слава ленинской Партии) сидели за партами, а не на нарах.

Помимо знания пусть не буквального тех лесоповальных и много-страдальных мест, я еще, но это уже в городе Волхове, занимался любительским хроникальным кино, был киношником, то есть нашивал банки с фильмами, показывал их, а позднее работал в местной газете. Так вот тот опыт, наверное, оказал плохую услугу при моем довольно тщательном и трепетном прочтении и осмыслении книг Н. Тропникова, в том числе и сборника «Последний набег». Читаешь, все вроде хорошо, правдиво и волнительно, высокий класс, прекрасные описания природы, просто-

народного быта – всё нормалёк, хоть ставь поздравительный бутылёк, всё как учили великие, Лев Толстой обзавидуется, – но почему-то возникало ощущение, что от вроде бы образцовых текстов все же отдает документальщиной и газетщиной. Может быть, потому что Николай писал не о луговой деревне, а о елово-лозунговом поселке, а между ними имеется некоторая картинная, в виде бараков, и даже статусная разница, вводящая в отраслево-промышленную сухость, режимную зажатость. И у меня ведь от житья в лесопункте или в леспромхозе просматривается в поведении и в творчестве такой тревожно-предупредительный «пунктик», некая сигнальная, нигде вроде не помеченная «черточка» дерзости и неблагонадежности.

Но почему все же, как из табакерки или из черного почтового ящика, плоского, как история советского северо-западного края, выскочило такое непочтенное определение как «газетщина»? Может, из-за того, что в рассказах Тропникова преобладает материал районного масштаба, а некоторые красивые описания да и небольшие произведения полностью просились в специально отведенные в малотиражных соцпериода рубрики «Заметки фенолога», «Охотничьи и рыбачьи истории», «Смешинки»?

«Районка» – это самое читаемое народное издание, она позволяет почувствовать себя молодому прозаику «первым парнем на деревне», а писать в нее и печататься в ней – это быть ближе к народу, быть в каждой избе, быть... в каждом сортире, нужнике, потому что именно туда чаще всего несут газеты после их прочтения. Такая провинциальная участь не только «районки», но и «Правды» и современного «Коммерсанта», новейшей брендово-бредовой «Комсомолки».

Но раскроешь в действительности «районку» – нет в ней никакого Николая Тропникова. Повторяю, в «районке» его нет, но в книгах Николая Тропникова эта «районка» присутствует пусть не в значительном, но в осязаемом виде. Потому что куда ему без «малой родины», без ее проблем, без новостей поселка, без его елок-палок, песка, дресвы? Это вам не травушка-муравушка... Но если нет Николая в «районке», в районе, то где он? Где наш дорогой Коля? И тут выясняется, что он, этот Николай Иванович Тропников, – человек-тайна, человек-мираж, человек-фантом. Многие его рассказы – это мистические послы, флюиды. Вспоминаются слова Рубцова «Я слишком призраки люблю». Именно таким призраком видится мне и, наверное, многим читателям автор в рассказах «Утро», «Уход от костра», «Дым», «Ночные деревья» да и во всех произведениях, где он выступает под псевдонимом Н. Как стал призраком его родной таежный поселок Нарчуг, так превратился в призрак и его великий, самый «кровный» и дорогой житель Нарчужанинов.

По ходу прочтения книги возникает впечатление, что повествователь перевоплощается – при полном исчезновении плоти – то в дождь, то в дым, то в снег, то в туман. Да и вокруг него все пребывает в призрачном, хотя и в реальном земном виде.

В надрывно-мистическом рассказе «Дым» герой, то есть сам Тропников, пересекая территорию старого монастыря, замечает струйку дыма, исходя-

щую из «глубины кладбища», запах которой напоминает ему запах детства! (плывущий с огородов, где сжигали ботву) и, глядя на которую, можно представить медлительный полет души в бескрайнее небо из узкой, задавленной песком могилы, из брэнного, стиснутого гробовыми досками тела. По этой извивающейся струйке дыма, как по ленте телетайпа, можно прочесть – снизу доверху – жизнь человека, а может, и целого поколения от рождения до смерти. Далее больше. Философу и правдоискателю мало одного поколения, поскольку привык он думать шире, глобальнее. При помощи умелых словесных манипуляций, буквально штришков дает читателю возможность увидеть всю историю развития, генезиса человечества. Он сам как бы превращается в призрак тысячелетий, в струйку дыма, вьется вокруг высокого тополя, витийствует, пробует разговаривать с ним, вековым. И если Николай стал на малый срок дымом, то вдруг мистическим, но и не таким уж странным образом материализовался его отец. Николай пишет: «Я опустил глаза вниз, к его основанию (тополя), надеясь по голосу питающих его соков угадать ответ. И опять ничего не расслышал и коснулся ладонью коры. Она была шершава и напоминала руку отца...». Но кора к тому же похожа на руку-лапу древнего ящера, на десницу пращура. Эвон, на какую глубину, прямо-таки к истокам зарождения рода человеческого копнул на кладбище писатель-мистик. Получилась, как в язычестве, в котором нет смерти, материализация отца, пращуров и всего рода человеческого. А это позитив, изощренный метафоризм и мощная философия примитивистско-провинциальной меты.

Философу и положено быть странником и поисковиком. Но наш прозаик никак не может или не хочет выйти на дорогу или на тропу любви (звучит угрожающе, как на тропу войны). Вроде во время написания «нарцотских рассказов» был молодым – писатель, комсомолец, красавец, (да еще дипломы об окончании физкультурного и философского факультетов), а о любви ничего. Сыновьи горячие чувства к отцу и матери «не в счет». Нет бы закрутил северный отпускной роман хоть с молодой, хоть с возрастной женщиной, а потом бы описал в рассказах. Надо было устроить не просто творческую, а любовно-творческую командировку, чтобы не однобоко отчитаться о поездке. А то я в его отчете не увидел ничего безотчетного, безумного, в них все по уму, по кодексу, ну как в «районке», и ни об одной горячей бабенке. Если даже ничего и не было сального, кроме как кормления в стайке жирного поросенка, надо было придумать, присочинить. Фантазии не хватило, хотя все так делают, чтобы удерживать читателя. Отсюда и сухость рассказов, за которую получал и оребает до сих пор грубые каменные баранки. Нет бы красно-мармеладовые баранки сахаристых женских губ... Ну, показал, что родителей любит, песика, хрюню... Но даже писательские признания в любви к Родине не залог читательской востребованности. А без бабы в отпуске или после баньки, это как свадьба без водки, то есть *насухую*. Простой народ такого не понимает. Хотя в рассказах – архангельская тридцатиградусная бело-инистая зима, но читателю подавай краснобокую клубнику.

Здесь у меня появилась редкая возможность столкнуть лбами двух Николаев-писателей, Тропникова и Коняева. Ведь чем хорош Коняев, – у него везде любовь, и не обязательно духовная, он и о чувственной не забывает, взять хотя бы его рассказы «Праздник парохода», «Такой ветер», «Любка – сахарные губки»... Но что их сопоставлять, просто поиграю фамилиями, и получится – конь на тропе или тропя на коне... хотя труп на коне, тоже не очень.

Судя по всему Николая Тропникова в молодые писательские годы сталкивали лбами – аж звезды обиды из глаз – со многими прозаиками при выяснении вопросов о методах творчества. Крутые, верно, были учителя, взять Евг. Кутузова, который учил почаще устраивать Бородино не только против отвязно-фривольной французской литературы, но и против советско-русской, грешившей казенщиной и (как ее?) социалистической партийностью. Наверное, после таких советов «в Филях» на улице Войнова Николай офицерским шагом – ать, два – возвращался в свои рассказы и незамедлительно начинал там вести боевые действия против хваленых и в то же время хаянных-перехаянных публицистики и документальщины. Вводил туда войска, писательскую военную технику, например, авторучки-ракеты, и старательно громил Армии под названием Злободневность, Сиюминутность и др. Затем в рассказы посылались многочисленные похоронные команды, выкапывались гигантские ямы. Военные оркестры громко и надсадно играли единый траурный марш, раздавался трехкратный прощальный залп из всех калибров, от револьверного до ракетного. Потом могильщики уезжали, но «ныльщики» оставались. Да еще задерживался я со своим стихотворением «Дороги в бессмертие»:

Серега пробирался к раю
 В футболке
 с номерочком семь...
 Когда дороги умирают,
 То их закапывают в землю?
 Вблизи ли, параллельно мертвой
 Ковшами выкопают ров.
 Столкнут.
 Лежать ей книзу мордой
 Под жуткий бульдозерный рев.
 Дороге не сколотят гроба,
 Не завернут масштабно в ткань.
 Прощание пройдет в особо
 Секретном виде, глухомань?
 Ни скромных гимнов, ни салюта,
 Ни с карабинами солдат.
 Все будет чинно, грозно, круто
 Под водку и негромкий маг...

Иль все ж приедут землекопы,
Чтоб забросать дорогу тьмой?
Поверх путей проходят тропы
В теплынь и снежную зимой.

Всех закопают и всё выровняют. Но свято место пусто не бывает. На образовавшихся пустошах, где были захоронены П. и З. (Публицистичность и Злободневность) да Сиюминутность по рекомендациям демилитаризованного Кутузова Николаю предлагалось возводить сады, летние и зимние, земные и небесные. Не потому ли снова симпатично зачалась на оптимистической волне популярности и заняла занебесные строки во всероссийском рейтинге космонавтская песня со словами «И на Марсе будут яблони цвести». А по сути на Марксе, Карле. Свалили в общую яму и зарыли его бюсты и публицистический Материализм, завалили землей и на этом же самом месте посадили яблони Идеализма и начали возводить церкви и храмы. То есть презренная документальщина в рассказах Тропникова заменялась на тех же площадках лирическими и природными описаниями, в которых Николай поднаторел и преуспел. Появились и мощные православные мотивы. Вот здесь-то Коняев с Тропниковым оказались солидарны, по этой-то линии они не столкнулись искристо лбами, а чокнулись «игристыми» стаканами.

Но блиц-крига или блиц-бздика не получилось. Советский, а потом перестроечный фон, общий политико-хозяйственный план, на котором писались произведения Николая Тропникова и многих прозаиков, являлся настолько казенно-статистическим, что никакие лирические описания не смогли перекрыть своей даже незаурядной художественностью публицистическую сущность неустроенной российской жизни. Даже теперь – к всеобщему мировому удивлению – капитализм при всех стараниях своих идеологических менеджеров и имиджмейкеров, даже при помощи западных стран и США не может вытравить, выжечь из гигантской России советское и тождественное ему русское содержание, наполнение.

Как ни старается Николай Тропников, как ни стараюсь я – поэт и прозаик Меньшиков – выдать лиричность, а все равно в рассказах чувствуется партком, клуб, бухгалтерия, будто кто-то на общем плане считает кубометры деловой древесины, показывает в сухих – они аж трещат – цифрах результаты лесоповала или молевого сплава. Потому-то по вилегодским деревьям и поселкам лесовозы с треском и гулом проезжают, а рассказы потрясают... но только иногда.

С ней, с этой пресловутой сухостью, Николаю Ивановичу, как и мне, в силу возраста бороться поздно, и живительной водицы в прозу надо было плеснуть или линуть пораньше. А тогда, работая над материалом, автор, видимо, переусердствовал и, выдавливая из текстов ту же самую публицистичность, выжал из рассказов излишнее количество художественного «сока». Чуть-чуть пережал, перестарался, но это видно, видно. Уж слишком, хотя далеко и не везде, все отточено, мастерски выверено, выказано. Это как выходя за канву провинциального описания, угодить в комфортную канаву мегаполиса ...

Я считаю, что не очень удачной затеей в конечном счете явилось продвижение Николая по тропке, а позже по дороге, похожей на гигантскую киноплёнку, в мир документального кино. Помните, у Ю. Д. Лебединского – «Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино». А Николай Иванович принимал непосредственное участие в создании таких фильмов, как «День поминания», «Тотьма», «Воспоминания о Соли Вычегодской» и др.

Не растягивая широко ни критическую резину, ни кинематографическую плёнку, все же заявлю, что рассказы и повести Н. Тропникова в своем построении чем-то напоминают документальное кино, хотя и самого высокого качества. При чтении тропниковских произведений я не то чтобы слышал стрекот камеры или кинопроектора, но создавалось впечатление, что передо мной движутся кадры не «великого немого», а «великого документального». Я увидел интересных людей, передо мной проплыли лирические и трагические картины сельской и городской жизни, эмоционально и художественно насыщенные панорамы и картины ближнего плана, равнинно-таежные и индустриальные пейзажи, я услышал профессионально поставленный голос за кадром, читающий прекрасно написанный текст. Всё умело и тщательно заснято, озвучено и, главное, пущено в широкий прокат, который, к сожалению, в действительности оказался узким. Снят – или описан – один эпизод, второй, третий, без затянутоостей, без соплей, без проходных мизансцен (в повестях без необязательных страниц), в присутствии тут же дающих дружеские советы и предлагающих варианты исправлений коллег-судей, как бы сторонних, но многоопытных глаз и авторитетных глоток.

Это мое субъективное мнение, я его никому не навязываю, да я бы про принципы съемок вообще молчал, если бы сам не занимался любительским кино. Можно сказать, я и на произведения Николая посмотрел и даже прочел их через глазок кинокамеры, отсюда и мои не очень убедительные и спорные рассуждения. Меня никто не тянет за киноязык, но я соглашусь с мнением большинства, что он при некоторых очевидных преимуществах более сухой и менее звучный, чем у хорошей прозы.

Я уже совсем распоясался, уже кино минусую, а киноленту начинаю считать за шелуху. Но мне кажется, что как раз из-за этой подвижнической работы в документальном кино, а так же из-за названных ранее поселковщины и газетщины Николаю не удалось достичь нужного соотношения между некоторыми свойствами и компонентами прозы. Теперь думается, добавь Николай в одни рассказы больше тепла, в а в другие холода и злости, то произведения стали бы сильнее. Вот из-за того, что малость не додал или передал, не довелось добиться сверхкачества и сверхуспеха. Читаешь и чувствуешь, что все элементы и составляющие серьезной тропниковской, а не «тропиканской легковесной», прозы – описания, диалоги, портреты, выходы на презрительную действительность, даже на так часто встречающиеся сарказм и сатиру, – всё высокого уровня, но в результате высший уровень почему-то не складывается. Ну, не гений, не Достоевский и даже не Достоевич. Хорош у Тропникова троп, но иногда нужен просто трёп.

Еще о кино. Никакое оно не презренное. Даже по произведениям Достоевского снимали анимацию, мультики. И у Николая не все уж так безнадежно серьезно в прозе, имеются и простодушные картинки, готовые хоть сейчас угодить в мультипликационные рисованные кадры. В детском видении, интерпретации снежинки – это редкие снежинки, похожие на большие рукавицы. В другом месте снежинки своими размерами напоминают падающих с неба пушистых цыплят... А почему не падающих или падших ангелов? Или автор еще не упал так низко? И все же почему не поговорить о снежинках как о некогда взлетевших, а потом медленно, как снег, упавших душах? И в конце концов, после упоминания о рукавицах и о цыплятах, увеличивая от раза к разу размеры и вес предметов, почему бы не сравнить снежинки с падающими со святого неба пышнотельными грешными женщинами. Да это же божий подарок морозной северной зимой, когда слетают прямо на руки да еще голые и жаркие... Так что – больше всяких вариаций, соли и сахара, пудры и дегтя, перчика и сердчика...

Я думаю, что для Тропникова никакое не открытие, что у его прозаического искусства имеется связь с киноискусством. Вот как он об этом пишет: «И раньше возникало ощущение, что жизнь моя мне будто снится». То есть в снах, а потом в рассказах, жизнь прокручивалась как видение, как фильм...

Ладно, вырубим проектор, оборвем показ, прекратим навязывать кинематографический взгляд на творчество Николая Ивановича кому-либо и кого-то обязывать, как обязательствами, растянувшейся или раскрутившейся на всю катушку кинолентой...

И вообще, что я тут бьюсь, как рыба, колочусь, загибаюсь, – а может, автора, выходя из глубинки, этот уровень профессионализма и популярности вполне устраивает? Критика ведь идет очень хорошая, доброжелательная, позитивная. Может, эта форма подачи материала, малость газетная или киношная идеальна для данного прозаика и, не используя именно ее, он вообще не состоялся бы как писатель?. Все ведь о двух концах, и палка, которую бросил псу, и сам пес – тоже о двух концах. Это хорошо, если обойдется, и ни на один не насадят.

Но все равно мне так и не удалось полно ответить на главный вопрос литературного дня, почему прозаик Тропников, достигнув такого высокого писательского уровня, не попал в ряды классиков?

Да, не раскручен, но раскрутка – это вторично.

Возможно, потому, что в прозе Николая недостаточно... прозы.

Да все у него как-то с креном, много жизни, но маловато искусства... много правды, но мало лжи. Присутствует газета, кино, масса лирических описаний, поэзия, а вот некоторых сермяжных, основополагающих качеств прозы не хватает. Практически нет героев, повествование идет линейно, от собственного имени. Порой рассказы своей повествовательностью напоминают очерки, а однажды и сам автор в новости «Кот» промяукал о своих рассказах как о мемуарах. Вообще-то читателя не волнуют никакие новации по сближению прозы с поэзией, лирики с описательностью, и ему

подавай что-либо читабельное, увлекательное. А потребности читателя надо учитывать. Он ведь простой, ему, как голому в бане, надо сделать погорячей, похолодней. А если вне бани, добавить веселия или жуги, скорби. Разве не интересны своей мистичностью, жутковатостью рассказы «Ночные деревья», «Дым»? А в рассказе «У костра» герой вообще берет и несет на руках не угли, а «остатки костра», прямо так и названные.

Надо побольше таких жгучих деталей, да и вообще зажигательных повестей, надо игрануть, вносить интригу, добавлять в повествования безудержного смеха или трагичности, а то их и вместе замутить. К примеру, рассказать о том, как Жириновскому – жирному комику – удалось сбежать от толпы возбудившихся гомиков только после того, как он напялил на себя бабье платье. А давнишнюю сценку посещения вместе с матерью (меня в детстве так же заставляли ходить) стайки с кормлением поросенка расписать в современной транскрипции: входите, включаете керосиновый фонарь, и у ближней стенки, в двух метрах от поросенка, видите группу забившихся в свинарник гастербайтеров-азиатов.

Больше смелости, фантазии и даже фантастики. Смотрите, например, что я спроектировал для Виледи в канун 100-летия Октябрьской революции, написав стих «Северная Аврора»:

Через одну из стихоглав
Осуществлю показ картины:
Речушка Виледь, вешний сплав
В Архангельск леса-древесины.
Из крупных бревен-кругляков,
Приплывших в город (без билетов),
На протяжении веков
Настроено судов, корветов...
С плевком
в буржуйский выкрик «Грабь!»
Решили люди для отпора
Содеять собственный корабль
С названьем трепетным «Аврора».
Повеял красный ветерок,
Залаял рыжеватый песик.
Река похожа на шнурок,
Что здесь развязан, как матросик?
Когда же свяжут вновь шнурки,
Тогда ни шагу в мир свободный.
Постановили: близ реки
Построить крейсера народный,
Военный, как 20-й век,
Когда с винтовкою
бунтарства

Пошел на Зимний человек
С мечтой о честном государстве.
Увы, не выстроить корабль:
Река узка, лесхоз в упадке...
Подиржируй, коль не раб,
Колом с призывом к новой схватке.

Не собираюсь тут устраивать мастер-класс, это не я, а Николай – ас, но надо хотя бы до конца, до логического упора раскручивать собою же найденные образы, чтобы они превращались в глобальные развернутые метафоры. Имеется же у него неординарное городское описание: ««Под «мавзолеем» я подразумевал торговый центр. Он стоял на противоположной стороне улицы, и во время гонений на спиртные напитки я не раз видел в окна обвивавшие его великие очереди. К тому же, если напрячь воображение, то и без очередей в силуэте этой торговой точки с красно-зелеными буквами ТЦ можно действительно усмотреть очертания известного московского сооружения, особенно при ночном освещении...». Отлично, но состоялся бы прозаический шедевр, если бы Николай описал, как из этого мавзолея при огромном стечении петербуржцев и под духовую музыку выносят тело Ленина, или после его непродолжительного пребывания на Волковом кладбище снова заносят в универсам и ставят гроб под стекло, под витрину.

«Оксюморон используй, Мирон!» – вот один из моих запоздалых простецких советов сочинителю.

Прошу у Николая прощения за такие подсказочки, но что ему на меня обижаться? Во-первых, я пишу и для других, пусть на классических примерах Тропникова учатся, а, во-вторых, у Николая хорошая критика, так что ничего не угрожает его давно сложившемуся успешному имиджу. Возможно, через пятьдесят лет эта критика станет еще «лучшее», ведь спадет шелуха, и после шелушения свершится залучшение.

Соглашаюсь с мнением некоторых московских и петербургских критиков, заявивших, что проза Тропникова – родниковая. Чистая, свежая. Не захватанная. Но мне хочется, чтобы она стала еще и захватывающей, увлекательной. Хм, самый увлекательный сюжет сегодняшнего времени – это дожидаться от нынешней прозы увлекательности и сюжетности. Повторяю, в теперешней прозе не хватает прозы. Из купели выплеснули ребенка, фабулу. Содержательность потеряла мобильность. Сбилося что-то в литературе, сбилося. Уйдя от одной сюжетности, прозаик не перешел в другую. Вроде бы спасительная надежда на длинные лирические отступления, которые зачастую являются мудреными и многозначительно слабыми, на деле оправдывает себя плохо, метод срабатывает не вполне. Те же природные описания, например, «покрасневшее вечернее небо» Тропников пробовал использовать как полосу раскаленного железа, чтобы в своих рассказах и даже в заготовках к ним выжигать документальщину, сухость или водянистость текстов, но полностью выжечь не смог. Нужно было использовать и другие варианты уничтожения, например вытравливание или выскабливание.

У меня самого в стихах и прозе такие же проблемы, даже намного запущеннее, чем у Николая. И если он, благодаря своему тонкому вкусу и чувству меры, смог еще на дальних подступах выставить преграды для излишней публицистичности, но не сдержал их напор, то у меня вообще завал.

Если коряво, но правильно выразиться, Николай Тропников слишком поэт, слишком лирик для прозы. Но его поэтических изобразительных средств не хватило, и он сам, наверное, в конце концов понял, что при недостаточной сюжетности, минимализме ходов и примитивизации схемы, стирании или неимении тропок-дорожек не сможешь выйти и на выдающийся уровень художественности.

Я, конечно, сужу прозу Николая Тропникова без побряжек, по довольно высокому счету, но по этому же счету и цену, и ни сколько бы не удивился, а только поддержал бы, если бы его книгу выдвинули на соискание Государственной премии по литературе.

Всяким там русофобам вручают, а нашего брата обходят.

И напоследок, если уж начал статью разговором о землячестве с воспоминаний о Вилегодчине, о «малой родине», то особо отмечу, что Николай является бережным и ответственным, и не поэтому ли малоразговорчивым, настороженным хранителем вилегодского языка, скажем так, диалекта. Опять-таки с незаурядным чувством меры, с тактом, не впопыхах, не серией, а по одному, точно запускает в текст такие слова, которые я помню со времен своего босоногого детства, например, «исть», «ужо», «переоблакивайся», «стайка», «басалай», «машинная дорога». И вот по этой машинной дороге мы уехали с Виледи, кто пораньше, кто попозднее (меня увезли родители в Волхов) и, не знаю как я, а Николай Тропников уж точно вернулся в родные места с весомыми, высоко оцененными книгами. И такому факту можно только сообща порадоваться.

Александр Медведев

СИЛА ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

В «Литературной газете» от 11–17 апреля 2018 №15 (6639) в очерке «К людям надо относиться помягче» народный художник РФ Владимир Суровцев рассказывал о своих встречах со скульптором Эрнстом Неизвестным.

В. Суровцев «видел в его работах человека бунтующего, недовольного обстоятельствами, импульсивного, драматизирующего и действительность, и свой взгляд на людей, их характеры, на будущее мира и цивилизации». Подбирая образный ключ творчеству Э. Неизвестного, он вспомнил современных скульпторов, мировоззренчески и формально абсолютно противоположных его герою: «Это, безусловно, не покой и уравновешенность Майоля, не гармоничность Манцу или Эмиля Греко, не философски эпические размышления Генри Мура... Его пластический язык – рефлексия из-за отсутствия гармонии внутри себя. Это выплеск энергии, что накопилась за годы преодоления непонимания, физических и экономических невзгод. И желание убедить: „Так жить нельзя!“»

Следует дополнение: «По Эрнсту искусство – не тихая заводь с прекрасными лилиями, кувшинками, кисейными барышнями на берегу... для него творчество – обнажённый нерв! Вызов, протест, обращение к воле, духу, разуму! Призыв к действиям во имя прогресса и всепонимания... И, как и любая творческая исповедь, – это песня, которую в полной мере слышишь только ты, творец!»

Автор очерка точно выявил суть творчества Э. Неизвестного: это выплеск энергии. Очевидно, в определенные периоды истории выплеск энергии в культуре и искусстве неизбежен. Его чают, посылно способствуют его возникновению, и когда он случается, какое-то время его выразители оказываются в центре внимания как энтузиасты, «призывающие к действиям во имя прогресса и всепонимания».

Вспоминается выражение английского философа XVIII века Эдмунда Бёрка: «Богу было угодно даровать человечеству энтузиазм, чтобы возместить отсутствие разума». Перечисленные В. Суровцевым мастера – Майоль, Манцу, Греко, Мур – при всей непохожести, обладали первейшим качеством скульптора – ясностью, лаконизмом, симфонической соподчинённостью силуэта и деталей. При минимальной изобразительности они добивались максимальной выразительности, и если для них критерием изваяния была гармония, то для Э. Неизвестного – дисгармония. Конгломерат хаотичных, кишачих деталей – отличительный признак его скульптур. «Отсутствие разума» здесь следует понимать в трактовке Пушкина: «Да здравствуют музы, да здравствует разум!», – скульптуры Э. Неизвестного полны «ложной мудрости». Фронтоник, очевидно, видевший человека в ужасающих проявлениях распада нравственного и как такового, художник с «обнажённым нервом», был захвачен очередным велением времени.

К 1960 годам в современном искусстве возобладала удивительная в простоте и убедительности идея: «после Освенцима человек недостоин изображения». После совершённых им зверств он лишён богоподобного облика. Это было время торжества абстрактного экспрессионизма, того самого выплеска энергии, когда конечный результат замещён процессом неистового формотворчества – самовыражения.

В. Суровцев прав, говоря о песне, которую в полной мере слышит лишь сам творец. Э. Неизвестный сохранил в своих творениях признаки антропоморфности, отчего его скульптуры оказывают на зрителя, неподготовленного к восприятию идеи «невозможности изображения человека после Освенцима» ещё более гнетущее впечатление, нежели, если бы это были чисто абстрактные формы. И тут может возникнуть вопрос, насколько был последователен и смел Э. Неизвестный в своих творческих исканиях, что не вышел на подлинно новые пластические формы, увязнув в странном антропоморфном фарше?

Человеку свойственно проявлять бесчеловечность. Знали ли об этом древние греки? Они не были наивны, но боролись с внутренним зверем чистотой формы, красотой, заложенной в образе человека. Изображение судорог, агонии, распада – вот что подлинно бесчеловечно. Всегда страдание художники-классики показывали лишь в той мере, в какой позволяло им чувство красоты и достоинства. Телесную боль и величие духа они распределяли во всём строении изваяния с одинаковой силой. Мудрость протягивала руку искусству и вкладывала в его создания нечто большее, чем обычные, часто энергичные души своим негодующим «так больше жить нельзя!»

Не публицист ли Э. Неизвестный больше, чем художник? Литературная составляющая непозволительно много на себя берёт в зрительно витиеватой партитуре его песни. Полезна ли такого рода публицистика?

В античности было такое понятие – рипарограф, живописец грязи. Так называли художника, с особой любовью изображающего уродливое и гнусное в облике человека. Известен закон фивян, повелевавший художникам облагораживать человеческую натуру и запрещавший уродовать её. Бесспорно влияние образительного искусства на характер народа, со времён Аристотеля в этом плане ничего не изменилось. Там, где благодаря красивым людям появляются красивые статуи, там они, в свою очередь, производят благоприятное впечатление на людей. Так что, и общество, и государство было и должно быть обязано красивым статуям появлению красивых людей.

Но как же быть с «выплеском энергии», с этим, едва ли не главным критерием так называемого современного искусства?

Глаз не претерпел каких-либо кардинальных изменений с древних времён. До сих пор при встрече с изображением вся сила впечатления зависит от первого взгляда, что особенно важно в отношении скульптуры. Если при первом взгляде от нас требуются утомительные соображения и догадки, то наша заинтересованность ослабляется. Неудовлетворённость

вымещается на непонятном нам художнике, мы встаём против его выразительных средств, и, как сказали бы древние, горе ему, если он пожертвовал для них красотой.

Искусство, разумеется, не «тихая заводь», и странно было бы не признавать в нём правомерность «выплеска энергии». Однако русскому искусству, возвращённому на традициях классики, не чуждому самым драматическим и трагическим темам, свойственно использовать энергию в мирных целях. Соглашаясь со словами Э. Неизвестного: «К людям надо относиться помягче», произнесённым в бытовом контексте, художникам следует более помнить пророческие слова Пушкина из «Капитанской дочки»: «Лучшие изменения происходят от смягчения нравов». Им, правда, это сделать нелегко – способствовать смягчению нравов, творчество Э. Неизвестного пример тому. Ещё Плиний Старший заметил, что свойственная художникам заносчивость, стремление к странному и неизвестному, влекут их создавать вещи, о которых очень скоро нельзя даже догадаться, что они изображают.

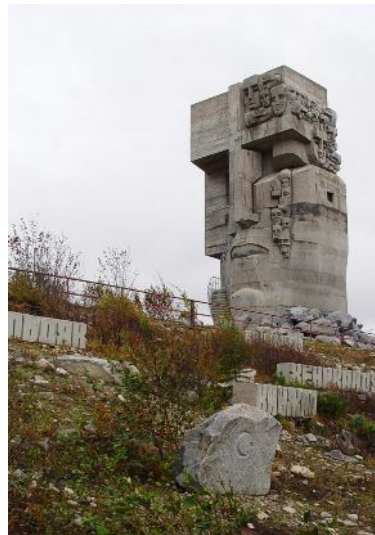
Эрнст Неизвестный, выдающийся скульптор.

Родился 9 апреля 1925 г., Екатеринбург, СССР

Умер 9 августа 2016 г. (91 год), Нью-Йорк, США



Надгробье на могиле Хрущева



Памятник жертвам репрессий

IV. ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ
("Лишние" русские люди)

В. С. ПЕЧЕРИН

**ЗАМОГИЛЬНЫЕ
ЗАПИСКИ**



„ МИР ”

М С М Х Х И I

Предисловие человека, вообразившего себя Редактором мира.

Записки Печерина я читал более пятидесяти лет назад (когда я еще читал), потом я на пятьдесят лет читать перестал, ныне возобновляю чтение, надеюсь, что не только я сам что-то измысливаю, но и в других смогу найти продуктивное измышление. Правда, или **измышление** или **жизнь**, их совмещение (по Аполлону Григорьеву) почти никому не удается.

Тогда еще меня поразила одна фраза из Записок: «христианство объявило войну человечеству и всему миру».

Так как нам и необходимо и суждено **во всём** разобраться (нам передал Господь «висяк», и мы – следователи, которым нечего терять, он пообещал нас выгнать с работы (то есть из жизни), если мы не разберемся в окончательной правде – то вот и приступаем. Пока я бригадир следственной группы, остальные скоро подойдут, им тоже терять нечего.

Но неужели только дело этих Записок касается одного христианства – ведь, кажется, и я столько о нем книг написал, что все пережевано? – нет, тут соединяются вместе и **Россия и Европа**, и **либерализм и коммунизм**. В трех номерах Записки и комментарии к ним и наши отклики исчерпаются, а далее мы будем копать по плану (план у меня есть).

Второе, кроме важной фразы, состоит в удивительном совпадении моей судьбы и личности с личностью «автора Записок». О нем писал Герцен (вождь либерализма, русского социализма и революционства) в «Былом и думах», они встречались и даже сотрудничали. Один из Аксаковых (вождь славянофильства) встрепенулся, узнав о его воскресении, и обещал напечатать все, что будет отсюда прислано. Напечатал Записки Лев Каменев, вскоре расстрелянный, один из вождей большевизма. Дружил Печерин с Никитенко, которому мы посвятили в нашем журнале немало страниц, и не случайно – это представитель той более широкой оппозиции, включая и Пушкина, и Вяземского, и декабристов, и Чаадаева (а Пушкин с ними со всеми дружил), и Достоевского, и Розанова – которая неотделима от России и от всех нас, выросших из Революции и коммунизма, продолжающих расти уже после них, пропитанных этим марксистским коммунизмом даже более чем христианством, мечущихся между Россией и Европой, между коленопреклонением перед любым земным царьком и отрицанием небесного. Я с ними со всеми не дружил и не был даже знаком, но я из них из всех вырос. Именно в этом смысле я тождествен интеллигенту 19-го столетия.

Ужас современных споров (о Ленине, Сталине, Николае, Столыпине, Цицероне и Христе, Аристотеле и Игнатии Брянчанинове состоит в том, что в мысль пытаются впрячь несовместимости. Если принимаешь Революцию, Чекизм, физическое уничтожение образованных сословий, **ненависть к национальной идее** (в частности, к русской), то обходи церковь стороной, переплавляй кресты на орала, закапывай и оставшихся священников в землю, какую мировую революцию вы возвещаете с белым венчиком из роз, уже давно и глубоко это все исследовано Блоком (отчасти евреем, поэтому умным, но все же русским, поэтому глубоким мистиком).

Революция была **против** России, она не только Россию залила кровью и всех умных и тонких русских либо уничтожила, либо изгнала, либо уморила, либо раздавила (а у меня и здесь и раньше каждое слово выверено вплоть до удара, нет ни одного лишнего и все необходимые, так же и с понятиями и с именами, я бы это мог показать на примере каждой фразы, которую я измеряю и взвешиваю, пересчитывая буквы и проверяя их *«на прокол»* – а знаете ли вы, что это значит? Если спросите, я потом расскажу) – и вот: какие споры о революции, коммунизме, масонах, великих князьях, чекисте – муже Цветаевой, белом генерале, завербованном красными, муже гениальной Плевицкой, нерешительном Корнилове в августе 17-го, когда и генерал Алексеев был в заговоре (с кем и против кого?), Колчаке, Деникине, Махно... пока мы их всех не вызовем на допрос... А мы не знаем даже, почему монархист Шульгин 1 (?) марта подписал и принял у царя карандашное отречение от престола, и внятного объяснения не дал ни он сам, ни его секретарь. Гениальная актриса Елизавета Тиме крутит роман с Керенским, гениальная певица Липковская в любовницах у Урицкого, "гимназистка" Ирочка Одоевцева кружит голову пронизательному Гумилеву... революция – это не национальные катаклизмы, и не социальные, это сдвиг тектонических масс, это поиск новой логики бытия, это всеобщее безумие, и личностей, и народов, и бесформенных масс! Но каково богатство личностного содержания, и за тысячу лет не хватить всех! А произойди революция сегодня – о ком мы вспомним даже через пять лет? Кто напишет мемуарный листок? Я слушал дебаты при выборах нового царя, я ужаснулся оскудению бытия!!!

Но хватит, далее – в третьих. Начинаю с Печерина из-за поразительного сходства в чем-то личном, в характере или в судьбе? Печерин бежал и стремился бежать, **ПОБЕГ** был вмещен как стержень в меня тоже. Печерин, блестящий выпускник Московского университета, убежал от профессорской должности, от благополучного быта, от ученых занятий, он добежал до Дублина, до монастыря, до монаха, до Герцена, до коммунистов, до сиделки при больнице для бедных, добежал до своих Записок и умер – смерть его настигла в конце концов. (К слову сказать, и знаменитые русские, с **благополучной судьбой**, пытались от нее убежать, Вяземский проиграл в карты миллионы, царь его спас, Толстой проиграл в карты Ясную Поляну, Пушкин играл в карты, стрелялся на дуэлях, наконец застрелился – это ли не побег? Лермонтов застрелился на Тереке, пытался подставить себя под чеченские пули, застрелился ничтожным хлыщом Мартыновым; Достоевский стрелялся каторгой, неудачной женитьбой, удачной любовницей, игрой в рулетку, двумя журналами... Чего им всем было надо, дворянам?)

Но я бежал от отчаяния. В седьмом классе меня выставили на позор в школе, назвав чуть не новым Гитлером, исключили из школы, я побежал в "Южную Америку", добежал до Красноярска, влюбился на вокзале в цыганскую девчонку, неожиданно вскочил в поезд и вернулся домой. Потом меня начали любить все, и что-то со мною происходило, но пока меня одни притесняли, другие бросались на помощь. Я бежал еще не из-за притеснений, а по внутренней потребности, в 20 лет вышел из дому, пошел пешком в монастырь, почему-то надо было зайти сначала в Пулковскую обсерваторию

(я был астрономом), зашел несколько дальше, посидел у речушки, сел в проезжающий грузовик и вернулся. Потом меня бросила девчонка, другая носила ей мои письма, уговаривала меня одуматься, потому что у нее, мол, поцелуи даже слаще. Потом я пытался бежать из жизни, медсестра или врачиха меня поцеловала, когда я вернулся. Потом я бежал из университета (а был не самым ли блестящим тогда студентом, многие меня помнят до сих пор). И вдруг начал писать диссертацию – но в решительный момент сбежал в тюрьму и в сумасшедший дом. Пожив счастливой жизнью лет 20, сбежал от себя в издание книг и журналов, в "политику", бежал в сумасшедший дом на экспертизу, месяц был за решеткой, получил – единственный в России – справку о «благонадежности» и вменяемости, загремел в тюрьму, не догремел до конца (не забывайте, что и жизнь и люди меня отчаянно любили, не знаю, за что), и вот уже 14-й год живу на воле и почти счастлив, копаю огород, построил баню, бросил наконец пить (точнее сказать, «она» меня бросила), издаю журналы, умеренно спорю и поучаю... Кого? Народ? Писателей?

И вот тут-то самое главное в моей жизни, в чем и с Печериным у меня тоже большое сходство.

Итак, в четвертых. Сказано было когда-то легковверными: **Стучите – и обрящете**. Вернее было бы сказать: **ИЩИТЕ!** Ибо стучать – это надеяться на халяву, а поиск включает в себя и ученье и труд. Но я и искал и стучал, требуя открыть дверь (добрел я однажды до какой-то кельи в лесу). Наконец дверь открылась, вышел с большой бородой сурового вида, спрашивает: Ну чего тебе? Я ему изложил все наши обвинения, мол, создатель ты никудышный, мир построил плохой, и люди не все как надо, и жить почти невозможно, и все несчастливы. Тебе нас не жалко? – зло я его спросил (почти как Иван Карамазов). Жалко – с грустью он мне ответил. Пробовал я вас сделать счастливыми, так вы впадаете в такое свинство, что хуже некуда, вот посмотри, полный огород поросят, я уж огород засадил сладкими буряками, резвятся, визжат, жрут буряки и валяются в лужах – и это бывшие люди?!

Я помягчел. Знаешь, у меня баня тоже дымит, из всех щелей прет, но я же ее редактирую! И писателей тоже, иной такое несет, вычеркиваю, исправляю! Да и собственные писания даже перечитываю, хотя времени совсем нет, переписываю, сокращаю, пишу лучше, а ты вот мне не помогаешь, не совершенствуешь мои речь и письмо!

Ну, не ври! Сколько раз я тебя мордой в грязь и об стену, тугой ты ученик, трудно тебя учить, девушки одни на уме – и все же вспомни, за 60 лет, после первых писаний, разве ты не поднялся повыше? И шас я тебя не еложу ль по крапиве и даже ночью в постели уже охаешь, домашним спать не даешь, редко вдруг спохватишься, вскочишь, сделаешь зарядку, запишешь, что мои знакомые волхвы тебе нашептали, и снова ложишься. Ну а что мое Творение нуждается в редактировании – кто ж с этим спорит, кроме безмозглых писарей, которые зарабатывают на хлеб только переписыванием чужого? Ты мой избранный Редактор, *читай, думай, вычеркивай, вписывай от себя!!*

Итак, я – **Редактор мира**, Бог мне сие поручил, но мне в этом НЕ помогает, я один, время вытекает, жизнь тоже, я написал Исповедь, ее не читают, остался Журнал, топор, пишу, машу... **Надо редактировать Бога. Редактор, ВИ.**

«ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ» В. С. Печерина

Предисловие к первому изданию 1932 г. Льва Каменева (из камня).

Из рукописных залежей Румянцевского музея письма Печерина были извлечены М. О. Гершензоном, который сделал и первые шаги для подготовки их к печати. Он написал несколько страниц предисловия, в которых характеризовал их следующими словами: «Автобиография не представляет собой сплошного повествования; это ряд эпизодов, часто не связанный между собой хронологически и от того может быть выигрывающих в художественной законченности. Сообщая эти эпизоды в письмах (своему племяннику С. Ф. Печерину и Ф. Б. Чижову), Печерин часто предварял или сопровождал свой рассказ рассуждениями и сообщениями злободневного свойства. Эти эпистолярные привески мы, по возможности, устранили из автобиографии».

Мы последовали этому плану публикации. В рукопись Печерина мы вставили два отрывка, предварительно напечатанные в русских изданиях. Название – «Замогильные записки» – заимствовано из текста самого Печерина. Примечания принадлежат редакции настоящего издания.

Л. Каменев.

Да, тот самый Каменев, пламенный большевик, ПАЛАЧ русского народа, сподвижник Ленина и Троцкого (палачей №1 и №2), расстрелянный Сталиным, палачом №3.

Предисловие к журнальной публикации 2018г.

Мало кто имеет твердое отношение к России, нельзя сказать, что они ее принимают или отвергают, и не отделяют ее в национальном и культурном отношении от государства, власти, народа, населения, веры, мировоззрения (как правило, навязанным извне: советским союзом, советской властью)...

Меньшинство делится на *верноподанных* и *русофобов*. Но ведь иные ненавидят власть, не ненавидя Россию, власть и Россия – это не одно и то же.

Есть и люди раздвоенного сознания, в котором совмещены противоположности, любовь и ненависть. Сегодня таких немало, вот я: и националист и почти русофоб (по крайней мере, ненавистник власти, следовательно, по ее мнению, представитель Пятой колонны – а народ противника власти и противника России не разделяет). В 19-м столетии таких тоже было немало. К пламенным патриотам нельзя отнести и Пушкина и Вяземского, но они так резко свою отделенность от страны и общества не ощущали и не выражали. Однако были и те, кого по современной терминологии можно отнести к русофобам. Не все они относились к явной оппозиции, например, Никитенко, с которым мы хорошо познакомились по статьям А. В. Осипова, сделал хорошую карьеру, Чаадаев жил под надзором полиции, но не подвергался репрессиям, Герцен эмигрировал, однако достиг высокого литературного и политического положения на Западе. Печерин бежал из страны, скитался, прозябал, известен немногим, в основном благодаря воспоминаниям о нем Герцена, помещенным им в Былом и Думах.

Я и собираюсь познакомить наших читателей с этим колоритным человеком.

В. Чернышев

Замогильные записки

Дублин 13-го октября 1865 г.

Любезнейший племянник!

Знаете ли, чего вы от меня требуете? Ни больше ни меньше как прислать вам *несколько томов* моей биографии. Оно бы кажется не трудно бегло рассказать главные факты моей жизни; но как же описать постепенное, медленное, многосложное развитие духа? Как размотать эти тонкие нежные нити мысли, крепко связанные неумолимою логикою жизни? – Ведь это почти то же, что написать целую историю философии. Для этого надобно время и терпение. В прошлом году я начал было писать свои записки; но после бросил. Может быть, снова за них примусь. Теперь же, чтобы удовлетворить вашему и ваших друзей желанию, я посылаю вам два из них отрывка – как *задаток*. Для остального надо время и терпение.

1812 год. Первые воспоминания

Мы вступили в крепость Килию, только что взятую от турок. Отец мой был тогда поручиком Ярославского пехотного полка. Мне было ровно пять лет. Наша квартира была в каком-то турецком доме напротив самых крепостных ворот со стороны Дуная. Там бывало с бастиона я смотрю: под стеною течет Дунай и на нем плавают наши два лебедя. За Дунаем на зеленом поле белелась палатка; перед нею сидел турецкий офицер с длинным чубуком; как теперь еще мерещится перед глазами: перед палаткой приходили и уходили солдаты. Это был размен пленников. У нас была одна большая комната с огромными шкапами во всю длину стены: в одном из этих шкапов меня клали спать.

Тут на турецком диване я сидел с указкою в руках: сам отец учил меня грамоте. Первую книгу мне дали в руки – «Сто четыре священные истории» Гибнера^[2]. История смерти спасителя сделала на меня чрезвычайное впечатление. Солнце померкло – земля потряслась – мертвые встали из гроба – завеса храма раздралась на двое: – это зрелище потрясло всю душу – какой-то священный трепет пробежал по всему телу, волосы стали дыбом. Никогда, мне кажется, впоследствии, даже в самые пылкие годы юности я не испытывал подобного ощущения.

Умереть за благо народа и видеть мать, стоящую у подножия моего креста – было одно из мечтаний моей юности. Вот как первые впечатления влияют на остальную жизнь. Впрочем, кроме «священной истории» я читал все, что мне попадалось в руки. У отца моего была маленькая библиотека, состоявшая из драм Коцебу и романов г-жи Жанлис^[3]. Здесь же, в крепости Килии я в первый раз выступил на сцену. У нас зимовала небольшая Дунайская флотилия. Флотские офицеры зимою завели редут и театр. В одной пьесе Коцебу требовалась роль ребенка около моих лет. Мне предоставили эту роль. Я вышел на сцену, сказал выученные мною слова, получил два калача в руки и удалился за кулисы.

Кроме отца, у меня был еще другой учитель – флотский офицер с деревянною ногою – достопочтенный и незабвенный Залеский: он учил меня писать и рисовать носы и глаза. – В одно прекрасное утро раздался гром пушек со всех укреплений, так что у нас все стекла треснули. Это было известие об изгнании французов из России.

1815. Одесса в казармах

Полковой доктор Зоммер (разумеется, немец), заведывавший здоровьем моей матери, сказал ей однажды: «этот ребенок будет или поэтом, или актером». Хорош пророк! – Впрочем, он, может быть, и не совсем ошибся. Я, действительно, был поэтом, – не в стихах, а на самом деле. Под влиянием высшего вдохновения, я задумал и развил длинную поэму жизни и, по всем правилам искусства, сохранил в ней совершенное единство. Несмотря на разнообразные события, *одна идея* господствует над всем – это непобедимая вера в ту невидимую силу, которая вызвала меня на Запад и теперь *ведет путем незримым* к какой – то высокой цели, где все разрешится, все уяснится и все увенчается. – Я был также и актером. Я разыгрывал всевозможные роли. Я был подканцеляристом Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста и был посажен под арест за нерадение к службе – кутил с гвардейскими подпрапорщиками, – потом вдруг перебрался на 5 этаж в Гороховой улице и жил там бедным студентом, пустынноком, – был членом Профессорского Института и *почти* профессором Московского Университета, – бродил безприютным нищим по Франции, – продавал вакуу на улицах Люгтиха (Liège) в Бельгии, – был секретарем у английского капитана и за это получал пять франков в неделю, – наконец, я был республиканцем школы Ламеннэ, коммунистом, сенсимонистом, миссионером – проповедником, теперь, вероятно, я вступил в последнюю ролю: она лучшая из всех и близшая к идеалу: я разделяю труды сестер милосердия и вместе с ними служу страждущему человечеству в больнице. Но что же было поводом доктору Зоммеру произнести такое обо мне пророчество?

В Одессе меня повезли в театр. Там играли «Эдип в Афинах» Озерова^[4]. Теперь еще помню начало:

«Постой, дочь нежная преступного отца!

Опора слабая несчастного слепца!

Печаль и бедствия всех сил меня лишили.»

Надобно заметить, что *мне ничто даром не проходило*. Какая-нибудь книжонка – стихи, два-три подслушанные мною слова делали на меня живейшее впечатление и определяли иногда целые периоды моей жизни. Возвратившись домой, я набросил на плечи шаль моей матери и начал расхаживать по комнате, как греческий царь. Высокие идеи театрального правосудия шевелились в голове моей. Мне хотелось быть правосудным царем – оправдать невинных, разбить оковы узников. У нас была какая-то большая белая книга: я начал в ней писать свои мысли и иллюстрировать

их. Я нарисовал царя в венце и багрянице, сидящего на престоле: перед ним приводят пленников: он их прощает и велит снять с них оковы. С тех пор я каждый день представлял или греческих царей, или чувствительную драму *Кора* и *Алонзо*. Мне было 8 лет. С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становился посредником между тиранами и их жертвами..

Тут же в Одессе умер наш полковой командир Андрей Карлович Мольтрах – горький пьяница. Какой-то полковой поэт написал ему следующую эпитафию:

«Стой, прохожий! Стой!»
Вижу у тебя штоф непустой:
Сжалься и мне немного отлей!
Здесь лежит пьяный Андрей!

Было какое-то торжество в одесском соборе. Все офицеры в большом параде. Был тут и герцог Ришелье^[5]. Отец меня подвел к нему, и Дюк (так его звали в Одессе) погладил меня по головке: вот я и получил благословение французского легитимиста!

Пробуждение.

Что я слышу? – голос милый
Песнь знакомую поет,
И, как Лазарь из могилы,
Тень минувшего встает.
Прояснися, прояснися,
Ранний сумрак вешних дней!
Сквозь туманы улыбнися,
Солнце юности моей:
После долгих треволнений
Вижу снова брег родной,
И толпа святых видений
Вновь мелькает предо мной.
Чудная звезда светила
Мне сквозь утренний туман.
Смело я поднял ветрило
И пустился в океан.
Солнце к западу склонялось,
Вслед за солнцем я летел:
Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.
Запад, запад величавый!
Запад золотом горит:
Там венки вьются славы!
Доблесть, правда там блестит.
Мрак и свет, как исполины,
Там ведут кровавый бой:

Дремлют и твои судьбины
В лоне битвы роковой!
В броне веры, воин смелый,
Адамантовым щитом
Отобьешь ты вражьи стрелы,
Слова поразишь мечом!
Вот блестит хоругвь свободы!
И цари бегут, бегут;
И при звуке труб народы
Песнь победную поют.
Разорвался плен суровый.
Кончилась навек война.
Узами любви христовой
Сочетались племена!
Гряньте звонкими струнами:
Где ты, гордый фараон?
Моря Чермного волнами
Конь и всадник поглощен:
Ныне правда водворится
В нашей Скинии святой.
Вечным браком соединится
Небо с юною землей.
Духов тьмы исчезнет сила.
И взойдет на небеса
Трисиянное светило –
Доблесть, истина, краса.

Август 1864

В этих стихах целая программа. Все мечты и планы, с которыми я оставлял Россию.

С Монте-Пинчио^[6].

Там, над куполом святым,
Звездочка любви всходила
И на свой любезный Рим
Взором матери светила.
Но подчас она бледнела
И, как факел меж гробов,
Тусклым пламенем горела
Над могилами сынов.
И сокрылося, как сон,
Рима дивное виденье,
И ты снова погружен
В жизни мутное волнение.
И к Неаполя брегам

Ты летишь с печальной думой:
Там, гуляя по гробам,
Прояснишь ли взор угрюмый?
Нет! напрасно ты бежал
От души глухого стога
Под навес швейцарских скал
И под купол Пантеона.
Все прекрасное пройдет.
Ветерок струит ветрило
И к Германии унылой
Быстрый челн тебя несет.

Это было напечатано, кажется, в 35 или 36 году в «Московском Наблюдателе» в статье: «Отрывки из путешествия доктора Фуссгэнгера»^[7].

Желание лучшего мира.

(Из Шиллера)^[8].

Ах! из сей долины тесной,
Хладною покрытой мглой,
Где найду исход чудесный?
Сладкий где найду покой?
Вижу: холмы отдаленны
Зеленью цветут младой...
Дайте крылья! к вожделенной
Полечу стране родной!
Вижу, там златые рдеют
Меж густых ветвей плоды;
Зимни бури там не веют,
И не вянут век цветы.
Слышу звуки райской лиры,
Чистых пение духов,
И разносят вкруг зефиры
Благовония цветов.
Вот челнок колышут волны...
Но гребца не вижу в нем!..
Прочь боязнь! Надежды полный,
В путь лети! Уж ветерком
Парусы надулись белы...
Веруй и отважен будь!
В те чудесные пределы
Чудный лишь приводит путь.

*Ihr näht euch wieder
Schwankende Gestalten.
Geme^[9].*

Г. Липовец, Киевской губернии 1821 год.

Принесли посылку с почты. – Откуда это? – из Житомира, от книгопродавца Глюксберга. Да что же это такое? – Это должно быть учебные книги для сына командира 2-го батальона 35-го Егерского полка майора Печерина. Дайте ж развернем, посмотрим, какие это *учебные* книги. – Вот они: 1. Discours sur l'histoire universelle p. Bossuet. 2. Lettres à Emilie sur la Mythologie par Demontiers. 3. La Henriade de Voltaire. 4. Emile de J. J. Rousseau. ^[10]

Вот и все. Впрочем, Эмиль был не для меня, а для моего учителя, как *руководство*. Да! Судьба и мой учитель решили, что мне непременно надобно быть воспитанным по Эмилю. И чему тут удивиться? Учителю моему было около 24 лет от роду. Он был молодой человек очень приятной наружности с маленькими усиками и империялкой. Происхождением он был немец из Гессен-Касселя, он отлично говорил по-французски. Его звали *Вильгельм Кессман*. О религии его нечего и говорить. А в политическом отношении он был пламенным бонапартистом и вместе с тем отчаянным революционером. За каких-нибудь 50 руб. в месяц достать учителя и гувернера, все что угодно – отлично говорящего по-французски и по-немецки, с отличными манерами – ведь это для небогатого русского дворянина просто была находка! Я страстно полюбил моего учителя. Это была моя первая любовь. Он также привязался ко мне пламенною дружбою. Он действительно любил меня. Бог знает, что он думал обо мне, чего от меня ожидал и какие планы строил для меня в будущем. Вот один образчик: вот что он однажды писал ко мне: «Учитесь, развивайтесь, – поезжайте в университет. – Кто знает, что вам суждено в будущем? Может быть, какая-нибудь благодарная нация выберет вас своим первым Консулом, а я, осчастливленный этим событием, радостно окончу дни свои подле вас». Каково? – Вот и Дон-Кихот с его островом! И вот в каких идеях воспитывался сын бедного русского майора! – Впрочем, тут, может быть, была задняя мысль революции, как увидим после... Однако ж позвольте – не лучше ли было бы, например, вместо какого-нибудь немца, француза, отдать мальчика на воспитание какому-нибудь доброму священнику? – В этом позволено сомневаться. – Ведь я всего попробовал – даже православного воспитания. Вот, например, в 19-м году в Дорогобуже, Смоленской губернии, мы стояли на квартире в доме протопопа благочинного. Уж чего бы, кажется, лучше? Вот отец так и отдал меня ему в науку, и старик учил меня всему, что сам знал, – разумеется, когда был трезв. А то ведь он часто, как разгуляется, так хоть святых вон носи, так и пойдет в потасовку с своим сыном, парнем лет 20-ти. Не раз я видел, как этот благовоспитанный молодой человек таскал за бороду своего почтенного родителя. Но и тут, как и везде, женщина является добрым ангелом или благодетельной феею. Милая дочь протопопа, девушка лет 25-ти, очень меня полюбила и кормила меня вяземскими пряниками в великий пост. А пряников-то была бездна! Вся кладовая была переполнена сверху до-низу, все полки были уставлены ими, словно какое-нибудь книгохранилище. А откуда же взялись эти пряники? А вот видите – накануне великого поста прихожане приходили на поклон к протопопу. Каждый бил челом святому отцу и подносил ему пряник, и вот эти пряники-то мы с Наташею и кушали.

А вот и другой образчик духовного воспитания. Где-то в Белоруссии на страстной неделе мы с маменькой пошли на исповедь к сельскому священнику. Он был какой-то ухарской молодец. Выслушав мою исповедь, он дал мне следующее поучение: «Будьте добрым мальчиком, ведите себя хорошо, и бог вас наградит и, когда вы подрастаете, он дарует вам прекрасную жену!!» – Ей богу, это слово в слово так! Вот и духовное поощрение 10-тилетнему мальчику! Вот и надежда лучших благ! А о нашем полковом священнике, так нечего и говорить. Он был разбитной малый, совершенно в уровень с своим военным положением. Как загнет бывало двусмысленную шутку, так что твой уланский вахмистр! Извините эти педагогические отступления – это просто так, для сравнения двух систем.

Учитель преподавал мне французский и немецкий языки, а остальные сведения я сам почерпал из разных источников: читал Conversations Lexicon, немецкую Библию, Siècle de Louis XIV de Voltaire, Pucelle d'Orléan, Astronomie de Maupertuis и романы Августа Лафонтена^[11]. Ах! какую глубокую истину сказал Пушкин: «мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь»!

У Кессмана^[12] была оригинальная метода. Он заставил меня писать на немецком языке дневник, т. е. записывать маленькие события дня и мои собственные о них мысли, а потом он это поправлял. Для развития мысли и слога, – мне кажется, это отличная метода – без сомнения, несравненно лучше так называемых *тем* или школьных задач, где, например, вам скажут: напишите-ка описание бури, или похвалу скромности, или расскажите сражение между Горациями и Куриациями (как мне задано было на французском экзамене в университете). К чему это ведет? Просто к фразам и амплификации, этой чуме истинного красноречия. Человек должен с младенчества учиться говорить правду, т. е. выражать свои собственные мысли и чувствования и говорить только о тех предметах, которые ему совершенно известны, а не красть чужие слова или просто быть попугаем. Но отложим в сторону педагогию и поговорим о более серьезных предметах, paulo maiora sanamus!^[13]

Кессман жил на квартире у липовецкого городничего отставного поручика Сверчевского.^[14] Они были задушевные друзья и оба были глубоко замешаны в революционных проделках. В то время все подготовлялось к взрыву. Стихии были в брожении. Воздух напитан был электричеством. Может быть, одни близорукие в высших сферах не замечали этого. Говорили очень вольно – даже в наших военных кружках. «Не даром же в русском гербе двуглавый орел, и на каждой голове корона: ведь и у нас два царя: Александр I да Аракчеев Ъ». Даже простой народ громко роптал на Аракчеева.

Приближалось 14-ое декабря^[15], как все великие события, бросало тень перед собою. Полковник Пестель^[15] был нашим близким соседом. Его просто обожали. Он был идолом 2-ой армии. Из нашего и из других полков офицеры беспрестанно просили о переводе в полк к Пестелю. «Там свобода! Там благородство! там честь!» Кессман и Сверчевский имели ко мне неограниченное доверие. Они без малейшей застенчивости обсуждали передо

мною планы восстания, и как легко было бы, например, арестовать моего отца и завладеть городом и пр. Я все слушал, все знал, на все был готов: мне кажется, я пошел бы за ними в огонь и воду...

Здесь рождается любопытный вопрос: а что бы я сделал, если бы, действительно, пришлось к делу? Остался ли бы верным дружбе до конца? – или, может быть, по русской натуре я сподличал бы в решительную минуту, предал бы друзей и постоял бы за начальство? Ей богу не знаю! трудно отвечать.

Учение Кессмана совершенно меня преобразило. Идеи вольности и христианского равенства глубоко запали в душу, и я решил привести их к буквальному исполнению. У меня, разумеется, был мальчик – Ониска – который ходил за мною, подавал мне умываться и пр. Я решительно отказался от его прислуги, к крайнему неудовольствию моего отца. Я не хотел иметь рабов – я сам себе прислуживал. Когда солдаты делали мне фронт (а как же? майорскому-то сыну!) я снимал картуз и учтиво раскланивался. Это было смешно и совершенно неприлично. Мне надлежало бы пройти мимо с надменным видом, не обращая на них ни малейшего внимания. – Все это было так из рук вон, что даже Афонька, камердинер нашего полкового командира, потерял терпение и, в каком-то порыве священного холопского негодования, сделал мне выговор. «Помилуйте, батюшка Владимир Сергеевич! Ведь вы вовсе не как следует русскому барину: вы словно какой-нибудь француз или итальянец!» – Ах! если бы в эту минуту я замахнулся и дал бы ему оплеуху, – он, наверное, глубоко бы передо мной преклонился и признал бы меня за истого русского дворянина!

Я даже сделал попытку революционной пропаганды и политического красноречия. Какие-то мужики работали около нашего сада. Вот я так и грянул им речь о свободе! – Это тотчас же донесли в главную квартиру. Маменька сделала мне выговор, но с таким умом и тактом, которые очень хорошо показывали, что она вовсе не против свободы... Ах! она была святая женщина – гораздо выше своего времени и той среды, в которой она поставлена была судьбою.

Вот так-то я развивался по Эмилию – все кажется хорошо – одного не доставало: у Эмилия была *Юлия*! Да как же? Ведь надобна же юноше чистая и святая привязанность для того, чтобы предохранить его от нечистой любви; нужен ангел-хранитель, чтобы спасти его от порока. Но как и где найти ее? Вот в том-то и дело! Найти женщину – как отец Анфантен^[16] искал ее даже на отдаленном востоке. Но ведь русская пословица говорит: на ловца и зверь бежит. И Юлия нашлась, но для этого надо перенести сцену в другую местность.

– *Хмельник, Подольской губернии 1823 год.*

Und herrlich in der Jugend Prangen,
Wie ein Gebild aus Himmelshöhen,
Mit züchtigen, verschämten Wangen
Sieht er die Jungfrau vor sich stehn.

Шиллер^[17]

Мне было 16 лет. Я только что воротился из Киевской гимназии, где я пробыл около года, – к крайнему огорчению моей доброй маменьки. Да и было от чего огорчаться! Уж чего я не слышался между офицерами и солдатами; но, признаюсь, никогда в армии я не слышал подобных мерзостей, как в этом благородном пансионе (у директора гимназии). А ведь тут был цвет южного дворянства из Херсонской и других губерний. О, русское дворянство! «Изрекли уж Эвмениды приговор свой роковой, и секира Немезиды^[18] поднята уж над тобой!» Учитель-надзиратель (он был коренной русский) пансиона рассказывал нам с большим вкусом – *con gusto* – великие подвиги Екатерины II – не те подвиги, которые история записала на своих скрижалях, а *другие*, принадлежащие к тайной придворной хронике. Придворная жизнь, со *всеми* ее подробностями, была в глазах его высоким идеалом, к которому всем должно стремиться. Он же научил нас петь следующую песенку:

On parle de philosophic,
 On ne sait pas la definir,
 Mais la seule digne d'envie
 La mienne enfin – c'est de jouir,
 Sourire à l'aimable folie
 Pour mieux jouir être inconstant,
 C'est ainsi qu'on descend gaïement
 La fleuve de la vie.
 Les anciens sages de la Grèce
 N'étaient pas sages tous les jours,
 On a vu souvent leur sagesse
 Echouer auprès des amours.
 Sourire a l'aimable folie etc.^[19]

Вот в каких принципах воспитывалось русское дворянство. В этом случае я отдаю пальму Кессману: он по крайней мере дал моему уму более серьезное направление. Чего уж не преподавали в этой пресловутой гимназии! Даже психологию и римское право! Но все – ужасно поверхностно! Никто и ничему и не учился основательно. Это была фразеология, фантазмагория, *выливглазбросание* – словом – умственный разврат! Если не ошибаюсь, таков был дух всех *лицеев, школ, гимназий* того времени. Невольно подумаешь с Скалозубом, что уж лучше бы было учить там по нашему: раз-два, а книги сберечь для важных лишь okazji.

Приближалось светлое христово воскресенье. Вся природа воскресала. Теплый весенний воздух призывал к новой жизни и к тоске по родине. Прислали за мной Никифора привезти меня домой. Знаете ли что такое Хмельник? Тут была в старину турецкая крепость на пригорке, на берегу Буга. В 1823 еще видны были ее остатки. На месте крепости стоял довольно красивый господский дом. В нем жил отставной полковник Гофмейстер, управляющий имением графа Киселева. У него была жена и дети: мальчик лет девяти и девочка 12 или 13 лет – очень умная и очень недурная собою:

роскошные каштановые волосы упали на ее плечи, – голубые глаза, – греческий нос, – розовые щечки. Ее обыкновенно звали *Бетти*, а официально Елизаветою Михайловною.

Вот она-то предстала предо мною, как светлое видение, в незабвенный светлый праздник 1823 года. Мы не сказали ничего, но уж друг друга знали. Да и действительно так было. Кессман был теперь учителем в доме Гефмейстера. Драма нашей любви была им подготовлена – роли розданы и заучены. Все делалось буквально по Руссо. Едва ли кто теперь читает Новую Элоизу (*Nouvelle Heloise*), но если вы ее читали, то знаете, что там есть знаменитая сцена *первого поцелуя* в боскете. Вот эту-то сцену мы и скопировали. В один прекрасный майский день, часов около трех по-полудни, когда почтенные родители почивали, я пробрался заднею калиткою в сад управителя, перешел через деревянный мостик на Буге, повернул направо в рощицу. Там она ожидала меня с учителем. Учитель скрылся за деревьями – Бетти бросилась в мои объятия. – Все это было очень глупо, очень натянуто, смешно, – как хотите – но совершенно невинно. При этом она вручила мне письмецо с локоном ее волос и колечком. Долго, долго, почти до конца моего университетского курса я хранил это сокровище. Как и где они погибли, – не знаю, вероятно, они канули вместе с прочим в омуте петербургской жизни.

Сцена в рощице повторялась каждый день. Под-вечер я приходил в учебную комнату к концу уроков – маленького братца высылал вон, – учитель прятался за кулисы, и мы оставались с ней одни на несколько минут. – Бог мне свидетель! Никогда никакая дурная мысль не посещала меня в ее присутствии. Никакое облачко не помрачало этого ясного майского дня. Я приближался к ней с таким же благоговением, с каким у нас прикладываются к святым мощам и иконам...

«O, zarte Sehnsucht, süßes Hoffen
Der ersten Liebe gold'ne Zeit!
Das Auge sieht den Himmel offen
Es schwelgt das Herz in Seligkeit»^[20]

Я не могу не цитировать Шиллера, – его стихи вошли у меня в сок и кровь, перевились с моими нервами: словом вся жизнь моя сложилась из стихов Шиллера, особенно из двух поэм: «*Sehnsucht*» и «*Der Pilgrim*».^[21]

План жизни моей был готов. Я еду в университет, – оканчиваю курс, – получаю диплом, возвращаюсь в Хмельник и женюсь на ней. Каков план для сына русского майора, у которого за душой было около 60-ти душ в сельце Навольковом. Позняки тож! Ведь это хоть какому английскому лорду под руку! Но мы рассчитывали без хозяина. Роман наш продолжался три месяца и кончился самым трагическим образом. Родители Бетти как-то узнали о наших проделках, вероятно, маленький братец донес. Учителю отказали от дома. Он приготовился к отъезду. Вот тут влияние гимназии отозвалось на мне. Место бескорыстной самопожертвованной дружбы заступил какой-то холодный расчетливый эгоизм.

Как скоро я узнал, что Кессман попал в немилость, я охладел к нему. Я хотел быть порядочным человеком и стоять хорошо в глазах начальства. Я равнодушно смотрел на его приготовления к отъезду. Вот это-то равнодушие нанесло ему смертельный удар. Бедный Кессман! Не первый ты и не последний, что обманулся в русском юноше! Да где нам! Какого благородства от нас ожидать? Рабами мы родились, – рабами мы живем, – рабами и умрем. «Рабы, влачащие оковы, высоких песней не поют!»

За несколько дней до отъезда он попросил меня перевести ему на французский Тассовы «Ночи». Накануне отъезда, ввечеру он заперся в свою комнату, – хватил бутылку вина, – зарядил пистолет, приставил к груди и – прямо в сердце! Его нашли лежащим на полу, куски его сердца были разбросаны, подле него лежали Тассовы «Ночи», забрызганные его кровью. Мне не позволили видеть его труп. Священник отказался похоронить его на кладбище. Вот так его и зарыли в одном из курганов около Хмельника. Я ходил после на его могилу не то чтобы плакать, а так, чтобы совершить сантиментальный долг и покончить роман. Никто не мог совершенно объяснить, что его побудило к этому отчаянному поступку. – Думали, что он слишком был замешан в революционных проделках и не знал, куда деваться. – Так погиб несчастный Кессман. Не мне его судить. Он заронил искру, которая еще не погасла. Он навсегда предохранил меня от несчастья сделаться верноподданным русским чиновником Николаевского времени...

Вскоре после этого мы оставили Хмельник, и я расстался с нею навсегда. А что же случилось с Сверчевским, душевным приятелем Кессмана? Сверчевский? – Он моим же отцом расстрелян был в 1831 году, там, где-то недалеко от Липовца. А что ж делала в это время моя добрая маменька? Она оставалась тем, чем всегда была, – ангелом мира и жертвою искупления. Ее гостиная была в то время (1831) набита польскими дамами. Они со слезами, на коленях умоляли о пощаде отцу, мужу, сыну – но что же она могла сделать против железной русской судьбы, которой представителем был командир 2-го батальона?

Ну, что же? удалась ли система Руссо? и какой был ее последний вывод? – А вот посмотрим! В 1825 году я поехал в Петербург и попал там в странное общество – общество гвардейских подпрапорщиков, мелких чиновников, актеров, балетных танцоров, игроков, пьяниц, *Выжигиных* всякого рода – да что тут говорить о Выжигиных? Даже сам великий отец Выжигиных – Ф. В. Булгарин^[221] жил в одном со мною этаже в доме Струговщиковой, – хотя, впрочем, я не достиг до высокой чести, быть лично с ним знакомым. (Только за несколько дней до 14-го декабря я видел, как он из окна разговаривал с Федором Глинкою^[231], стоявшим на улице). – От этого нелепого общества я убежал в свой внутренний мир, в идеал, в Хмельник – к ней! Единственным утешением моим было читать «Новую Элоизу» Руссо... Да! Господа, смейтесь, сколько хотите: но все-таки согласитесь, что общество Сенпре, Юлии и лорда Эдуарда^[241] все-таки лучше семьи Выжигиных. В страницах Руссо я дышал свободнее, я очищался, умывался от грязи «Северной Пчелы» и других произведений той эпохи. Среда, в которой я жил,

проскользнула только снаружи, не коснувшись моей внутренней жизни: она меня спасла! Когда, наконец, в порыве благородного негодования, я прервал всякую связь с этим безобразным обществом и удалился в пустыню на пятый этаж в Гороховой улице, – она золотила мою темную конуру, ее светлый образ рисовался на стене, исписанной разными философскими изречениями. Когда я начал изучать Канта и в первый раз испытал упоение философского мышления (Der Wahn des Denkens), она улыбалась мне из-за философских проблем и благословляла меня на путь...

Aus der Wahrheit Feuerspiegel
Lächelt sie den Forscher an.
Zu der Tugend steilem Hügel
Leitet sie des Dulders Bahn.
(Шиллер)^[25].

Она участвовала во всех высоких помыслах, во всех благороднейших стремлениях души моей. Я перестал об ней думать – когда? – Когда, утомленный неравной борьбой с бедностью, я, очертя голову, бросился в казенные студенты и просто канул в грязную действительность... Но и тут еще раз она вспыхнула передо мною... Один из товарищей, знавший мою тайну, встретил ее где-то в петербургской гостинной. Она была в то время взрослою девицею во всем блеске юности и красоты – с тех пор я никогда уже об ней не слышал. «И на веки след ее исчез». И если теперь, когда я пишу эти строки, – при мысли об ней – слезы брызнули из глаз моих – кто дерзнет меня порицать?

Эпилог

В 1839 г., в один прекрасный летний день я проходил по одной из улиц города Литтиха (Liège) в Бельгии – в старом сюртуке, с бородою и длинными волосами, – я в то время был благочестивым Сен-Симонистом. Попадается мне навстречу человек с младенцем на руках. Малютка загляделся на меня, как на какое диво, и протянул ко мне обе ручки. Отец с досадою и довольно громко сказал: «Ne le regarde раз, mon enfant! C'est un fou»^[26]. Может быть, любезный племянник, прочитавши эти записки, вы согласитесь с мнением этого почтенного гражданина гор. Литтиха!

Мать и отец

Любезнейший племянник Савва Федосеевич!

Вы сами приглашаете меня продолжать мои записки. У меня к этому есть сильное побуждение. Жизнь быстро улетает. Мне хочется оставить по себе хоть какой-нибудь след. Может быть, когда меня не будет на свете, кто-нибудь случайно прочтет эти строки и, если у него есть человеческое сердце, он пожалеет обо мне и скажет: «Этот человек достоин был лучшей участи».

При жизни батюшки^[27] не ловко было писать о тех обстоятельствах, в которых заключается тайна моей жизни и без которых она осталась бы необъяснимою загадкою. Теперь надобно возвратиться назад, в Одессу, в 1815 г. Я остановился на этих словах: «С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становлюсь посредником между тиранами и их жертвами». Теперь продолжаю:

По благому русскому обычаю, отец мой, разумеется, сек своих дворовых людей. Еще теперь слышу их вопли, как их драли, в конюшне. Мать подсылала меня к отцу ходатайствовать за Ваську или Яшку. Я плакал, умолял, целовал руки у отца, и иногда мне удавалось смягчить суровость русской судьбы... Но и мать моя сама была жертвою... Однажды она взяла меня за руку, повела в уголок и поставила на колени подле себя перед образом св. Николая и со слезами сказала: «О, св. Николай! ты видишь, как несправедливо с нами поступают!» Между тем, в ближней комнате шла вечеринка. Песенники пели с кубнами и тарелками модную в то время песню:

«Посреди войны кровавой
Истреблю тебя, любовь!
Разорву твой плен суровый
И свободен буду вновь!»

Но царицею этого праздника была не мать моя, а *другая*... Эта *другая* – была жена нашего полковника, хитрая и красивая полька, с которою отец имел почти открытую связь... Тут я бросаю перо и невольно задумываюсь.

Вот где узел моей жизни! Вот таинство судьбы! Вот греческая трагедия! Вот Орест, отмещающий за обиду не отца, а матери! Думала ли маменька, какое впечатление слова ее оставят на мне? Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство *мести* овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание *отделиться* от родительского дома, искать счастья где-нибудь в другом, месте?

Мне было 12 лет в 1819 г., в Дорогобуже. – Я решил бежать во Францию. Какой-то офицер был женат на француженке, и они собирались ехать за границу. В день их отъезда я вышел за ворота и поджидал их. Как только они подъедут, – думал я – я брошусь к их экипажу и плачевным голосом скажу: «Je suis un pauvre petit enfant – je veux aller en France – prenez moi avec vous!»^[28]

Но никакой экипаж не проезжал, а далее ворот итти храбрости не стало. Но откуда же взялось это желание бежать во Францию? Неужели же от влияния французской литературы? Посмотрим.

Я начал учиться по-французски в 1817 г. (т. е. мне было 10 лет) у учителя народного училища в Велиже Витебской губернии. Первую французскую книгу я получил от одного из наших офицеров – это был роман *Радклиф* «La forêt». Потом дядя, Василий Петрович Симоновский, прислал мне «Magazin des enfants», который я изучил с величайшим наслаждением. В Дорогобуже я читал Телемака и переводил его для маменьки. Тут же я читал трагедии

Расина и сам разыгрывал их на уединенной сцене»^[29]. Неужели же эта литература могла иметь такое чрезвычайное влияние? Правда, с самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам – какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду. Правда и то, что в Дорогобуже это стремление было решительно к Франции. Всего забавнее, что в день рождества Христова, когда с коленопреклонением торжествовали избавление России от *Галлов и с ними двадцати язык*, – я про себя молился за французов и просил бога простить им, если они заблуждались! – Как трудно следить за этими тонкими нитями жизни! Какая тайна – развитие человеческого растения! Почему это семя пустило корни в таком, а не в другом направлении? Зачем же оно не раскинулось шире и роскошнее? Зачем такие бледные цветы, такие тощие плоды? А ведь стремление соков, желание развития было великое! Недоставало, может быть, воздуха, солнца и благотворного дождя. Русская зима все убила на корню! О ты, который читаешь эти строки, помни, что они написаны кровью моего сердца!

1823–1825

После смерти Кессмана отец мой, не знаю, как это сказать, почти меня возненавидел. Он считал меня способным ко всему дурному. Это можно некоторым образом объяснить насильственной смертью моего учителя и либеральными принципами, которые он мне внушил. Но были и другие причины. Около этого времени мать моя перехватила любовное письмо от вышеупомянутой полковницы Мольтрах к моему отцу и сама взялась на него отвечать, а меня заставила переписать на бело. Вероятно – это каким-нибудь образом дошло до сведения отца и, разумеется, – не улучшило наших взаимных отношений. 2-ой батальон был отделен от полка и послан на военное поселение в Новомиргород Херсонской губернии, а зиму мы провели в какой-то Комиссаровке, где нас буквально занесло снегом. Я остался один, без дружбы и любви. Мой ум принял серьезное направление. К счастью, я выучился по-латыни в гимназии, а из библиотеки дедушки Симоновского взял книгу – «*Selectae Historiae*»^[30]. Это было не что иное, как собрание изречений знаменитейших философов древности, особенно стоической школы. Читая и перечитывая эту книгу, я пришел к заключению, что внутренняя доблесть и независимость духа прекраснее всего на свете – выше науки и искусства, лучше всего блеска, богатства и почестей, и я сделался стоическим философом. Я и теперь думаю, что это единственная философская система, возможная в деспотической стране. Все великие римляне, во время Империи, были стойками.

Но у нас между офицерами ходили по рукам и другие книги, напр. «Сочинения Вольтера, переведенные на российский язык по приказанию ее императорского величества Екатерины 2-ой». Вот как в старину просвещали Россию! – Каждое животное по инстинкту находит на пастбище пищу, свойственную его желудку. Вот так и я по какому-то инстинкту попал на статью Вольтера о *Квакерах*, где он описывает их житье-бытье и восхваляет

их добродетельные нравы. Я так воспламенился любовью к квакерам, что тут же брякнул по-французски письмо в Филадельфию к обществу квакеров, прося их принять меня в сочлены и прислать мне на это диплом, а также квакерскую мантию и шляпу!!! Какова штука? Вы смеетесь? «Какая колоссальная Глупость!» А мне так плакать хочется. Ведь это просто показывает, что русский человек бьется, как рыба на мели, не знает, куда ударить головою.

Как же я проводил время в этой Комиссаровской пустыне? А вот как. Одним моим утешением был – географический атлас. Бывало по целым часам сижу в безмолвном созерцании над картою Европы. Вот Франция, Бельгия, Швейцария, Англия! Воображение наполняло жизнью эти разноцветные четырехугольники и кружки – эти миры, департаменты, кантоны. «Ach, wie schon muss sich's ergehen dort, im ew'gen Sonnenschein!»^[31], а сердце на крылах пламенного желания летело в эти блаженные страны, и Шиллерово Sehnsucht переливалось в русские стихи: «Ах, из сей долины тесной, холодной покрытой мглой, где найду исход чудесный? Сладкий где найду покой?»

Так проходили дни, а по вечерам повторялась одна и та же скучная история. В седьмом часу приходил ординарец, или как его звали, и рапортует: «Ваше высокоблагородие! все обстоит благополучно, нового ничего нет», потом полоборота направо и марш. Остаются действующие лица: отец, адъютант и я. Отец ходит взад и вперед по комнате, адъютант стоит в почтительном расстоянии у дверей и не смеет садиться, я сижу на скамье. Переливается из пустого в порожнее. Да о чем же говорить в этой глуши, где не было ни журналов, ни газет, ни каких-либо книг, кроме вышереченных? Сколько тут накопилось скуки, досады, грусти, отчаяния, ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России? Да из-за чего же было мне любить Россию? У меня не было ни кола, ни двора – я был номадом, я кочевал в Херсонской степи, – не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний, – родина была для меня просто тюрьмою, без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом. Неудивительно, что впоследствии, когда я выучился по-английски, Байрон сделался моим задушевным поэтом. Я напал на него, как голодный человек на обильную пищу. Ах! как она была мне по вкусу! Как я упивался его ненавистью! Как я читал и перечитывал его знаменитое прощание Англии: «Adieu, adieu my native shore!»^[32] Как часто я говорил с ним: «О быстрый мой корабль! носи меня, куда хочешь, но только не назад на родину!» Неудивительно, что в припадке этого байронизма, я написал (в Берлине) эти безумные строки:

Как сладостно – отчизну ненавидеть,
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение!

Вот молодой человек 18-ти лет, с дарованиями, с высокими

стремлениями, с жадью знания, и вот он послан на заточение в Комиссаровскую пустыню, один, без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни, без малейшей надежды в будущем! Ужасное положение! А вот вам и другая картина!

В Англии, в Америке – молодой человек 18 лет, преждевременно возмужалый под закалом свободы, уже занимает значительное место среди своих сограждан. Родился он, хоть в какой-нибудь Калифорнии или Орегоне, – все ж у него под рукою все подспорье цивилизации. Все пути ему открыты: наука, искусство, промышленность, торговля, земледелие и, наконец, политическая жизнь с ее славными борьбами и высокими наградами, – выбирай, что хочешь! нет преграды. Даже самый ленивый и бездарный юноша не может не развиваться, когда кипучая деятельность целого народа беспрестанно ему кричит: вперед go ahead! Он начинает дровосеком в своей деревушке и оканчивает президентом в Вашингтоне! А я – в 18 лет едва-едва прозябал, как былинка, – кое-как пробивался из тьмы на божий свет, но и тут, едва я подымал голову, меня ошеломляли из русского дубиную.

Моя судьба висела на волоске. Не будь мать, которая непременно хотела мне дать наилучшее воспитание, отец давно уж бы записал меня в военную службу, а там я уж несомненно бы погиб и физически и нравственно. Я все просился в университет. Отец однажды сказал мне: «Вот я тебе дам 500 рублей, поезжай в Харьков и купи себе диплом». Боже милосердный! Можете себе представить, с каким негодованием я принял это предложение. Я не диплома искал, а науки.

Но как же это рисует русские нравы, русский взгляд на вещи! В других странах стараются развить *человека*, а у нас об одном хлопчут – как бы сделать *чиновника*, а после этого хоть трава не расти. Вечное правосудие! Я предстану перед твоим престолом и спрошу тебя: «Зачем же так несправедливо со мною поступлено? За что же меня сослали в Сибирь с самого детства? Зачем убили цвет моей юности в Херсонской степи и Петербургской кордегардии? За что? За какие грехи?» Безумие! Фразы! Риторика! На кого тут жаловаться? Тут никто не виноват. Тут просто исполняется вечный и непреложный закон природы, перед которым все одинаково должны преклонять голову. Никому нет привилегии. Попал под закон – ну так и неси последствия. Это – закон географической широты. Жалоба моя так же основательна, как если б какая-нибудь русская елка или березка, выросшая под Архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом под небом Сицилии!

В Новомиргороде случилось событие. Боже мой! от каких безделиц зависит судьба человека! И как осторожны должны быть отцы семейств в своих словах и действиях. Однажды – в соседней комнате, за тонкою перегородкою, я слышал разговор отца с матерью. Я вовсе не хотел подслушивать, но мне невозможно было не слышать. Мать жаловалась, что

какие-то серебряные ложки пропали, – нигде не можно их найти. Отец тотчас же подхватил: «А кто знает, может быть, они понадобились Владимиру Сергеевичу для его мелких издержек». Мать так и ахнула от ужаса. «Как же возможно говорить подобные вещи!» – сказала она. Действительно, это были слова *ужасающего* легкомыслия, чтобы не сказать чего-нибудь похуже. – Подобные обиды не прощаются. После этого уж никакое примирение не было возможно. Первая мысль моя была – тотчас же бежать, – бежать? Но куда? Как? Из России-то бежать? Да еще из Херсонской губернии? Вторая мысль: я торжественно поклялся, что, если когда-либо выеду из родительского дома, то никогда, ни под каким предлогом, в него не возвращусь. Теперь этому почти 42 года прошло, и вы видите, как славно я сдержал свое слово!

Наконец, настал благословенный 1825 год. Дядя Ильин вызвал меня в Петербург. Ужасно холодно и натянато было мое прощание с отцом. Выходя из ворот, лошади каким-то странным образом попятились. Никифор тотчас же заметил: «Это значит, что он не воротится назад!» Говорите же теперь против народных поверий! Маменька провожала меня до Олишевки, где жил дядя Шрамченко. С горькими слезами я простился с нею и, разумеется, навсегда!

Прошло 10 лет. Я возвращался из Берлина в Россию с отчаянием в душе и с твердым намерением уехать за границу при первом благоприятном случае. Как меня ожидали в Одессе! После десятилетней разлуки приятно было родителям увидеть сына, так хорошо окончившего свое учебное поприще: окончив с успехом курс в университете, я побывал за границею и теперь ехал в Москву на место профессора с отличным жалованием. Чего бы, кажется, лучше желать по русским понятиям? Вот так меня с нетерпением ожидали к летним ваканциям (1836). Но когда я подумал, что надобно возвратиться в прежний домашний быт, увидеть всю обстановку провинциальной русской жизни, – передо мною поднялась высокая непреодолимая стена – невозможно! Невозможно! Невозможно! Одно меня смущало: я знал, что это нанесет жестокий удар сердцу матери... но и в этой борьбе я одолел! Надобно было обмануть родителей! Я написал к ним, что необходимые дела призывают меня в Берлин, но что я заеду к ним на обратном пути через Вену.

Надобно было также провести начальство, Я подал просьбу об отпуске в Берлин «для свидания с одним семейством, с которым я связан тесными узами». Из этого тотчас заключили, что я намерен жениться^[33]. Благодушный попечитель, граф Строганов^[34], потирая руками, сказал профессорам: «Я этому очень рад, это его успокоит и сделает более оседлым». А Каченовский тут же в университете, смеясь, сказал мне: «ведь это что-то вроде Ломоносова». В день заседания Университетского Совета по поводу моей просьбы, я был бледен, как полотно, – мне почти сделалось дурно, – я должен был спросить у сторожа стакан воды. Действительно, для меня это был вопрос жизни и смерти... Но все кончилось благополучно, и в половине мая 1836 я выехал из ненавистной мне Москвы.

В январе следующего года (1837) я получил в Цюрихе письмо от гр. Строганова, которое доселе храню, как памятник благороднейшего и честнейшего человека. Я со временем его вам перешлю. В 1838 году я

странствовал по Франции. На мне всего была одна рубашка и изношенная блуза, а в кармане пол-франка. При мне было письмо Строганова. Но, несмотря на мое крайнее положение, я никогда ни на одну минуту не имел поползновения воспользоваться этим письмом, которое давало мне кредит на 1000 франков в любом русском посольстве. Такова была моя непреклонная воля не возвращаться в Россию! Вот так-то я потерял все, чем человек дорожит в жизни: отечество, семейство, состояние, гражданские права, положение в обществе – все, все! Но зато я сохранил достоинство человека и независимость духа. Смотрю назад – и мне кажется, что я не могу найти в моей жизни ни одного поступка, сделанного из каких-либо корыстных видов. Я просто донкихотствовал; я вечно воевал из-за идеи, точь-в-точь, как Наполеон III, с тем только различием, что я не приобрел ни Савойи, ни Ниццы^[35]. Этим я оканчиваю сказание о моей жизни в России, «где я страдал, где я любил, где счастье я похоронил» (Пушкин).

Эпизод из петербургской жизни (1830–1833).

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
Пушкин.*

Бури улеглись – настала какая-то глупая тишина – точно штиль на море. В воздухе было ужасно душно, все клонило ко сну. Я действительно начинал уже дремать. Мне грезились какой-то вздор, какое-то *счастье*: жить в уединении с греками и латинами и ни о чем более не заботиться... Вдруг блеснула молния, раздался громовой удар, разразилась гроза июльской революции... Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Слово дух святой низошел на них. Начали говорить новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и пр. и пр. Да чего тут еще не говорили... И мы этому добродушно верили. Sancta simplicitas!^[36]

С тех пор я уже более не засыпал... Ах, нет! виноват, грешный человек! *Я проспал двадцать лучших лет моей жизни* (1840–1860). Да что же тут удивительного! Ведь это не редкая вещь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты! Я и то и другое сделал: и *проспал*, и *проигрался вух*.

Но *в то время* случилось обстоятельство, надолго помешавшее мне заснуть. Попечитель Бороздин^[37] позвал меня к себе. «Вот видите, в чем дело. Барон Розенкамф^[38] занимается изданием *Кормчей Книги*. Ему надо разобрать и частию переписать греческую рукопись Номоканона. Вы можете ему помочь в этом Я освобождаю вас от некоторых лекций, а именно от лекций Зябловского». – Зябловский был скучный и бездарный профессор довольно скучного предмета: *тогдашней* русской статистики. За то он уж и отомстил мне на экзамене, поставив мне 3 вместо ожидаемых 4. Но, разумеется, высшее начальство поправило эту ошибку, и я выдержал кандидатский экзамен на славу.

Где-то, кажется на Садовой, был большой деревянный дом довольно ветхой наружности. Тут жил барон Розенкампф.

Каждое утро, в 8-м или 9-м часу, я являлся в его кабинет и садился за свою работу. Это была прекрасная рукопись X-го или XI-го века из Публичной библиотеки. Сколько я над нею промечтал! Я воображал себе бедного византийского монаха в черной рясе, – с каким усердием он выполировал и разграфил этот пергамент. С какою любовью он рисует эти строки и буквы! А между тем вокруг него кипит бестолковая жизнь Византии, доносчики и шпионы снуют взад и вперед; разыгрываются всевозможные козни и интриги придворных евнухов, генералов и иерархов; народ, за неимением лучшего упражнения, тешится на ристалищах; а он, труженик, сидит да пишет... «Вот, думал я, – вот единственное убежище от деспотизма: запереться в какой-нибудь келье да разбирать старые рукописи».

Около 4-го часу приходил старый, белый как лунь, парикмахер и окостеневшими пальцами причесывал и завивал поседевшие кудри барона. После этого туалета барон вставал, брал меня за руку, и мы отправлялись на половину баронессы к обеду.

Баронесса Розенкампф была женщина лет за сорок и более. Она была очень бледна, и какое-то облако грусти висело на ее челе; но видны были еще следы прежней красоты. Она, говорят, блистала при дворе Александра I. Барон занимал важное место: он, кажется, был председателем законодательной комиссии. Но с воцарением Николая они попали в немилость и теперь жили в уединении, оставленные и забытые прежними друзьями и знакомыми. Так, разумеется, и быть должно. В гостиной стоял великолепный рояль под зеленым чехлом, но баронесса никогда до него не дотрагивалась. На стенах были развешены произведения ее кисти, картины, бывшие некогда на выставке (между прочим я помню один прекрасный Francesco d'Assisi;^[39]); но эти картины были задернуты каким-то траурным крепом. Баронесса все оставила, все забыла, и живопись, и музыку. Она не любила даже смотреть на эти предметы, напоминавшие ей лучшее былое. Ее гордая душа вполне понимала смысл этих слов Данта: ничего нет больнее, как в бедствии вспоминать о счастливом времени.

В этом опальном доме господствовала оппозиция. Все действия нового правительства были беспощадно порицаемы. Когда мы читали в «Journal des Debats»^[40] о первых неудачах русского оружия в Польше, барон качал головою и говорил: «Вот видите, так и выходит, что Гораций сказал правду: сила, без руководства разума, рушится от собственной тяжести!»

Редко кто заходил в этот *забвенью брошенный дом*, разве только иногда зайдет А. Х. Востоков^[41], по каким-нибудь справкам для Кормчей книги. Только однажды, я помню, было нечто в роде званого обеда. Приглашены были старью друзья барона: пастор английской церкви, доктор Ло, португальский консул, да еще кто-то третий. По этому случаю баронесса немножко принарядилась, поддурманилась, ее бледные щеки оживились, она была очень мила, так что я почти в нее влюбился. Надо знать, что, в качестве петербургского юноши, я считал своим священным долгом влюбляться во

всякую сколько-нибудь пригожую женщину... А она меня действительно полюбила чистейшею материнскою любовью. Она усердно принялась за мое воспитание. «Ах! как жалко, говорила она, как жалко, что в Петербурге нет средств для развития молодого человека!»

Я этим ужасно как обиделся. Мне казалось, что мы с нашим академиком Грефе^[42] звезды с неба снимаем. А теперь, как подумаешь, так самому становится стыдно. Когда теперь припоминаю тогдашний Петербургский университет, то так и руки опускаются. Ведь, действительно, никакое самостоятельное развитие не было возможно. В преподавании не было ничего *серьезного*: оно было ужасно поверхностно, мелко, пошло. Студенты заучивали тетрадки профессоров, да и сам профессор преподавал по тетрадкам, им же зазубренным во время оно. Да и теперь, по слухам до меня дошедшим, немного лучше. Да что ж это за напасть такая, что нам наука вовсе не дается? А вот в чем загадка: *законодательствуйте, сколько хотите, но ничто вам не пойдет в прок, если вы идете наперекор народному духу*. Для русского свежего практического народа надо бы преподавание ограничить предметами первой необходимости, практически-полезными для государственной жизни, напр, восточными языками, науками физико-математическими, медициною и чем еще? Юриспруденциею? Ну, тут, кажется, надо еще немножко подождать, когда у нас будут законы, а то из чего же тут хлопотать? Какое тут законоведение, когда вы не уверены, что вчерашний закон не будет завтра же отменен?... А древние-то языки уж и подавно нам не дались. И неудивительно! Россия вместе с Соединенными Штатами начинает новый цикл в истории; так из чего же ей, с особенным *терпением и любовью*, рыться в каких-нибудь греческих, римских, вавилонских или ниневийских развалинах! Она, пожалуй, сама сумеет подготовить материалы для будущих археологов и филологов. Понятен энтузиазм к древним классикам в начале 16 го столетия, когда Европа, выходя из средневекового хаоса, не видела перед собою другой путеводной звезды, кроме греческой и римской цивилизации.

Это невольно напоминает мне курьезный совет, данный мне покойным Н. И. Гречем^[43], когда я зашел к нему проститься перед отъездом за границу. «Да из чего же это вы едете учиться за-границу? Ведь когда нам понадобится немецкая наука, то мы свежего немца выпишем из Германии; а вы так лучше оставайтесь здесь, да и займитесь русскою словесностью». Что я не последовал совету Н. И. Греча, в этом, конечно, русская словесность ничего не потеряла; но все же таки не могу не сознаться, что в словах его была доля правды, если под немецкою наукою он разумел классическую филологию.

Но это мимоходом. Баронесса Розенкамф принадлежала к чисто романтической школе, и ее идолом был Гете. У нее была прекрасная немецкая библиотека. «Вот вам Wilhelm Meisters Lehrjahre^[44], сказала она однажды: читайте со вниманием. Уверю вас, что нет лучшей книги для окончательного развития молодого человека». Тут невольно улыбнешься. Wilhelm Meisters Lehrjahre действительно могут развить в молодом человеке – совершеннейшего эгоиста. Да впрочем и сам Гете – не тем он будь помянут – был величайший эгоист.

«Да умный человек не может быть не плугом».

Прошел год или два, барон окончил Кормчую Книгу и написал к ней немецкое предисловие, где упомянул о моем сотрудничестве, и потом, как добрый работник,

Кончив тяжкую работу
Многотрудной жизни сей,

он слег отдохнуть, захворал и отошел на покой. Я проводил его на Невское кладбище. Поверите ли? В доме не нашлось *ста* бумажных рублей для его похорон. Деньги выдали, кажется, из министерства народного просвещения, по ходатайству старика Языкова. Баронесса распродала библиотеку покойника и лучшую часть своей мебели, а из последних денег еще дала, по обычаю, обед духовенству и некоторым знакомым. После этого она переехала на маленькую квартиру в другой части города.

А я между тем поступил на службу. Меня сделали лектором и суб-библиотекарем при университете и старшим учителем в 1-й гимназии. Началась жизнь петербургского чиновника. Я усердно посещал маленькие балики у чиновников-немцев, волочился за барышнями, писал какие-то стишки и статейки в «Сыне Отечества»; но что еще хуже – я сделался ужасным любимцем товарища министра просвещения С. С. Уварова^[45], вследствие каких-то переводов из греческой антологии, напечатанных в каком-то альманахе. Я начал просто ездить к нему на поклон, даже на дачу. Благородные внушения баронессы Розенкампф изглаживались мало-по-малу. Раболопная русская натура брала свое. Я стоял на краю зияющей пропасти.

К счастью, в одно прекрасное утро, 19 февраля 1833 г, очень рано, министр Ливен^[46] прислал за мною и, сделав мне благочестивое увещание в пиетическом стиле, отправил меня в Берлин, где и поручил меня благим попечениям отъявленного пиетиста, профессора Кранихфельда^[47], главы берлинских пиетистов.

Разумеется, нога моя никогда не была у Кранихфельда. Некоторые из товарищей нашли нужным, ради приличия, сделать ему визит; но я настоял на своем и тотчас же написал отчаянное письмо к академику Грефе, а через него к Уварову, что вот так и так, нас членов профессорского института, будущих профессоров России, отдали под присмотр какому-то берлинскому ханже, который шпионствует за нами даже на наших квартирах и пр. и пр. Письмо мое имело отличный успех. К этому времени Ливен вышел в отставку, а на место его сделался министром Уваров. Кранихфельда тотчас же отставили от должности и за это ему дали Владимира, а нас из духовного ведомства перевели в военное, т. е. отдали под надзор честнейшему и благороднейшему человеку, военному агенту генералу Мансурову^[48].

Перед отъездом в Берлин я зашел проститься с баронессою. Она теснилась в маленькой квартирке, но и тут ее отличный вкус и женский такт удачно сгруппировали остатки прекрасной мебели, обставив их разными милыми мелочами и роскошными цветами, так что ее гостиная представляла вид изящного будуара. Она очень похудела, стала еще бледнее, но ее потускневшие глаза засверкали какою-то материнскою радостью, когда она узнала о моем отъезде за-границу. С каким жарким участием она меня благословила на новый путь, на новый подвиг! Я в последний раз поцеловал ее руку.

Через два года, в 1835 г., я возвратился в Петербург, с какою неизлечимою тоскою в сердце, с какими отчаянными планами для будущего, – не здесь место об этом говорить. Иду по Невскому проспекту – попадаетея мне на встречу камердинер баронши.

– Ах, батюшка, Владимир Сергеевич! Не можете ли найти мне какого-нибудь места!

– Как места? Да разве ты не у баронши?

– Какая тут баронша! – *Она умерла с голоду!*

Где ее похоронили? Есть ли над нею какой-нибудь памятник? Помнит ли ее кто-нибудь из родных и знакомых? – Не знаю! Но мне ее не забыть! Я не могу ей соорудить памятника; но Пусть же хоть *эта* одна слеза благодарности канет на ее одинокую могилу! Вечная память незабвенной и несчастной баронессе Розенкампф, урожденной Баламберг! -----

ОГЛАВЛЕНИЕ всех отрывков, уже напечатанных и предполагаемых к печати

Введение

Замогильные записки

1812 год. Первые воспоминания

1815. Одесса в казармах

Мой Роман

Мать и отец

1823–1825

Эпизод из петербургской жизни (1830–1833). НАПЕЧАТАНЫ ВЫШЕ

Бегство из Цюриха

Путешествие в Мец и следующие за тем события

Несколько дней до пребывания в Цюрихе

Путешествие из Меца в Льеж (по нашему Литтих).

Льеж (Liège)

Апостол Коммунизма и «Conspiration de Baboeuf».

Сказание о Капитане Файоте и его Камердинере

Макналли и К° (иллюстрированное издание).

Перелом

Из рук вон! Пред расставаньем вернемся назад.

Фурдрен — Лекуант — Потоцкий.

Легенда о монахе и бесе (Из Четьи-Минеи)

Жорж Занд. — Мишле. — Religion saintsimonienne.

Страх России — роман жизни

Пустыня и воля

Льеж (1838–1840)

Блаженни алчущие и жаждущие правды...

Льеж (1840)

Принятие в орден редемптористов

Новициат (1840–1841)

Римский папа и русский генерал фон-Берг

Первая проповедь

Переезд в Англию (1844–1845)

Фальмут (1845–1848)

Лондон От мая до августа 1848.

Указатель имен. Примечания ...

У. ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Н. И. КАЛЯГИН

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

(к 175-летию Аполлона Григорьева)

Статья из журнала «Русское самосознание»

1997 г.

Аполлон Григорьев

Родился 16 июля 1822 г., Москва

Умер 25 сентября 1864 г. (42 года), Санкт-Петербург



ПРИЛОЖЕНИЕ

Великий трагик

(очерк)

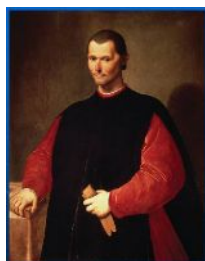
Родился 1 января 1829 г.

Умер 31 декабря 1915 г. (86 лет)



А. В. ОСИПОВ

Стратегическая диффамационная атака



Герои предшествующей публикации:

ДИФФАМАЦИЯ

Никкóло **Макиавéлли** (Макьявелли (Niccolò di Bernardo dei **Machiavelli**, 1469, Флоренция –1527, там же).. Писатель и философ. Занимал во Флоренции пост государственного секретаря



Фрэнсис Бэкон (**Francis Bacon**, 1561 - 1626) – английский философ, историк, политик, основоположник эмпиризма и английского материализма.

Николай Калягин

Последний романтик

Григорьевский юбилей собрал сегодня членов Русского Философского Общества, стал темой отдельного заседания – и этот факт требует осмысления. Аполлон Григорьев не был философом; без особой натяжки можно утверждать, что основной пафос его литературной деятельности – антисистемный (если не впрямую антитеоретический) пафос.

Отдельной статьи о Григорьеве нет ни в советском Философском энциклопедическом словаре, ни в антисоветской «Истории русской философии» Н. О. Лосского. Попытку включить Григорьева в обиход русских философов предпринял В. В. Зеньковский, но особенно удачной эту попытку не назовешь. Зеньковский и с общедоступными фактами григорьевской биографии знаком нетвердо (называет Аполлона Александровича, который был все-таки внуком крепостного кучера, выходцем из «небогатой, но культурной семьи»; относит его личную драму, случившуюся в первой половине 40-х годов, ко второй половине годов 50-х, даже посылает зачем-то Григорьева умирать в Оренбург), и в размашистых обобщениях своих достаточно опрометчив.

Главной особенностью Григорьева-мыслителя является родственность его аналитических статей художественному творчеству. «Григорьев был бесспорный и страстный поэт», – указывал Достоевский, имея в виду при этом вовсе не стихи Аполлона Григорьева. Систематическое изложение взглядов Григорьева является поэтому делом рискованным. Художественное произведение защищено единством содержания и формы; вы можете пере-сказать его своими словами, сохранить все содержательные элементы, описать все формообразующие конструкции – и при этом не дать о произведении ни малейшего представления. И чем художественнее произведение, тем рискованнее попытка сделать из него экстракт, выжимку.

«Высшей точкой эстетического гуманизма» называет Зеньковский взгляды Григорьева, и эта формулировка, в целом правдоподобная, требует многочисленных уточнений.

Эстетом Григорьев не был. Хотя он обладал от природы громадным эстетическим чутьем, но не считал жизнь чем-то второстепенным, чем-то служебным по отношению к искусству. Гуманность же Григорьева обладала существенным изъяном: знатных людей он не любил и, написав в одном из ранних стихотворений:

*...То, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь Сам Бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья, –*

сохранял эту странную антипатию к высшим классам русского общества до могилы.

Так что, уточняя Зеньковского, следовало бы признать взгляды Григорьева «высшей точкой художественного демократизма», если бы, конечно, нашлась История философии, способная выдержать такое сближение антиномичных понятий, и если бы сам Григорьев не боролся всю жизнь как против демократических, так и против эстетических притязаний современной ему общественной мысли.

В контексте разговора о Григорьеве, мастере тончайших определений и создателе собственной уникальной терминологии, инструментарий Зеньковского не только выглядит топорно, но и просто не охватывает интересующее нас явление во всей его сложности.

В последней своей статье, статье-завещании, Григорьев пишет, обращаясь к Достоевскому: «Знаешь ли, что я подчас дорого бы дал за наивную веру теоретиков в непогрешимость логических выкладок голого ума? Живется с теориями гораздо спокойнее и даже мыслится легче <...> – разумеется, в пределах той ограды, которую ставит теория. Что такое жизнь и ее явления для теоретика? Лезут под теорию – прекрасно; не лезут – режь или растягивай: “секи-рубь”, как говорят мои старые приятели-цыгане, стреножа лошадей и долотом передельвая им зубы из старых на молодые».

Впрочем, еще Мефистофель любил потолковать о превосходстве вечно-зеленой жизни над сухой теорией – было бы неосторожно верить на слово черту. Всем нам более или менее понятно, что поэтическое желание Фета: *«О, если б без слова //Сказатья душе было можно!»* – не будет никогда реализовано на практике, а значит без слов, без логической связи между ними – одним словом, без теоретизирования – людям на земле не обойтись.

Формула, которую предлагает Григорьев и которая должна, по его мысли, расширить (если не вовсе упразднить) ограду старых теорий, звучит так: «Не один ум с его логическими требованиями и порождаемыми необходимо этими требованиями теориями, а ум и логические его требования *плюс* жизнь и ее органические проявления».

Слово «жизнь» – ключевое слово в мировоззрении Аполлона Григорьева. Он просто зачарован жизнью – таинственной и неисчерпаемой жизнью, которая производит, которая рождает «организмы». Не только в индивидуальной, биологической жизни, но и в жизни социальной Григорьев на каждом шагу обнаруживает «организмы». Для него и народ не собирательное понятие, а организм, и сословия в государстве – организмы, и даже культурная эпоха в исторической жизни народа – живой организм.

Взгляд на жизнь, по Григорьеву, не должен быть ни теоретическим, ни эстетическим, ни историческим (эти важные для Григорьева определения будут уточнены позже). Взгляд на жизнь, творящую организмы, может быть только органическим, имеющим исходной точкой «творческие, непосредственные, природные жизненные силы».

Но и сама-то жизнь, по Григорьеву, «есть нечто таинственное и неисчерпаемое» – что же говорить про вполне неисповедимые «жизненные

силы)? Никакой логике, никакому учету и контролю эти силы не поддаются, а игнорировать их мы не можем, – иначе наши представления о жизни сведутся к сочинению очередной теории, фактически же – к скоплению и умерщвлению таинственной, неисчерпаемой жизни. Получается, что истина в чистом виде, абстрактная истина для нас недоступна, – мы можем усвоить только истину «цветную» (один из странных григорьевских терминов – «цветная истина»). Выражением «цветной истины» может быть только искусство и только национальное искусство (искусство, по Григорьеву, необходимо национально и даже местно). Талантливый писатель, являющийся стихийным отзвуком органических сил, присущих его народу и его местности, неизбежно отразит в своем творчестве какую-нибудь неизвестную еще сторону национально-органической жизни: скажет «новое слово».

Таков конечный пункт григорьевской философии: художник, шагающий по высям творения, получающий откровение (а что другое может означать слово «талант?»), приносящий людям истину – «новое слово».

Конечно, это философский романтизм, что во времена Григорьева было уже очень не ново. Сам Григорьев называл себя, не без гордости, последним романтиком.

Здесь необходимо принять во внимание важное добавочное обстоятельство: под влиянием Аполлона Григорьева настоящий культ «нового слова» исповедовал Достоевский. Рабочие тетради Достоевского, его статьи и заметки о литературе заполнены лихорадочными размышлениями на эту тему, каждый крупный писатель в России, от Ломоносова до Льва Толстого, рассматривается именно под этим углом зрения: а сказал ли он «новое слово»? явился ли подлинно великим национальным художником, который ведь обязан приходить в литературу со своим «новым словом»? И главное, Достоевский мечтал сказать новое слово в собственном творчестве, искал его с мучительным напряжением и в конце концов отыскал. «При полном реализме найти в человеке человека» – та магическая формула, тот «сезам», который позволил Достоевскому совершить выдающиеся художественные открытия.

Поэтому, оценивая на вес теорию Григорьева, в плане теоретическом весьма запоздалую, следует учитывать и вот этот практический привесок к ней – пять романов Достоевского, ставших действительно новым словом для России и для всего мира.

В устах какого-нибудь кабинетного ученого выражение «новое слово» явилось бы простой комбинацией из двух слов, но в руках такого практика, каким был литературный критик Григорьев, самые стертые слова могли становиться (и становились) реальной силой, преобразующей мир.

Григорьев следил за творчеством Достоевского и, дождавшись появления «Записок из подполья», успел сказать их автору: «Ты в этом роде и пиши», успел сообщить Страхову, что «Федор-то Достоевский» становится кое в чем «и глубже и симпатичнее» самого Гоголя, – стоя одной ногой в могиле, Григорьев успел это сделать. Трудно выразить словами, насколько важно

было для писателя, уже немолодого, мало избалованного жизнью и вниманием критики, оказавшегося на распутье, готового, но не осмеливающегося вступить в ту область, которая до него считалась запретной, непригодной для художественной обработки, – получить поддержку своим интуитивным стремлениям, услышать вовремя сказанное авторитетное, квалифицированное ободряющее слово! Достоевский такую поддержку получил. Но не будем забегать вперед.

Если мы хотим понять Григорьева в меру самого Аполлона Григорьева (а это очень высокая мера), мы должны выяснить, с каким «новым словом» пришел в литературу этот писатель – уроженец Замоскворечья, «московский мешанин», человек николаевской эпохи?

Дед Аполлона Григорьева – крестьянин, пришедший в Москву в нагольном тулупе, ставший здесь коллежским асессором (чин, дававший потомственное дворянство) и помещиком Владимирской губернии. Война 1812 года, Московский пожар почти разорили семью Григорьевых; тем не менее, отец Аполлона Григорьева успел получить приличное образование (он был однокашником Жуковского по Благородному пансиону), получил и хорошее местечко в Сенате, однако пользоваться всеми преимуществами своего положения не захотел или не смог, а сошелся с дочерью крепостного кучера, жившего по-соседству. Протесты матери (единственной коренной дворянки в роду Аполлона Григорьева) привели лишь к тому, что Александр Иванович, человек по натуре пассивный и упрямый, запил и лишился места, отнюдь не прекращая отношений с полюбившейся ему девицей. Результатом этих отношений и стал будущий великий критик.

Незаконнорожденный младенец, сын крепостной, неизбежно должен был быть приписан к крепостному сословию – во избежание этого родители сдали младенца в Воспитательный дом. Спустя полгода родительский грех был покрыт венцом, маленького Полонушку забрали домой, но его социальный статус был уже определен: он так и оставался, до окончания университета, «незаконнорожденным из московских мещан». Впрочем, никакого влияния на дальнейшую судьбу Григорьева подпорченная анкета не имела. Давно замечено, что в так называемую «крепостническую эпоху», рассказами о которой до сих пор пугают людей у нас и за рубежом, суровыми были только законы; люди, через которых эти законы действовали, были добрее, а жизнь – приятнее и удобнее, чем в любую из последующих эпох. Нужен был особый талант (каким обладал, например, поэт Полежаев), чтобы всерьез осложнить себе жизнь в предреформенную пору.

Царствование Николая I – вообще необычное, а в культурном отношении именно блистательное царствование. Представим себе его границы: у входа в это царствование мы встречаем Николая Михайловича Карамзина, писавшего еще высоким слогом про добродетельного пейзажиста Фрола Силина и про бедную Лизу и умершего вскоре после событий 14 декабря, при выходе – Гаршина и Анненского, родившихся в год смерти Николая I и давших в своем творчестве первые образцы русского декаданса. Всё остальное внутри. Сотни

имен, сотни деятелей культуры, плодотворно работавших в эту эпоху или обязанных ей своим воспитанием, – и из которых последний выглядел бы великаном в любую другую культурно-историческую эпоху, особенно в такую мизерабельную, как наша сегодняшняя.

Мы с удовольствием повторяем слова Поля Валери о том, что русское искусство XIX века есть «третье чудо света» (наряду с искусством Древней Греции и европейским Возрождением), одновременно с этим мы, не краснея, продолжаем бубнить про «застой», про «чудовищную отсталость» николаевской России, повлекшую за собой «Севастопольский погром», и даже не решаемся вынести на помойку скорбный «список поэтов», придуманный Герценом.

Между тем, необходимо выбирать что-то одно.

Или мы относимся всерьез к тому неоспоримому факту, что царствование Николая Павловича – величайшая в истории России культурная эпоха, имеющая мировое значение, и внимательно изучаем ее, ясно понимая при этом, что наши сегодняшние *эмоции* по поводу, например, «шпицрутенов» суть нечто легковесное и необязательное по сравнению с реальными *трусами*, которыми была оплачена эта великая культура.

Или же мы продолжаем дожевывать жвачку, еще Герценом изжеванную доглы, и тупо твердим о том, что кое-какие культурные достижения имели место в николаевскую эпоху вопреки ее реальному содержанию и что если бы только буффонада декабристов удалась, то и культурных ценностей было бы произведено в России намного больше: тогда бы и Жуковский перевел не одну «Одиссею», а две или три; Глинка, не ограничившись созданием русской оперы, создал бы еще и русскую оперетту; в каждом уезде завелась бы своя Оптина пустынь; не только все митрополиты и епископы – каждый сельский пономарь стал бы тогда Филаретом по уму и таланту; Баратынский, насадив лес в Муранове, облесил бы затем и Голодную степь; Авдотья Петровна Елагина родила бы и воспитала еще двух братьев Киреевских, а молодых Тютчевых появилось бы сразу столько, что их посылали бы служить не только в Германию, но и в Лапландию, и на Сандвичевы острова; святитель Игнатий (Брянчанинов) в придачу к «Слову о смерти» написал бы еще «Слово о жизни»... Немного жаль, что в случае победы декабристов мы лишились бы «Капитанской дочки», «Сумерек», «Ревизора» да и всей остальной русской классики – но ведь вполне очевидно, что Рылеев, в минуты, свободные от выполнения диктаторских обязанностей, заполнил бы образовавшуюся лакуну равноценной литературной продукцией.

Возвращаясь к Григорьеву, заметим, что то был человек, целиком сформированный николаевской эпохой, долго в ней живший и ставший к концу этой эпохи одним из главных ее литературных деятелей.

Домашняя обстановка благоприятствовала больше развитию дарований маленького Аполлона, чем выработке его характера. Неглупый и беспечный отец, старавшийся воспитывать сына по-барски; полуграмотная мать, подерживавшая в семье нелепый, достаточно строгий распорядок (так, до 17-

летнего возраста Григорьева «ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому»), технология которого была, несомненно, разработана в доме ее отца-кучера. Оба родителя безмерно любили и баловали своего единственного сына.

Только поступив в университет, Григорьев начинает понемногу освобождаться от плотного, вязущего домашнего контроля.

В конце 30-х годов Московский университет переживает пору наивысшего своего расцвета. И вот граф Строганов, попечитель университета (и главный виновник, главный зиждитель относительно блестящего его состояния), вынужден очень скоро обратиться к Григорьеву с предложением «стусшеваться» – природная одаренность Григорьева проявляется в университете настолько ярко, что это действует подавляюще на остальных студентов, нарушает нормальный ход учебного процесса.

В 1842 году Григорьев оканчивает университет первым кандидатом, перед ним открывается блестящая академическая карьера.

Но Григорьева ждет другая судьба – несчастливая любовь к Антонине Корш и начало тех «литературных и нравственных скитальчеств», в которых и прошли оставшиеся Григорьеву 22 года жизни.

В это время что-то темное входит в его жизнь, какое-то враждебное «велянье» (еще один странный григорьевский термин) над ним проносится. Обнаруживается неспособность Григорьева к мало-мальски упорядоченной жизни, неготовность взять на свои плечи какую-либо житейскую заботу или обязанность. Назначенный заведующим университетской библиотекой, Григорьев раздает направо и налево казенные книги; будучи избран на почетную должность секретаря Совета Московского университета, за каких-нибудь четыре месяца запутывает все бумажные дела, всю отчетность Совета, создает очень тяжелую для всех ситуацию – и просто не может себя принудить хоть на время заняться этими бумагами, не может, как малое дитя, сосредоточиться на «неинтересном».

Завязываются какие-то темные, до конца не прослеживаемые, связи с масонскими кругами, закончившиеся, по всей видимости, вступлением в одну из масонских сект.

Проблемы накапливаются, усложняются, запутываются, и Григорьев наконец решает их все разом – решает тоже по-ребячьи: сбегает из дому.

Фет, товарищ юности Григорьева, рассказывает об этом так: «Он объявил мне, что получил из масонской ложи временное вспомоществование и завтра же уезжает в три часа в дилижансе в Петербург, вследствие чего просит меня проводить его <...> и затем вернувшись с возможной мягкостью объявить старикам о случившемся».

Григорьев живет в Петербурге, издает сборник стихов романтического направления, бедствует, пишет первые свои критические статьи, приобретает на всю жизнь пагубное пристрастие к алкоголю.

Через три года Григорьев возвращается в Москву, но это не возвращение блудного сына, а новый виток «нравственных скитальчеств». Антонина

Федоровна Корш давно замужем – Григорьев женится на одной из ее сестер. Бедная девушка не отличалась ни умом, ни красотой, ни сколько-нибудь сносным характером, была к тому же заикой. Красавец-мужчина, обаятельный человек, поэт и музыкант, Григорьев, как бы назло кому-то, связывает себя на всю жизнь этим нелепым браком. С этого момента нравственные скитания Григорьева начинают приобретать характер прямого самоистребления.

В 1850 году стареющий Погодин решается ввести в редакцию «Москвитянина» свежие силы. Журнал не имеет коммерческого успеха, расходы по его изданию становятся непосильным бременем для тощего кошелька Михаила Петровича. Попытка обновления журнала удалась Погодину на удивление. Так называемая «молодая редакция» не только продлила агонию «Москвитянина» на несколько лет – она осталась в истории нашей культуры образцом блестящего литературного объединения, подлинного братства молодых талантов. Аполлон Григорьев и Островский, Борис Алмазов и Мей, Эдельсон и Т. Филиппов – каждый член «молодой редакции» заслуживает отдельного большого разговора.

Но именно Аполлон Григорьев становится лидером и идеологом объединения. 28-летний неудачник, жизнью разбитый, жизнь, в сущности, уже проигравший, приходит в журнал с готовой теорией *почвенничества*. Таков был результат восьмилетних скитаний Григорьева по всем стихиям нравственного мира.

Философский энциклопедический словарь называет почвенничество «консервативной формой философского романтизма»; консерватизм учения обуславливается тут, вероятно, его «религиозной ориентированностью», а также «идеей об особой миссии русского народа, призванного спасти человечество». Лосский в своей «Истории...», ничего не говоря о почвенничестве и об Аполлоне Григорьеве, уничижительно именуется его главных последователей, Данилевского и Страхова, «эпигонами славянофильства».

Связь Григорьева с философским романтизмом так же очевидна, как и отсутствие этой связи у Островского в 50-е годы. Но вот «религиозно ориентирован» Григорьев, к сожалению, никогда не был. Он уважал Православие и высоко ценил его как «стихийно-историческое начало», но ценил наряду с другими стихийно-историческими началами народной жизни. Стихотворение, отрывок из которого я привел в начале доклада, заканчивается такими примечательными словами:

*Но на кресте распятый Бог
Был сын толпы и демагог.*

«Демагог» тут, по терминологии 40-х годов, означает «народный вождь», «демократ». Но представление о Создателе и Спасителе мира как о «сыне толпы» выдает Григорьева с головой. Это все тот же «христианский социализм» – христианство Жорж Занда и Белинского, из пут которого Григорьеву не суждено было выпутаться.

Что же касается до «*призвания русского народа спасти человечество*», то до человечества вообще – до человечества, лишенного черт национальности и конкретного места жительства, Григорьеву и Островскому было мало дела.

Почвенничество – это фаза славянофильства, развитие и уточнение славянофильства первоначального, классического. Григорьев высоко ценил благородную личность Хомякова, назвал однажды И. В. Киреевского «великим философом», считал, что славянофильство вообще «*правда*» – все это не помешало Григорьеву обнаружить в учении ряд серьезных изъянов.

Первый недостаток раннего славянофильства – поразительное нечувствие его классиками (К. Аксаковым и, чуть в меньшей степени, Хомяковым) *народности* произведений Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова. Корифеи Золотого века русской литературы не были в глазах славянофилов народными художниками. «Создания их народу чужды»; поэзия их, пусть талантливая, – поэзия «публики», а не «народа».

На роль народных художников намечались славянофилами какие-то малороссийские бытоописательницы, имена которых и вспоминать-то сегодня неудобно.

Григорьев, с его громадным эстетическим чутьем, просто не мог ошибиться в выборе между Пушкиным и Надеждою Соханской. Если создания Пушкина, который «религиозно боялся солгать на народ», остаются народу чужды, то в этом, считал Аполлон Григорьев, следует видеть скорее беду народа, чем вину Пушкина. Ликвидировать отрыв образованных сословий от народа, вызванный петровской реформой, необходимо (в этом правда славянофильства), но невозможно отказаться от тех капитальных культурных приобретений, которые были сделаны за годы разлуки русскими людьми, занесенными обстоятельствами рождения в ряды «публики».

Именно эту мысль Григорьева с особой настойчивостью пропагандировал во «Времени» Достоевский: разрыв между интеллигенцией и народом необходимо преодолеть, но движение должно быть *встречным*. *Народ должен учиться у интеллигенции не меньше (но и не больше), чем интеллигенция у народа.*

Второй недостаток классического славянофильства, тесно связанный с предыдущим, – суженная социальная база учения. «Народ» славянофилов состоит из патриархального крестьянства и духовенства. Все остальное – порча, все остальное требует исправления.

Аполлон Григорьев, по обстоятельствам своего рождения тесно связанный с колоритнейшим бытом Замоскворечья, не мог перестать считать русскими людьми его жителей, которых любил и знал с детства, только за то, что они одеваются в немецкое платье. Городской романс, цыганская песня – многое из того, что вызывало у ранних славянофилов брезгливое отчуждение, в глазах Григорьева было органично и народно.

К сожалению, расширение социальной базы славянофильства ограничивалось у него мещанством и купечеством. Русскому дворянству по-прежнему отказывалось в праве принадлежать к составу русского народа. Вы видите, что странная теория Чернышевского, различающая «грязь реальную» (т. е.

мещанство, способное в массе к культурному росту) и «грязь фантастическую» (т. е. русскую аристократию, ни к чему доброму не способную), имела вполне respectable литературные корни.

И наконец, третий дефект раннего славянофильства – дефект методологический. Старшие славянофилы чрезмерно, на взгляд Аполлона Григорьева, увлеклись сравнением реального Запада, со всеми его историческими грехами, и идеальной, ноуменальной России.

Чувства, которые возбуждаются при таком сравнении в сердце русского человека, имеют поэтическую сторону, имеют свою цену, но чрезмерное увлечение ими неконструктивно. Такие любимцы либеральной интеллигенции нашей, как Честертон и Льюис, тоже ведь писали с большим подъемом о «подлинной Англии», «Англии короля Артура и мистера Пиквика», не забывая при этом на соседней странице упомянуть в сугубо отрицательном плане «русских нигилистов», «русских большевиков» и даже «царскую охранку» (одиозную организацию в глазах англичан, черпающих основные сведения о России из мемуаров двух-трех русских уголовников, осевших в Англии). Спрашивается, что этим доказывается?

Григорьев считал полезным перейти от экзальтированных упреков и обвинений по адресу Запада (до которого нам, в сущности, не должно быть почти никакого дела) к реальному труду на ниве национальной культуры.

В целом, классическое славянофильство для Григорьева – «правда» и, в то же самое время, «барская затея». Кабинетное учение. Константин Сергеевич Аксаков, одетый в настолько уже русское платье, что простые москвичи, реальные русские люди XIX столетия, принимают его по одежде за персиянина, – вот та черта, черта комическая, которая обличает нежизненность раннего славянофильства.

Важнейшим практическим результатом всего комплекса почвеннических идей стал театр Островского. Мир Замоскворечья, одинаково родной Аполлону Григорьеву и Островскому, – мир купцов, мещан, мелких чиновников, заключенный в раму драматического представления и возведенный в перл бытия, – реальное воплощение идей Григорьева и предмет нескольких его восторженных статей. (Добролюбов, увидевший в этом волшебном мире одно только «невежество» и «темное царство», проявил, конечно, выдающуюся эстетическую тупость. Впрочем, его критика и не претендовала на эстетическое значение.)

Членов «молодой редакции» отличал серьезный интерес к народной песне, к традициям и быту старообрядцев. Показательно, что знаменитый наш этнограф и фольклорист С. В. Максимов вышел из этого кружка.

Но пора возвратиться к вопросу, прозвучавшему в начале нашего доклада: почему мы сегодня говорим об Аполлоне Григорьеве? Вообще, почему мы должны помнить о нем? Что такого непреложного, вечного он совершил?

Ну, был такой талантливый человек, самородок, который разбросался, спился и умер в сорок два года – история для России слишком обыкновенная. Ну, влиял он на Островского, на какого-то Максимова... Мы сегодня и самого Островского почти забыли, где уж нам помнить про друзей его молодости.

Аполлон Григорьев – довольно известный поэт, удостоившийся даже отдельного тома в Большой серии Библиотеки Поэта (1959 г.) Так может быть, поэзия Аполлона Григорьева является надежным вкладом в сокровищницу русской духовности?

Боюсь, что и этого утверждать нельзя. Григорьев писал стихи от случая к случаю, и поэтическое наследие его очень неравноценно. Два признанных шедевра за ним числятся: «*О, говори хоть ты со мной...*» и «Цыганская венгерка» («*Две гитары, зазвев...*») – эти вещи, написанные Григорьевым в Италии, до сих пор входят в цыганский репертуар. Блок назвал их «единственными в своем роде перлами русской лирики», сам Григорьев несколько сумбурно определил этот род лирики как «метеорскую (еще один чисто григорьевский термин) кабацкую поэму звуков безвыходного страдания».

Было установлено недавно, что первая строфа предсмертного есенинского стихотворения является отзвуком последней строфы похоронного гимна, переведенного Григорьевым в составе сборника масонских песен еще в 1845 году:

*До свиданья, брат, о, до свиданья!
Да, за гробом, за минутой тьмы,
Нам с тобой наступит час свиданья,
И тебя в сияньи узрим мы!*

Григорьеву принадлежит лучший перевод из Мицкевича в русской поэзии («*Я ее не люблю, не люблю...*»), некоторой известностью пользуется до сих пор стихотворение «*Для себя мы не просим покоя...*», содержащее богоборческие мотивы.

Больше, при всем желании, вспомнить нечего.

Сегодня у нас нет места для развернутого разговора о путях развития русской поэзии. Но самые общие замечания можно сделать.

Ущербность теории прогресса делается особенно очевидной при взгляде на историю поэзии. Гений Пушкина настолько всеобъемлющ, уровень его поэзии настолько высок, что говорить о каком-то улучшении поэтического дела в России после смерти Пушкина невозможно и просто неприлично.

Тем не менее, застойных явлений в нашей поэзии до самого последнего времени не наблюдалось, русская поэзия развивалась. Но в каком направлении? И какой ценой? Баратынский, которому принадлежит исключительно высокое место в иерархии русских поэтов (сразу за Пушкиным, рядом с Тютчевым), первым заметил, что «следовать за Пушкиным <...> труднее и отважнее, нежели идти новою, собственной дорогою».

В погоне за новой выразительностью, которой не было у Пушкина, поэты-первопроходцы совершали и совершают художественные открытия ценою (условно говоря) в пять-десять копеек, нечувствительно теряя по дороге десятки рублей из того капитала, которым свободно распоряжался Пушкин. «Шаг в сторону от Пушкина, и десять шагов вниз» – по такой схеме нередко добывалась новая выразительность в нашей поэзии после смерти Пушкина.

Григорьев дал язык русскому кабаку, русскому разгулу. А в его поздней поэме «Вверх по Волге» мы находим образцы той тяжелой, нудной, *ненужной* искренности, которая отличает человека, находящегося в середине длительного запоя. До Григорьева этого не было в русской поэзии. Несомненно его влияние на Блока и (опосредованно, через Блока) на Есенина. В сегодняшней литературе картины русского разгула напропалую эстетизируются, обрабатываются на холодную голову и переполняют рынок. От григорьевской строчки «сердце ноет, ноет, ноет, словно зуб больной» прямая дорога к любовной лирике поэта-лауреата Бродского, который каждый свой карьер и каждый свой коитус заботливо переводил в стихи.

В общем, по моему глубокому убеждению, поэзия Аполлона Григорьева лежит в стороне от магистрального пути русской поэзии, хотя в своеобразной мрачной выразительности лирике Григорьева отказать нельзя.

В прозе Григорьевым написана совершенно бесподобная вещь – рассказ-очерк «Великий трагик». Анализу этого сорокастраничного рассказа можно было бы посвятить доклад, в два раза превышающий по объему настоящий, и все-таки не исчерпать тему. Но сама единичность этой вещи свидетельствует о том, что и в художественной прозе Григорьев не дал того, что мог и должен был дать.

Остается Григорьев-критик. И вот здесь никакая похвала не покажется преувеличенной. Как театральный критик Григорьев у нас вообще вне конкуренции – просто некого поставить с ним рядом в этой области. Что же касается до более обширной и универсальной сферы критики литературной, то здесь имеются три-четыре имени более громких (по крайней мере, в массовом сознании), чем имя Аполлона Григорьева. Но надо сказать, что эти знаменитости нередко ошибались и ошибались довольно грубо, вынося оценки, которых время не подтвердило.

Так, Достоевский, чье творчество сегодня признается всеми одною из вершин мировой литературы, не был при жизни любимцем российской критики. Белинский, высоко оценив первую повесть Достоевского, впоследствии все больше и больше в нем разочаровывался. «Мерзость... ерунда страшная... злоупотребление или бедность таланта?..» – эти отзывы о Достоевском принадлежат последнему году жизни критика. Добролюбов, сочувственно относясь к гуманному направлению ранних произведений Достоевского, вовсе отказывал им в художественных достоинствах. Страхов настолько был убежден в художественном несовершенстве «Преступления и наказания», что в одной из двух статей, посвященных роману, выписал даже (в назидание Достоевскому) полторы страницы из скучнейшего и пустейшего романа Ч. Диккенса «Наш общий друг» – именно как образец высокопробной художественности, Достоевскому не снившейся.

Сегодня это смешно, как смешны были бы сто тридцать лет назад наши девятиклассники, бубнящие с чужого голоса о гениальности Достоевского. Пренебрежительные отзывы о Достоевском Дружинина, К. Аксакова, Лескова (печатно назвавшего роман «Идиот» “капитальной глупостью”) не роняют в наших глазах этих благородных и умных писателей. Было бы наивно ожидать

от какой-нибудь газетной рецензии, наспех написанной, совпадения с объективной оценкой классического автора, которая вырабатывается на протяжении десятилетий лучшими силами нации.

Странно не то, что Дружинин или Страхов иногда ошибались, а то, что был в нашей литературе критик, который *никогда не ошибался*. И этим критиком был Аполлон Григорьев.

Сегодня мы смотрим на русскую классическую литературу XIX века его глазами. Какие-то крошечные различия существуют (скажем, сегодня мы чуть выше оцениваем поэзию Михаила Дмитриева или драматургию Тургенева, чем Григорьев), но трудно в них разобраться, не будучи филологом.

Скажу больше. Литература XIX века непрерывно удаляется от нас, изменяется ее положение относительно нашего неподвижного «сегодня» – и наше восприятие русской классики непрерывно меняется: отстает, углубляется, уточняется, углубляется... И надо сказать, что наше восприятие эволюционирует тоже в направлении к Аполлону Григорьеву. Мы все еще «дорастаем» до него. И, несмотря на отдельные наши успехи, меры Аполлона Григорьева не достигли до сих пор.

Григорьев пришел в литературу в те годы, когда Белинский совершил ряд революционных открытий в области эстетики: он открыл, например, что Гоголь написал «Выбранные места...» с целью втереться в воспитатели к сыну наследника престола, что пьеса «Горе от ума», важная как первый «протест против гнусной расейской действительности», не имеет серьезных достоинств «с художественной точки зрения»; он доказал также, что Баратынский – не поэт и что пушкинская Татьяна, не отдаваясь Е. Онегину и оставаясь женой своего мужа-генерала, проигрывает в достоинстве светозарным героиням Жорж Занда, которые сразу же отдаются, полюбив, а без любви не отдадутся никому (царскому же генералу – в особенности). И эти «открытия» произвели фурор, буквально опьянили русское общество. На очереди была эстетика Чернышевского-Писарева с ее глубокомысленным предпочтением настоящего яблока, которое можно съесть, несъедобному нарисованному яблоку, с ее боевым лозунгом «сапоги выше Шекспира».

В этом-то чаду Аполлон Григорьев заявляет: «Пушкин – наше всё»; пишет (в 25 лет) статью о «Выбранных местах...», остающуюся до сих пор лучшей статьей об этой книге; говорит Достоевскому: «Ты в этом роде и пищи»; объясняет значение Островского; дает взвешенную, объективную оценку поэзии Некрасова, дораста до которой (то есть до григорьевской оценки, а не до поэзии Некрасова) нам еще предстоит; мимоходом «открывает» Случевского; поднимается на защиту Обломова против Штольца и Ольги, хладнокровно отчеканивая в одной из своих статей: «Всякий беспристрастный и не потемненный теориями ум выберет, как выбрал Обломов, Агафью Матвеевну»; излюбленная мысль Григорьева о противостоянии в русской литературе «хищного» и «смирного» типов становится тем горчичным зерном, из которого вырастет в недалеком будущем колоссальный организм «Войны и мира», а пока что Григорьев уже в «Севастопольских рассказах» разглядывает фатум Толстого: ту «бедную пантеизма», в которую неизбежно предстоит ему свалиться.

Во второй половине 50-х годов в русской литературе завязывается борьба между приверженцами так называемого «чистого искусства» и писателями революционно-демократической ориентации. Последние одерживают быструю, безоговорочную победу. (Вследствие чего, кстати сказать, вся русская классика 60-70-х годов была напечатана в национально-консервативном «Русском вестнике». В изданиях менее одиозных наши классики печататься не могли, их туда просто не брали, а издателей более одиозных, чем Катков, в России того времени не было.) Григорьев не принимает участия в этой схватке. Для него были одинаково неприемлемы как революционно-демократическая (по терминологии Григорьева – «теоретическая»), так и «эстетическая» критика.

Эстетическая критика, поверяющая искусство искусством же, красоту – красотой, просто не могла не быть субъективной, камерной и бессильной. Такое общенародное, «земское» дело, как литература, было в глазах Дружинина и его единомышленников личным делом (то есть не делом, а капризом, похотением) Шекспира, Пушкина и некоторых других «даровитейших чудаков», занимавшихся искусством просто из любви к искусству. (Что-то похожее случается с учеником средней школы, когда он, решая алгебраическое уравнение, получает неожиданное тождество $0 = 0$; корень уравнения в ходе решения «сократился», остается только утверждать, что его и не было.) «Пушкин написал “Скупого рыцаря”, потому что ему нравилось заниматься такими вещами» – разумеется, это правда, да только не вся.

Теоретическая критика подходила к художественному произведению с заранее приготовленным шаблоном, обращалась с его живой тканью так, как Дамаст-Растягиватель обращался в древности с захваченным путником: вытягивая короткое, обрубая длинное... (Как школьник, который во все предлагаемые ему уравнения подставлял бы один-единственный корень – вовсе не решал бы их, но только проверял на соответствие этому образцовому корню.) Добролюбов не постеснялся назвать шедевры пушкинской лирики «альбомными побрякушками», поскольку его мерка, изготовленная по рекомендациям «новейшего Пятикнижия» (так окрестил Ап. Григорьев типовую библиотечку русского нигилиста, состоявшую из Л. Бюхнера, Молешотта и еще трех брошюр; знакомство со всеми пятью брошюрами освобождала адепта нового учения от тягостной обязанности еще что-либо читать в течение жизни), ясно указывала на отсутствие в пушкинских стихах «серьезного содержания». Допустить хотя бы на минуту, что ущербна Бюхнеровская мерка, а не стихи Пушкина, Добролюбов не мог – в эту минуту он перестал бы быть «теоретиком», перестал бы быть Добролюбовым.

Более высоко, чем эстетическую и теоретическую, оценивал Аполлон Григорьев «историческую» критику – критику, способную увидеть в искусстве часть жизни (в ее связи с другими частями), способную рассмотреть художественное произведение в широком контексте социальных, культурных, общефилософских проблем своего времени. Представителем такого типа критики Григорьев считал раннего Белинского.

Но и историческая критика имела органический порок. По мысли Григорьева, это «порок самого так называемого исторического воззрения», опиравшегося на гегелевскую теорию развития. Идея «безграничного и безначального развития» сопряжена, по Григорьеву, с совершеннейшим безразличием нравственных понятий. Григорьева ужасает гегелевское мирозерцание – «безотраднейшее из мирозерцаний, в котором всякая минута мировой жизни является переходной формой к другой, переходной же форме; бездонная пропасть, в которую стремглав летит мысль без малейшей надежды за что-либо ухватиться». Но так как человеку от природы свойственно «воображать себе идеал в каких-то видимых формах», то не признающее вечного и неизменного идеала гегельянство ставит на его место идеал, созданный по законам «произвольно выбранной минуты».

Другими словами, историческая критика неизбежно вырождается в критику теоретическую, как то и случилось с Белинским под конец его литературной деятельности.

Для Григорьева, который обладал абсолютным эстетическим чутьем, чьим жизненным девизом были строки из поэтического завещания Гёте:

*Истина найдена от века...
Старую истину усвой твоей душе, –*

Якорем спасения, позволяющим удержаться над бездонной пропастью отвлеченного теоретизирования, становится живой факт искусства – литературный шедевр, который нельзя ни опровергнуть, ни упразднить, – раз уж он родился на свет.

Но литературный шедевр, бытующий где-нибудь в безвоздушном пространстве, мог бы с тем же успехом и вовсе не рождаться. Литературный шедевр должен кем-то восприниматься. И узловой момент в теории критики Аполлона Григорьева – момент *встречи* литературного шедевра с читателем, имеющим в душе идеал красоты. Не привнесенную извне теоретическую мерку, а сродный душе, свободно в ней живущий идеал красоты.

«Если идеал лежит в душе читателя свободно, – указывает Григорьев, – он судит факты объективно, если идеал вносится со стороны, произвольно – он начинает гнуть факты под свой уровень».

Сознание литературы о самой себе, выражающееся в критике, – вот формула «органической критики» Аполлона Григорьева. Причем, встреча критика с литературным шедевром совершается здесь на почве искусства. Григорьев пишет об этом так: «Как искусство, так и критика искусства подчиняются одному критериуму. Одно есть отражение идеального, другая – разъяснение отражения». Однако (и это самое главное в теории Ап. Григорьева), «законы, которыми отражение разъясняется, извлекаются не из отражения <...>, а из существа самого идеального. Между искусством и критикой есть органическое сродство в сознании идеального <...> критика должна быть столь же органическою, как само искусство, осмысливая анализом те же органические начала жизни, которым синтетически сообщает плоть искусство».

Думаю, вы согласитесь с тем, что теория органической критики антитеоретика Григорьева производит отрадное впечатление.

В самом деле, было бы хорошо, если бы каждый литературный критик был художник в своем ремесле, по-хозяйски проникал бы в «существо самого идеального», а главное – писал бы критические статьи в силу Аполлона Григорьева. Но как этого достичь, теория органической критики не объясняет. Сам Аполлон Григорьев – явление уникальное, штучное. И тому, кто не родился Григорьевым, никакая теория не поможет Григорьеву уподобиться. Тупица будет писать критику органически тупую, невежда – органически невежественную.

Откуда берется гениальность восприятия, кто вкладывает в душу критика потребный идеал – все это остается не выясненным. Тут работают таинственные жизненные силы – попробуй добейся от них отчета. Сам Григорьев имел дело с вещами вполне реальными: с реальным чувством наслаждения, которое он испытывал, читая Пушкина или Шекспира, и с не менее реальным чувством тошноты, которую вызывали в нем сочинения Чернышевского и Варфоломея Зайцева. «Восприятие мира даже и не под знаком красоты, но под знаком чувственного наслаждения», «привкус гедонизма» в эстетике Григорьева, о которых пронизательно писал Флоровский (в «Путиях русского богословия»), несомненно имели место.

Утилитарный принцип «удовольствия», еще Кантом внесенный в основание эстетики, – принцип вообще обоюдоострый. Безусловно, удовольствие Канта или Аполлона Григорьева вернее всякой теории свидетельствует о высочайшем качестве читаемой ими книги. Но о чем свидетельствует удовольствие, которое испытывает ваш сосед в электричке, читающий С. Кинга?

Для выявления истинных художественных ценностей в необозримом потоке текущей словесности все эти построения дают очень мало – именно как построения. Нужна гениальность восприятия, а где ее возьмешь? Гении редки.

Исключительная одаренность Григорьева-критика не получила признания у его современников. В известной эпиграмме поэта-ипохондрика Щедрины на Александра Николаевича Островского («Что ты корчишь роль Атрида...») за Аполлоном Григорьевым признавался все же некоторый масштаб, некоторая величина – по крайней мере, в сравнении с Островским. Обычные же читатели той эпохи всерьез Григорьева не принимали.

Аполлон Александрович ушел из жизни накануне появления таких вершинных созданий русской классической прозы, как «Преступление и наказание» и «Война и мир». Литература в те годы была как вулкан, готовящийся к извержению: все в ней трещало, дымилось и кипело, все росло и рвалось ввысь. И критика Григорьева была действительно адекватна своему предмету – живой литературе, начинавшей «свой последний, смертельный прыжок». Отсюда принципиальная незавершенность и противоречивость григорьевской критики, предопределившие ее репутацию в глазах широкой публики.

К тому же Аполлон Григорьев был тяжелым идеалистом (в бытовом значении слова), Дон Кихотом журналистики, не желавшим считаться с общепринятыми правилами литературной борьбы. Чернышевский и Добролюбов тупо били в одну точку, разжевывали свой скудный материал до полной доходчивости, могли из тактических соображений положительно оценить автора, чуждого основной линии их журнала, могли крепко лягнуть единоверца, осмелившегося подать голос на страницах конкурирующего издания. Чернышевский и Добролюбов в журнальной борьбе, разумеется, били Григорьева, как мертвого.

Григорьев большую часть своих статей вообще бросил на середине – для него самого тема разяснялась в процессе работы, и он со спокойной душой переходил к следующей, более интересной, еще не раскрывшейся теме. К тому же Григорьев был органически неспособен, разбирая какое-нибудь современное литературное явление (того же Добролюбова, к примеру), не отметить присущих этому явлению достоинств (а были же и у Добролюбова свои достоинства). И он так порой увлекался рассмотрением этих достоинств, что полемическую часть статьи приходилось переносить в следующий номер журнала, к следующему же номеру являлась более интересная тема для статьи, или же редакция журнала прекращала сотрудничество с Григорьевым, или же сам Григорьев ссорился с редакцией... В общем, публицистом, *властителем дум* Григорьев был никудышным.

Идейная эволюция русского интеллигента в николаевскую эпоху хорошо известна: от увлечения Шеллингом на рубеже 20-30-х годов к увлечению Гегелем в конце 30-х, потом – Фейербах, а дальше составление прокламаций, зовущих Русь к топору, сбор горячих материалов для поджога Апраксина двора, заучивание наизусть брошюр «нового Пятикнижия».

Григорьев проделал движение встречное: пережив в студенческие годы увлечение гегелевской философией, он навсегда потом возвратился к Шеллингу. «Сочинения Шеллинга во всех фазах его развития» Григорьев назвал в конце жизни «исходной громадной рудой» своей теории органической критики. И вот это «во всех фазах», вот эта готовность признать «великим учителем» равно Шеллинга раннего, йенского, и Шеллинга позднего, берлинского, – все это говорит о том, что шеллигианство для Григорьева не философское учение, не цельная система (каковой Шеллинг не создал), а некий поэтический образ, некое «веянье», под обаянием которого Григорьев находилась большую часть жизни.

Григорьев и Шеллинг действительно родственные души: сходство не мыслей даже (Что мысли? По едкому замечанию Розанова, «мысли бывают разные»), а ритмов, пауз, интонационных жестов – в их прозе весьма велико.

«Абсолютная объективность дается в удел единственно искусству <...> Философия достигает величайших высот, но в эти выси она увлекает лишь как бы частицу человека. Искусство же позволяет целостному человеку добираться до этих высот», – можно поклясться, что слышишь голос Аполлона Григорьева, хотя на самом деле просто сидишь и выписываешь цитату из «Системы трансцендентального идеализма».

Современное литературоведение, утратив правый путь, помешалось на отыскивании приоритетов: неважно, кто сделал лучше, само это «лучше» тем более не важно – важно лишь выяснить, кто был первым у дверей патентного бюро.

Мы не станем заводить детский разговор о «влияниях» и «заимствованиях». Григорьев был высокообразованный человек, но он был человек взрослый. Григорьев имел самостоятельный, самодержавный ум. Он брал горстями у самых разных мыслителей и художников – у Шекспира и Гёте, у Гегеля и Шеллинга, у Карлейля и Эмерсона, – но у каждого из них Григорьев брал *свое*. Шеллинг был ему ближе других, но если бы Шеллинга не существовало, Григорьев отыскал бы свое добро в другом месте.

Постараемся теперь в последний раз ответить на вопрос: в чем же заключается право Григорьева на бессмертие? В чем его подлинное величие?

Может быть, прав был С. Венгер, увидевший это величие Аполлона Григорьева «в красоте его духовной личности, “органично” проникнутой лучшими началами высокого и возвышенного»? Что-то есть в этом венгерском дифирамбе, определено, но не следует забывать, наверное, про несчастную жену Григорьева, спившуюся и погибшую, про брошенных детей (у Григорьева было двое сыновей, тоже рано погибших: один умер от наследственного алкоголизма, другой сошел с ума); про затянувшийся опыт социальной реабилитации проституток, увлекший Григорьева в ту пору, когда несчастная жена его болела, отчаянно нуждалась и взывала о помощи, которой так и не последовало... Вообще, слишком много было в жизни этой высокодаровитой личности, проникнутой лучшими началами, всяческого неблагообразия и слишком много элементарной водки.

Притом и чистота принципов была у Григорьева в буквальном значении этого слова донкихотской. Гнушаясь общепринятыми методами литературной борьбы, Григорьев не сделал чище литературную атмосферу в стране, не увлек своим примером литературную молодежь – он облегчил задачу врагам национальных начал, дал им легкую возможность сделать из своих излюбленных идей посмешище для всей читающей России.

А вот на разрыв с Достоевским Григорьев пошел, не задумываясь; он вообще легко расставался с близкими по духу людьми – с Островским, с Эдельсоном... Судьба «последнего романтика» требовала соответствующих декораций, ореол «непонятости», «одинокости» был тут необходим. Разрыв с Достоевским произошел ведь только потому, что Достоевский во «Времени» приступил к пропаганде почвеннических идей с размахом и хваткой опытного журнального бойца. Для Григорьева все в этой ситуации строго логично: дорогое его сердцу почвенничество превращается в доктрину, застывает, становится «теорией», а «теория» – это то, с чем Ап. Григорьев всегда будет бороться.

То же произошло и с патриархальными началами русской жизни, красоту и ценность которых Григорьев некогда отстаивал. Как только эта красота получила под пером Островского и С. Т. Аксакова пластическое выражение и

начала приобретать общественное признание, Григорьев отходит в сторону. Теперь его больше интересуют «хищные типы», интересует оппозиция тому «добродушному зверству», к которому все чаще сводится теперь для Григорьева патриархальная старина.

Идея, которую подхватила и понесла толпа, есть нечто невыносимое для подлинного романтика.

Что же остается от Аполлона Григорьева для вечности? Остается Григорьев – гениальный резонатор, «чуткий как Эолова арфа», по словам Фета. Остается лучший критик в истории русской литературы, работавший в лучшую ее пору. Но что есть критик, и почему мы должны помнить о нем? Произведения, которые Григорьев верно оценил, успеху (а иногда и созданию) которых способствовал, живы по сей день и долго еще будут жить; великолепное здание классической русской литературы давно построено, заселено и открыто для экскурсантов, а критик, пусть даже и гениальный, это те строительные леса, которые нужны были при постройке здания. Когда стройка заканчивается, леса разбирают и увозят. Кто думает о строительных лесах, кого, кроме специалистов, они интересуют?

В. В. Кожин, ведущий наш литературовед последнего тридцатилетия, в цикле статей 1971-1974 годов предложил новые принципы построения истории русской литературы, выстроил свою схему ее развития. По этой схеме, например, творчество Пушкина оценивается как ренессансный реализм, т.е. ставится в параллель с творчеством Шекспира; Гоголь и Баратынский принадлежат художественной стихии барокко и должны рассматриваться параллельно с такими западноевропейскими мастерами, как Тирсо де Молина, Гонгора, Кеведо, Мильтон, Джон Донн; русский сентиментализм, по Кожину, – это «Детство», «Отрочество», «Люцерн» Толстого, «Бедные люди» Достоевского и так далее.

Но сегодня нас особенно интересует мнение Кожина о русском романтизме, которое резко отличается от традиционных представлений, сводящих романтизм в русской литературе к «Шильонскому узнику» и «Кавказскому пленнику». Кожин утверждает: «Творчество Достоевского и в значительной мере Лескова, позднее творчество Тютчева, Фета, Полонского, А. Толстого и поэтов-славянофилов, поэтические драмы Островского, проза и поэзия Аполлона Григорьева, творчество К. Леонтьева <...> принадлежат, несомненно, к романтизму». И далее: «Творчество Достоевского – высшее и полнейшее выражение мирового романтизма вообще». Здесь необходимо добавить (вовсе не в укор Кожину, на разбор глубокомысленной и остроумной теории которого у нас просто нет сейчас времени), что выразить романтизм в творчестве – значит в значительной степени его преодолеть. Достоевский в последних своих произведениях указал на Церковь как на высший и конечный пункт человеческого развития, призвал горделивого скитальца-интеллигента к смирению и труду – и тем самым, конечно, вырвался за пределы романтизма. И тот же путь задолго до

Достоевского (поскольку европейский романтизм старше русского) проделали многие видные европейские романтики: Август Шлегель – один из наиболее ранних тому примеров.

Романтизм себе не довлеет: романтическая тоска по идеалу, в принципе, неуголима. И наиболее последовательным выразителем самого духа романтизма в русской культуре остается Аполлон Григорьев, в душе которого свободно лежал некий прекрасный идеал, и этому идеалу, этому идолу Григорьев принес в жертву всю свою жизнь без остатка.

А. Ф. Лосев, размышляя в своей «Диалектике художественной формы» об извечной борьбе классического и романтического начал в жизни человеческого духа, приходит к следующим выводам: «Классицизм есть “актуальная бесконечность” <...> Романтизм есть потенциальная бесконечность, которая в существе своем беспокойно-неопределенна и не имеет границ; это, если хотите, дурная бесконечность <...>

Романтизм <...> пытается разрешить неразрешимую задачу – быть универсальной идеей, оставаясь в то же время в сфере человеческого субъекта и индивидуальности. Равным образом <...> романтизм никогда не может решить и другой – также неразрешимой, ибо ложной, – задачи – пробиться в вечность, оставаясь в текущем потоке времени. Тут надо чем-то пожертвовать, а романтизм не хочет жертвовать ни временными радостями и печальями, ни вечным и бесконечным блаженством».

Впрочем, отношение к романтизму того или иного мыслителя зависит во многом от его личной веры.

Для тех, кто верит в бесконечное и безначальное развитие, романтизм – одно из основных начал человеческого духа. Начало беспокойное, бродильное. Проявляясь особенно ярко в кризисные эпохи, это начало раз за разом способствует выходу человечества из очередного тупика, подготавливает прорывы в новые, доселе заповедные, области. Фаустовское начало, пронцающее современную нам цивилизацию Запада.

Для тех, кто сверяет свои верования с катехизисом святителя Филарета, романтизм – болезнь духа. «Всякий романтизм гностичен, – указывает Лосев, – а гностицизм как для правоверного эллина Плотина есть пессимизм и атеизм, так и для христианского епископа Иринея Лионского – “лжеименный разум” и разврат».

Исторический романтизм – мощное и влиятельное направление в европейском искусстве, расцветшее в эпоху Французской революции и Наполеоновских войн. Энергия, напитавшая европейский романтизм, была энергией разрушения. Манифестации романтизма, при всей их внешней привлекательности, были пляской на костях классицизма и просветительства, крушению которых романтизм всемерно способствовал. Созидательная же его способность оказалась достаточно скромной: Шекспир, во имя которого романтики разбивали стесняющие оковы классических правил, так и остался Шекспиром, романтики – романтиками, понятием собирательным.

Лосев жестко связывает романтизм с протестантизмом, который тоже ведь возник в связи с крушением части старого здания католической церкви, – и

тоже энергия, высвободившаяся в результате этого крушения, в дальнейшем только рассеивалась. Первоначальное лютеранство дробилось и до сих пор продолжает дробиться на многочисленные протестантские секты.

Заметим, что история доктора Фауста в европейской традиции XVI-XVIII веков была историей человека, погубившего душу. Спасение Фауста – хор ангелов, поющих: «Кто трудится вечно и вечно стремится, того мы можем спасти», – дело рук Гёте, романтика и протестанта.

Многим участникам романтического движения, как уже отмечалось сегодня, удалось вырваться из заколдованного круга «вечных стремлений», удалось обрести положительные верования или хотя бы связать себя золотой цепью «бытовых предрассудков и аскетической морали» с вечной правдой, которая в христианских странах наложила нестираемый отпечаток на быт и на традиционную мораль.

Аполлон Григорьев остался на огненном колесе «живых фактов искусства», страстей, стремлений.

Впрочем, романтизм вечен. И его история вовсе не заканчивается со смертью «последнего романтика». Но судьба романтизма в послеромантическую эпоху – огромная тема, превышающая мои возможности и далеко выходящая за рамки сегодняшнего доклада. Тут нужно говорить о Шопенгауэре и Ницше, о Вагнере и Врубеле, о европейском декадентстве, ставшем реакцией на ту «капиталистическую фальсификацию барства» (К. Леонтьев), которая сделалась основным стилем европейской жизни после 1848 года, об искусстве модерна, о символизме и т. д. и т. п.

Резюмируя сказанное здесь о Григорьеве, заметим, во-первых, что он был *крупным мыслителем национального толка*, повлиявшим на Достоевского, Страхова и Данилевского.

Во-вторых, он был *крупнейшим литературным критиком в нашей истории*, и его вклад в общенародное дело создания классического русского романа оказался едва ли не решающим.

Но цена, которую заплатил за этот свой подвиг Аполлон Григорьев, многим из нас показалась бы чрезмерной.

1997

*О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!*

.....

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Аполлон Григорьев. ВЕЛИКИЙ ТРАГИК

(Рассказ из книги "Одиссея о последнем романтике")

В мирном и славном городе Флоренске, как зовет его Лихачев, {1} посол царя Алексея Михайловича к Дуку Фердинандусу, – я жил в одной из самых темных его улиц... или нет, не улиц. Улица – это *via*, *via*, например, *Ghibellina*, *via* Кальцайола, а я жил в Борго, в *Borgo Sant-Apostoli*, т. е. в улице, состоявшей из нескольких улиц, перерываемых множеством узеньких, маленьких, грязненьких кьяссо, {2} которые были отдушинами Борго на Лунгарно, т. е. на набережную Арно. Отдушины эти – нельзя сказать чтобы отличались благовонием, тем более что в них вы не встретили бы ни разу обычной надписи: *Si il nome christiano portate* {Если вы носите христианское имя (итал.).} {3} и т. д. Нельзя сказать также, чтобы кьяссо отличались особенными изяществом и роскошью. Из них под вечер выскакивают обыкновенно на Лунгарно или оборванные синьоры "с чужим ребенком на руках" {4} и с припевом, действующим ужасно на человеческие нервы, если только эти нервы не канаты или не укреплены какой-нибудь крепко всаженой в них теорией – хотя бы теорией, например, английской о вреде безразличной помощи ближним или нашей доморощенной об исключительной помощи соотечественникам. Но теория, как известно, мастерски вьет из человеческих нервов канаты, на которые ничто не действует, даже болезненный, пожалуй, выученный, но лучше сказать, вымученный тон стона синьоры в отребиях, {5} преследующей вас своим *sono fame, signer, sono fame* {я голодна, синьор, я голодна (итал.).} от Понте-Веккио до Понте делла Тринита и гораздо далее, нагло – но как-то жалко-нагло цепляющейся вам за рукав, поспевающей за вами, как бы вы ни ускоряли ваши шаги. Не могу также добросовестно сказать, чтобы кьяссо были замечательны относительно целомудрия их обитателей. *Pst, pst* – этот призывный клич слышится вам из окон почти во всякое время дня и ночи и, право, едва ли не болезненней *Jo sono fame* действует на вас, особенно когда вы только что вышли из галереи Уффиции или шли из-за Ольтр-Арно, {6} из палатцо Питти, где женственная красота и чистота столь бесконечно разнообразными идеалами наполняли вашу душу, так уверили вас в своем бытии, такие гармонические ответы дали на ваши вопросы.

А задние окна моей комнаты, как нарочно, выходили на один из таких кьяссо, и я мог всегда, когда только захочу, иметь перед глазами отрицательную поверку идеалов.

Был апрель. Итальянская весна дышала всем, чем ей дано дышать и целыми стенами роз по стенам садов в городе и по дорогам за горе дом, и блестящей совсем молоденькой, разноотливистой зеленью в Кашинах, и целыми роями ночных светляков в траве, скачущих, летающих, кружащихся перед вашими глазами, как маленькие огненные эльфы. Была весна... но, впрочем, что я говорю – была, лучше сказать – стала весна, основательно

утвердилась, потому что еще и прежде в конце февраля, в начале марта, она вдруг, неожиданно высывывала иным утром из-за травки, из-за листьев деревьев свою светленькую кудрявую головку и вдруг обдавала вас жгучим пламенным взглядом. Не шутя я помню совсем весенний, дышащий росой и свежестью вечер в один из первых дней великого поста и совсем весеннее, сияющее, обдающее жаром утро с палящими лучами солнца, нагревшими ожидавшую меня у Сан-Донатской церкви карету. Итак, весна стала...

Толковать о том, какое тревожное, немного страстное, немного тоскливое чувство развивает в душе северного человека весна, – будет, кажется, совершенно излишне; на тысячу ладов и всегда разнообразно пересказывали нам об этом странном чувстве наши поэты, особенно трое из них. {7} Лучше их мне не сказать – смешные бы это были претензии повторять ими сказанное, сводить в новую мозаическую картинку помеченные ими черты, уловленные ими оттенки, одним словом, сочиняя по печатным источникам физиологию весенних чувств... это повело б нас бог знает как далеко, в целую этуду, а таковой мне писать в настоящую минуту не хочется. Скажу вам только то, что сам особенно почувствовал. Иногда мне казалось, что либо наша весна лучше, или мы, северные люди, глубже чувствуем. А в сущности ни то ни другое. Наша весна приходит резче, приходит с тальми ручьями, возбуждая больше ожиданий, сильнее раздражает нервы, изменяя радикально все природы, обращая ее из белой в зеленую, из сжатой и суровой в растявшую, распускаяющуюся, сильнее и тревожнее дышащую всеми порами после долгого усыпления под снежным саваном. Одним словом – вот поневоле обратишься к любимым поэтам – весной у нас

Еще лежит, белеясь средь полей,
Последний снег и постепенно тает, {8}

и оттого-то таким криком радости, ликования приветствуем мы ее:

Весна идет! Весна идет! {9} – и оттого-то:

Какой-то странной жаждою
Невольно грудь полна,
И над душою каждою
Проносится весна... {10}

Да, "май вылетает к нам" из "царства вьюг и снега". {11} Мы его ценим, мы ценим весну как гостя, – а в Италии она вечный жилец, только притаивающийся на время. Весна в Италии, как шалун мальчик, которого поставили в угол: нет-нет– да вдруг и выкинет он гримасу, в которой проглянет самая безнадежная неисправимость, самая неистовая жажда жизни. Зимой я часто дрог благодаря безобразию каминов, ибо до печей итальянцы, по милой распушенности своей, не дошли, да и никогда не дойдут, несмотря на многократные опыты холодов до замерзания маленьких ручьев; мужчины греются в кофейных, а женщины... но зачем женщины копят себя проклятыми жаровнями? Кабы вы знали, как это неприятно, особенно принимая во внимание прирожденную неопрятность всякой синьоры и

синьорины! !.. Итак, зимою бывало страшно холодно... Выйдешь продроглый на Лунгарно, на солнце – лучи его сияют по-весеннему и поневоле долой верхнее платье... Сошед с Лунгарно, углубишься немного в эти узкие улицы, с их мрачными и сырыми каменными комодами и сундуками, носящими название домов, – и опять дрожишь до нового пространства, до нового просвета ярких, всегда весенних лучей солнца... Я помню, раз в самом разгаре зимы вздумалось мне ехать в Сиенну; только что вышел я за городские ворота, на пространство между зданием железной дороги и Кашинами... всякая зима исчезла у меня из глаз и помышлений. Налево зелень Кашин, – толпы легко одетых женщин пешком, экипажи с дамами, которые только из явного кокетства набросили на плеча опущенные мехом или даже вовсе не опущенные мантильи... Солнце жжет – а это было в конце января. Мои читатели, не бывавшие в Италии, подумают, что я им сказки сказываю?.. Не так ли?

Но мое путешествие в Сиенну обращает меня к предмету моего рассказа... Дело в том, что с начала апреля я особенно хандрил – не только что вследствие влияния весны на нервы, но потому еще, что был один. Приятель мой Иван Иванович тоже уехал в Сиенну после святой недели. Другой мой приятель, несмотря на свое богатырское сложение, раскис до противности от тоски по отъезде любимого предмета и при каждом свидании терзал меня – Господи! что влюбление может сделать даже из умного и порядочного человека маниловскими мечтами о мечте семейных радостей... и замучил совсем, заставляя раз по пяти при свидании аккомпанировать себе, когда он с искренним неистовством пел что-то такое из опер Донидзетти, в чем беспрерывно звучали слова: "Vedi im angelo, un angelo in Ciel" {"Я видел ангела, ангела в небесах" (итал.).} – это что-то было, коли хотите, вещь прелестная, равно как и одна весенняя серенада, сочинение флорентийского маэстро, аббата Федериги (аббаты там нередко композиторы весьма страстные, по старой памяти), – и пел все это мой друг так хорошо, как поют соловьи в весеннюю пору, но от повторения все это приелось... Я жаждал Ивана Ивановича с его эксцентрическими движениями, едкой хандрой, "метеорскими" выходками и тонкими замечаниями – даже с его цинизмом, наконец, с его дикими, противными "загулами".

Я заметил вообще, что мы особенно жаждем того, что или скоро нам дается, или уж вовсе никогда не дастся, так что наша жажда есть или простое чутье собаки на трюфли, {12} или неугомонная работа червя, подтачивающего и без того уже гнилое дерево.

Иван Иванович дался мне очень скоро – стало быть, жажда моя была чутье пса.

В один прекрасный день – употребляя это казенное выражение вовсе не в казенном его смысле, ибо день в самом деле был прекрасный, – отобедавши в ближайшей от меня trattoria {13} delle antiche Carozze, я решительно не знал, что с собою делать до самого вечера, когда я мох идти к одной

прелестной до самых зрелых лет и впечатлительной – вероятно, до самой дряхлости – женщине; и такие экземпляры, надобно заметить, встречаются только между северными женщинами: да и туда как-то против обыкновения не манило. Разговор наш с нею принимал всегда такое серьезное, почти суровое направление, так искренно касался глубоких вопросов души и жизни, что мне не хотелось серьезного разговора – мной владели лень и апатия, из которой может вывести душу только новое впечатление, а уж никаким образом не анализ. Правда – и честь за это женщинам вообще, честь глубине и мягкости женской натуры – мне случалось выносить из бесед с моей доброй соотечественницей чувство светлое, примиряющее; но в самом светлом чувстве было что-то унылое, как свет сумерек, что-то похожее на затихшую боль, на усталое и готовое за что угодно ухватиться сомнение. Такого впечатления я не хотел – да и, во всяком случае, его надобно было ожидать до вечера, а было еще только четыре часа. Идти в монастырь Сан-Марко и отдаться всей душой великой религиозной поэме фресков Беато Анджелико... Для этого надобно было быть способным хоть на минуту переселиться сердцем в ее пролог, в страстное упоение страдания, с которым его Доминик судорожно обнимает крест Распятого, – а способность переселяться в подобные миры

Лишь в лучшие мгновенья
Бытия слетает к нам... {15}

как сказал наш Беато Анджелико, Жуковский.

...Когда я вошел в свою комнату, куда решил возвратиться на время, она, с ее холодным мрамором каминов, окон и столов – в Италии ничем ведь мрамор; вы его часто встретите там, где уж никак не ожидаете, – показалась мне еще унылее, еще серее, в противоположности с тем ярким весенним светом, который заливал половину площади del gran Duca. Бессмысленно прислонился я к окну и бессмысленно стал глядеть на мрачную и узкую улицу; явления были все известные: santo padre {святой отец, монах (итал.)} с кружкой и с закрытым лицом, немного покачиваясь справа налево, тянул с сильным горловым акцентом однообразную литанию, {16} испрашивая подаяния бедным, разносчик безжалостно-звонко, всей ужасной полнотою итальянского грудного крика орал: "Carciofi, carciofi". {"Артишоки, артишоки!" (итал.)} Проревел, наконец, трижды и ослик под грузом какой-то тяжести; прошли, громко рассуждая и размахивая руками, трое тосканских солдат, да какая-то растрепанная синьора густыми контрольными ногами обругала – или, как говорится у нас в Москве, обложила куплетами – засаленного и босого на одну ногу мальчишку... Во всех этих звуках было что-то такое полное и сильное, что бывает подчас совершенно непереносно и для наших северных нервов... Мне не раз случалось чувствовать истинную злобу на разносчиков и торговцев Флоренции, на какое-то ужасное, зверское, разбойничье выражение лиц их, при беспощадном сиповато-грудном крике, – как в другие минуты случалось ценить и любить эту силу, мощь, порыв

итальянской природы – разлитые всюду: в человеческом голосе, в реве осла, в стрекотанье итальянских кузнечиков, которые всегда мне казались задатками итальянских теноров, – ибо, право, у каждого итальянского кузнечика бычачья грудь невыпешегося, но сильнейшего тенора Ремиджио Бертолини, которого слышал я целый осенний сезон... Но в этот день я бы не вынес и Ремиджио Бертолини, и кузнечиков: тем неприятнее действовали на меня звуки, несшиеся из улицы. Попробовал отойти от окна и приняться за чтение – как раз оказалось, что дело неподходящее... Глаза читали, а душа была далеко – где именно, и сама она не знала с точностью; а была далеко, в каких-то весенних снах, в тех легких и прозрачных снах отрочества, которых невозможность так тяжела в тридцать пять лет... На часах пробило пять. Вошла синьора Линда с кувшином горячей воды per il the, {для чаю (итал.).} ибо я и в Италии сохранил привычку пить три раза в день китайский напиток, от которого итальянцы, если вы его им предложите, отказываются со словами: Gratia, signore, non voglio purgar mi... {Благодарю, синьор, я не хочу слабительного (итал.).} На этот раз я сам отказался от чаю, ибо даже на меня, привыкшего, как москвич, к его употреблению, он стал сильно действовать весной, только не в том отношении, в каком бояться его итальянцы... Вместо того чтобы пить чай, я вдруг спросил синьору Линду: "Carissima signora, dite mi – avete un amante?" {"Дражайшая синьора, скажите мне – есть ли у вас возлюбленный?" (итал.).}

Линда, крошечное, добродушно-миленькое, хотя немножко рябенькое и значительно неопрятное существо, нимало не смутилась от моего вопроса и тотчас же отвечала с самой наивною радостью, как будто бы выиграла в тосканскую лотерею 300 пиастров:

– Si, signor!! {– Да, синьор!! (итал.).}

Право – что-то такое детски-радостное было в этом ответе, что... да что тут говорить – мне стало просто досадно.

Чтобы дать, однако, какую-нибудь приличную причину моему жалкому вопросу, я достал несколько пар затасканных перчаток "l'amante della signora". {"для возлюбленного синьоры" (итал.).}

"Signora" ушла в истинном восторге, – а я... опять остался один.

Наконец я решился на крайнее, последнее, отчаянное средство – я пошел в Кашины.

Вовсе не гиперболически называю я это крайним, последним, отчаянным средством. Большая часть моих читателей не знают конечно, что такое Кашины. Кашины (Cashine) – герцогский загородный скотный двор, с прекрасным парком, с прекрасными узенькими дорожками для пешеходов и с широкими для экипажей. Там присутствует ежедневно вся фешенебельная Флоренция и даже вся не фешенебельная зимой от трех до шести часов, летом от пяти до семи. Не фешенебельная гуляет по лесу и по берегу Арно... Фешенебельная сосредоточивается на пьяццоне. Место прекрасное, нечто вроде берлинского Тиргартена, если вы его знаете, и наших Сокольников, которые вы наверно знаете, только гораздо лучше Тиргартена и несравненно

хуже Сокольников. Во всяком случае, из этого описания Кашин читатели никак не поймут, почему мне так трудно было собраться в Кашины. Все зависит, извольте видеть, от обстоятельств. Идя в Кашины, я имел два шанса: или попасть на берег Арно и неминуемо встретить доброго приятеля, мечтающего о мечте семейных радостей, или героически решиться на пьяццоне, на эту небольшую площадку, загроможденную стоящими экипажа: всегда одними и теми же, напоминающими всегда одни и те же попы интриги, *de secrets, que tout le monde connait*, {тайны, всем известные (франц.)} которые известны тому, что сами интригующие об этом всем рассказывают. Чтобы понять все то омерзение, которое чувствовал я к пьяццоне, надобно знать хоть немного, хоть по слуху, – что такое Флоренция – не та Флоренция, которая раскидывается перед вами своими сурово-стильными памятниками прошедшего, которую полюбите вы искренно в театрах, кофейнях и на узких улицах, несмотря на все неистовство итальянского горлана. Нет! а болотная, сонная, праздная, делающая "ничего", "*il far niente*" (это совсем не то, что ничего не делающая), погрязшая в маленьких интригах и пошлых сплетнях, не могущая жить и дышать без этих сплетен. Отнимите от Флоренции ее вековечное прошедшее и в настоят поглубже лежащие пласты ее населения – и вы получите в результате губернский город Т. или В. или какой хотите. Пока вы – как со мной было целых полгода видите и знаете только верхние, снаружи лежащие пласты жизни, вы готовы сказать, что жизнь здесь одряблела, разменялась на мелочь, на бесконечную пошлость, однообразную, безличную, как стертая монета. По этим наружи лежащим пластам жизни проходит именно наша губернская струя: с одной стороны, всеобщая радость всякому маленькому скандалу, с другой добродушное правило: "кому какое дело, что кума с кумом сидела", – и этим, коли вы хотите, объясняется предпочтение Флоренции другим городам Италии всеми праздношатающимися лицами обоего пола из разных иностранных наций. Во Флоренции – безграничная терпимость в отношении ко всяким скандалам и вместе с тем вечный толк о скандалах, интересы губернских сплетен, стертость и пошлость мелочной, дрянью удовлетворяющейся жизни... Но об этом когда-нибудь после. Теперь же сделал я черную заметку потому, что мне хотелось объяснить вам все мое отвращение к пьяццоне, этому губернаторскому саду губернского города Флоренска.

А все-таки из двух зол я предпочел идти на пьяццону... В чужих мечтах есть что-то раздражающее, что-то вызывающее на отрицание всегда более или менее крайнее, преувеличенное, стало быть, всегда более или менее ложное, за что после упрекаешь самого себя, как за некоторую позировку. Человек так уж устроен, что, когда он становится в близкое отношение к другому человеку, ему хочется всегда заставить ближнего быть зеркалом, в котором он может глядеться, когда захочет, и весьма редко удается одержать такую победу над самим собою, чтобы обратиться самому в зеркало для ближнего. Я, может быть, еще более других – говорю это без малейшей натяжки – способен быть зеркалом для чужой радости, чужого горя и чужих интересов –

но ненадолго: отрицательное или, проще, не возвышенным слогом говоря, самолюбивое начало берет верх, и зеркало начинает показывать доверчиво смотрящемуся ближнему на лицо его и гримасы лица. Хорошо это или дурно – право, я не знаю. В былую пору я назвал бы это критическим отношением к личностям, да этим бы и порешил, как будто сказал дело; в былую пору я стал бы даже уверять, что сам готов вытерпеть в отношении к собственной особе то, что один приятель называет прöderгиванием и в чем он, между прочим, большой мастер, но говоря так, я бы только добросовестно наддувал самого себя и других... Я знал целый кружок, в котором прöderгивание, критическое отношение друг к другу – было чисто догматом, и в ту пору я искренно негодовал на одного весьма желчного и раздражительного господина, который говаривал, что ни одного ближнего не следует баловать до того, чтобы он когда угодно мог безнаказанно запускать лапы, часто довольно грязные, во внутренность искренней души. Кто был правее: кружок или желчный господин, для меня доселе осталось еще загадкой; знаю только, что в самом кружке каждый любил систему прöderгивания только в отношении к другим и никак не мог сохранить надлежащего спокойствия, когда очередь доходила до его собственной особы; знаю, с другой стороны, что и в правиле желчного господина отражалось оскорбленное самолюбие, что это правило вело к чистому самопоклонению.

Впрочем, я весь обратился в сомнение, – и вы, мои читатели – не слушайте меня, а поступайте по собственному сердцу. Если оно и лжет в вас, то лжет все-таки наивнее, добросовестнее чужого правила.

Когда я дошел до пьяццони, обычная жизнь ее была в полном разгаре, т. е. празднующиеся юноши и старцы (некоторые из старцев пляшут во Флоренции до 80 лет, и с большим успехом) слонялись между экипажами, передавая итальянским синьорам и нашим русским барыням обычные сплетни; грек, капитан российской службы, сидя на скамье подле музыкантов, рассказывал под гром музыки в сто пятьдесятый раз о давно известном карнавальном скандале, не щадя репутации соотечественниц; столетний шевалье, спящий за званными обедами, потому что спать ночью мешают ему стучающие духи, и евший, по сказаниям общества, человеческое мясо на островах Тихого океана, таскал по пьяццоне свою длинную и худую, как шест, особу; англичанки с неподвижною чинностью сидели в колясках, а зато одна из наших львиц хохотала без умолку с пожилым, но красивым итальянцем, картинно опиравшимся правою рукою на ее коляску... одним словом, явления обычные.

Вдруг из-за толпы, окружавшей музыкантов, которые играли из Верди что-то неумолимо-шумное, показался Иван Иванович. Я так и бросился к нему.

– Хорош, нечего сказать, – закричал я, невольно увлекшись неожиданностью его появления, – хорош! Во Флоренции – и глаз не покажете.

– Здравствуйте, – отвечал он, прорываясь ко мне и обеими руками схватывая мою протянутую руку. – Можете себе представить, – продолжал он, что я только что сейчас с железной дороги.

– Как сейчас?

– Так... Багаж – впрочем, багаж мой, как вы знаете, весьма невелик, прибавил он с добродушной улыбкой, – бросил в Сан-Донатто у приятеля, а сам помчался сюда, чтобы как-нибудь добить полтора часа до театра.

– До театра? Что вдруг за страсть припала к театру... Корради, что ли, вы не слышали? Он спал с голоса: тенор слаб – basso profundo {глубокий, низкий бас (итал.).} груб, как дубина, и трио идет отвратительно. А примадонна – немка. В дуэте Арнольдо и Матильды {17} она и тенор это две немезаных телеги, которые одна на другую наезжают... – Все это проговорил я скороговоркою и со всем увлечением злобной досады, потому что накануне был жестоко обманут в своих ожиданиях насчет "Вильгельма Телля". Обещала Пергола {18} в этот сезон что-нибудь пунное и надула страшно. Во всю осень и зиму только и был хороший оперный сезон от сентября до половины декабря, когда в Перголе пели "Джованну ду Гузман" (местное переименование "Сицилийских вечере") {19} да "Троватора" {20} Альбертини и муж ее Бокарде, а в Пальяно Ремиджио Бертолини без особенного искусства, но с могучеством свежего голоса и дикою энергиею производил Рауля в "Anglican!" (местное же переименование "Гугенотов")... {21} Иван Иванович знал все это, как и я же, – и оттого-то стремление его к театральному позорщику показалось мне поистине изумительным.

Но, прежде всего, вы не знаете, мои почтенные читатели, кто такой Иван Иванович. Скажу вам откровенно, что вы и мало узнаете о нем и о его судьбах из сего первого рассказа. Одиссея о нем – весьма длинная одиссея. На первый раз скажу вам, что Иван Иванович один из моих старых университетских товарищей, что в былые времена подавал, как говорится, "блестящие надежды" всему своему факультету и последующую жизнь жестоко разочаровал благодушно-доверчивый и почтенный факультет в его надеждах, что вот уже года четыре, как он шляется за границу, проживая маленький капитал, который достался ему после престарелой бабки. Мы с Иваном Ивановичем живали несколько раз полосами общею жизнью – и вот в городе Флоренске выпала нам опять такая общая полоса. Скажу вам еще, что Иван Иванович – брюнет, и, кроме знойно черных, но каких-то усталых глаз, особенных примет не имеет: с лица довольно худ, и худоба его еще поразительнее от его длинных, висящих до плеч волос, губы у него тонкие и бледные, иногда странно судорожно подергивающиеся – и это самая резкая особенность его физиономии. Что вам еще прибавить о нем? Да... он отлично играет на гитаре, хоть никогда этим, как, может быть, и ничем вообще серьезно, не занимался – и от него-то с предпоследней полосы нашей общей с ним жизни происходит моя несчастная страсть к этому инструменту, очень нелегко дающемуся, несмотря на все мои труды и усилия, приводившие в глубокое отчаяние всех моих домашних и всех московских друзей, и поныне,

рано или поздно, но постоянно успевающие приводить в некоторое остервенение хозяев различных квартир и отелей, в которых случается мне жить за границу. Есть безнадежные страсти, и они с годами безнадежно же укореняются. Выщипывать иногда тоны из непослушного инструмента стало для меня такой же необходимостью, как выпить утром стакан чаю, – и ведь надобно правду сказать, что, когда я говорю о безнадежности страсти своей, я делаю уступку злым приятелям и не менее злым хозяевам квартир и отелей. Надежда никогда не покидает человека. Во всяком случае, в моей гитарной страсти виноват Иван Иванович, виноваты эти полные, могучие и вместе мягкие, унылые, как-то интимные звуки, которые слышал я только от него и от Соколовского и которые, как идеал, звучат в моих ушах, когда я выламываю свои пальцы. Один из злых приятелей, {22} из лютейших и безжалостнейших врагов моей гитары, – в минуту спекулятивного {23} настроения, когда всякое безобразие объясняется высшими принципами, понял это. "Господа, – сказал он, обращаясь к другим приятелям, – они в это время играли все в карты, а я, уставши играть и взявшись за лежавшую на диване гитару, старался выщипать унылые и вместе уносящие тоны "Венгерки". Господа, – сказал мой приятель (вероятно, ему пришли в это время в голову разные выводы из столь любимой им психологической системы Бенеке), – я понимаю, что он слышит в этих тонах не то, что мы слышим, а совсем другое".

Действительно – широкая и хватающая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая "Венгерка" Ивана Ивановича раздавалась в это время в моих ушах.

"Да нам-то какво!.." – заметил на это другой приятель. Все захохотали, но замечание психолога все-таки было справедливо, – и я до сих пор, без надежды когда-либо услышать вновь в действительности могучий тон Ивана Ивановича, слышу его "душевым ухом". Почему же не быть и душевному уху, когда Гамлет видит отца в "очах души" своей. Но довольно обо мне и довольно об Иване Ивановиче – о нем, разумеется, довольно только на сей раз.

В ответ на всю мою злобную выходку против флорентийской оперы Иван Иванович сказал только:

– Гусь же вы, однако!

– Как гусь?

– Так, как гуси бывают... Вы толкуете мне об опере, а я вам говорю о Сальвини... – И он взглянул при этом настолько с торжеством, насколько обычная, унылая усталость его взгляда допускала торжество... – А я вам говорю о первом трагике Италии, – продолжал он с жаром... – может быть, добавил он еще с большим жаром, – о первом трагике в свете... Понимаете?

– Нет, все-таки не понимаю – *ich bin eben so klug, wie ich vordem war*, {я также мудр, как и раньше (нем.).} как говорят немцы.

– Здесь ведь теперь в Кокомоно играет драматическая труппа – не так ли?

– Да... только я в Кокомоно не был с тех самых пор, как мы вместе с вами слышали импровизаторшу...

– И когда мы ее так безжалостно с вами отделявали – помните? – сказал он смеясь.

– Мы с вами... т. е. вы ее отделявали, – возразил я... – Вот то-то и дело, бог вас поймет, Иван Иванович, то вы все режете анатомическим ножом, то вы чуть что не скачете от какого-то неизвестного господина Сальвини... Это у вас капризы, немецкая Laune, {прихоть (нем.)} приливы...

– Неизвестного... – проворчал сквозь зубы Иван Иванович... – И это говорит господин, – продолжал он громко и сердитым тоном, – который имеет претензию на самостоятельность взгляда, на неподогретость – я вашим языком говорю – чувства... И, во-первых, это неправда. Сальвини играл в Париже и произвел там фурор, а во-вторых, и Мочалов был неизвестен в Европе.

– То дело другое, – возразил я, – мы еще не Европа.

– Да неужели вы думаете, что итальянский актер бывает известен где-нибудь, кроме Италии? Я говорю об актере, а не о певцах.

– Чувствую... А Ристори?

– Видели вы Ристори?

– Нет, не видал, но о ней много говорят.

– И я не видал, и я знаю тоже, что о ней много говорят. А знаете ли, почему говорят и именно говорят во Франции?.. Потому что во Франции была Рашель, – а такое необычайное явление как-то требует всегда сравнений и сличений... Я думаю, что если б какая-нибудь эфиопка приехала в Париж играть роли Рашели на эфиопском языке – французы и ее бы сравнивали с Рашелью... А кстати, – окончил Иван Иванович... – Не совестно вам было написать ваше стихотворение "Рашель и правда"?

– Да вы где и в чем видели Сальвини? – спросил я, не отвечая по многим причинам на его вопрос. {24}

Иван Иванович лукаво-мягко взглянул на меня и отвечал:

– В Риме – и во всем, в трагедиях Альфиери и в "Отелло" Шекспира... даже во французских драмах ходил я его смотреть, как хаживали мы, бывало, смотреть Мочалова в "Скопине-Шуйском" {25} и в "Уголино"... {26} Но дело не в том, где и в чем я его видел. Если б я даже его вовсе не видал, мое желание видеть знаменитого итальянского актера все-таки было бы понятнее вашего цинического равнодушия.

– Permesso, signore... {Разрешите, синьор... (итал.)} – обратился к нему запачканный и оборванный итальянец в рыжем пальто, из которого, по общему стремлению итальянцев к их типическому костюму, он успел образовать эффектно накинутую на плеча мантилью. Слова его значили, что он желает закурить сигару – и Иван Иванович молча протянул ему свою. – Grazia tanto!.. {Большое спасибо!.. (итал.)} – сказал итальянец и оборотился к музыкантам.

– Однако пойдете – пора. Полчаса седьмого, – обратился ко мне Иван Иванович, взглянув на часы.

– Вот как... часы завелись! – заметил я насмешливо. – Надолго ли?

– Глупый, с позволения сказать, вопрос, мой милейший, – отвечал Иван Иванович, несколько не смущаясь, – глупый потому, что совершенно лишний... Часы – это касса сбережения ходячей монеты, до первого востребования... Однако пора, говорю я вам.

Мы пошли.

– Знаете ли, что в вашем равнодушии, – начал опять Иван Иванович, только что мы вышли в аллею, миновавши мизерную кофейную Кашиня, – много непоследовательности... Вы вообще гораздо смелее пишете, т. е. говорите с самим собою, нежели говорите с другими... Между этим равнодушием и тем значением, которое придаете вы трагической струе в человеческой душе, лежит целая бездна. После того, что вы мне читали, именно от вас-то и надобно было ждать, что вы броситесь, как угорелый, на представления Сальвини... В сущности вы ведь ждете трагика как некоторого откровения, как подтверждения вашей внутренней веры...

– Послушайте, – отвечал я уже совершенно серьезным тоном... – То, что видел я здесь до сих пор по этой части – и в чем, как хотите, а должен все-таки выказаться тон итальянского трагизма – не могло мне дать подтверждения веры. Вспомните представление "Медеи", не истовый крик и зверообразные гримасы актрисы, позировки Язона., все это я лучше хочу видеть на площадях, где продавец разных медицинских средств, размахивая руками, с патетическим тоном рассказывает толпе об удивительной, чудесной силе своих товаров, – чем в театре. Итальянская трагедия – опера... вот это дело другое. Помните, даже тщедушная Альбертини обращалась в трагический образ в сцене восстания в первом акте "Джованни ди Гузман" – и помните в каком я был восторге. Вспомните притом, сколько раз я добросовестнейшим образом обманывал себя в своих исканиях трагического!! Я вам рассказывал, кажется, что, увлеченный криками толпы, я не мог устоять в своем первом впечатлении от игры одного молодого актера.

– Нет, не рассказывали, – отвечал Иван Иванович. – Это очень любопытно.

– Не знаю, любопытно или нет, но для меня самого это факт весьма важный и наводящий на размышления... Явился раз на сцене моле дои дебутанг. {27} Я ходил его смотреть всякий раз – и несколько раз сряду мне все казалось одно и то же, что природа не создала его трагиком. Голос у него был сильный и звонкий; того, что называется теплотой и что в трагизме гроша не стоит, было у него ужасно много, – рутиня уже в него вьелась – проникла во все: в интонации, в эффектные заканчиванья монологов, в движения. А главное, главное, что бесило меня, – это была физиономия, красивая, благодушная до телячьего благодушия, да еще преобладание сентиментального тона – лучше сказать у него только и был один тон, тот тон, в котором заканчивал покойный Мочалов первый акт драмы "Смерть или честь", {28} словами: "о надежды человеческие, что вы такое?..". Этого тона трагику мало – и не им бы великий Мочалов, т. е., пожалуй, и им, но в соединении с другими тонами. Мнение свое выражал я открыто. Юный трагик сердился –

да и множество приятелей стали на меня сердиться. Публика встречала и провожал нового любимца постоянными рукоплесканиями. Он переиграл множество ролей, мочаловских и каратыгинских создания, лица не было и в одной... но между тем что-то было, что-то он играл, играл искренне и нельзя было сказать, что это нарочно, что это только игра. Нет – какие-то стороны лиц он играл взаправду, и этим он был много выше другого, опытного актера, который все лица играл нарочно, хотя между ними обоими было много общего в сентиментальном тоне... Вот это что-то его игры, соединенное с некоторою верою в общее увлечение с некоторою трусостью собственного чувства, под конец увлекло меня – ненадолго правда, но увлекло. Потом это что-то, разумеется, всем приелось. Начали говорить, что он недобросовестно учит роли, что он на деется только на средства своей груди... Может быть, и так, но кажется, правее было мое первое впечатление. Он не был рожден трагиком – и что бы он ни делал для ролей, он всегда чувствовал бы только одну их сторону, а прочие выходили бы не живые, а деланные... Вот вам один мой опыт. Хотите другой?

– Я вас слушаю внимательно и принимаю ваши слова к сведению, – отвечал задумчиво мой приятель.

– Были вы в Берлине? – спросил я.

– Был – а что?

– Кого вы там видели из трагиков?

– Дессуара или Дессойра – не знаю, право, как произносится его имя.

– Ну и я его видел... В Ричарде III видели?

– Видел.

– Ну что ж?

– Да то же, что вы сказали о другом, только с другой стороны. Он не поэт, а сочинитель: он делает роль...

– И ведь удивительно искусно делает, – перебил я... – Помните последнюю сцену первого акта, сцену с убийцами. Тут было сделано – до ужаса.

– Правду вам сказать, – отвечал Иван Иванович, – он разочаровал меня только с третьего акта. Помните ли вы сцену с Анною в первом акте? Несмотря на общую форсировку немецкой трагической дикции, на общую же угловатость движений, – она была ведена так искусно, что только потом уж я догадался, что это искусственно. Потом костюмировка, историческая верность образа, мастерство в отделке частных деталей!! Влияние первого акта на меня было таково, что, когда во втором он появился в залу, куда привели умирающего короля, его появление навело на меня ужас, смешанный с отвращением... Жаба какая-то, випера... {29}

– Ну да... – перервал я опять. – Почти так чувствовал я, и почувствовал бы, вероятно, всякий, в ком любовь к шекспировским трагическим образам приготовляет известного рода душевную подкладку... Но второй же акт и положил предел всему, что можно сделать, – так что все дальнейшее обличило только сделанность предшествовавшего... От целого представления вы, вероятно, как и я же – чувствовали удивительное наслаждение, но какое-

то холодное, совсем ученое наслаждение. Не только Ричард – все актеры ужасно умно сочиняли свои роли: в представлении была гармония, целость...

– И великолепная обстановка, – перебил Иван Иванович. – Помните появление теней и их совершенно незаметное исчезание?

– Ну да – все это было отлично сделано: я помню, что я мог победить даже свою прирожденную русскую насмешливость в отношении: к напыщенности немецкого тона чтения. Но трагизмом тут не пахло.

– Да! тут трагизмом не пахло – вы правы, – сказал Иван Иванович. – Я знаю, что уже под конец третьего акта я желал, чтобы исчезла эта великолепная и добросовестная постановка, вся эта исторически верная подделка костюма и наружности и даже привычек главного лица... чтобы все это заменить хоть на минуту одним мочаловским звуком, одним вулканическим порывом. Фу! – как низко упал Дессуар в сцене, где он велит трубами заглушить проклятия матери, и как ничего не выгорело из его эффектного молчания по ее уходе... У вас хорошо сохранились в памяти мочаловские представления Ричарда?

– Мочаловские минуты – да! а представления, целые представления довольно тускло. Я видел его в Ричарде, когда мне было лет четырнадцать. Правда, что меня с девяти лет начали возить в театр и что я видел Мочалова во всем, что ни играл он, – отвечал я.

– Ну-с – я ведь тоже вырос на Мочалове, – начал опять Иван Иванович, только так как я вас годом старше – то и воспоминания мои несколько определеннее. У меня перед глазами – и безобразный, какой-то полиняло-бланжевый костюм Мочалова... припоминаете? и декорации, которые так же могли представлять Париж, Флоренцию, даже Пекин – как и Лондон; предо мною и несчастнейший, выступающий гусиным шагом Боккингем или Буккингем – с твердейшим ударением на букву г произносилось это имя, и Клеренс, которого, видимо, протрезвляли целые сутки, – ведь это все было уже давно, очень давно, во времена патриархальные, и леди Анна такая, что лучше фигуры нельзя было бы желать для жены гоголевского портного в "Шинели"... И из-за всего этого вырисовывается мрачная, зловещая фигура хромого демона с судорожными движениями, с огненными глазами... Полиняло-бланжевый костюм исчезает, малорослая фигура растет в исполнинский образ какого-то змея, удава. Именно змея: он, как змей-прельститель, становился хором с леди Анною, он магнетизировал ее своим фосфорически-ослепительным взглядом и мелодическими тонами своего голоса...

– Боже мой, что это был за голос, – перебил я невольно... – В самой мелодичности было что-то энергическое, мужское; не было никогда противной, аффективно-детской сентиментальности, которая так несносна в разных *jeunes premiers*, {первых любовниках (франц.).} не было даже и юношеского... Нет, это была мелодичность тонов все-таки густых, тонов грудного тенора, потрясающих своей вибрацией... Ну как же вы, Иван Иванович, после этого сердитесь на меня, что я не бегу смотреть, как угорелый, на вашего Сальвини? То, что мы видали с вами, неповторяемо.

– А в самом деле, – проговорил Иван Иванович своим обычным задумчивым тоном, – какие условия должен соединять в себе трагик для того, чтобы можно было верить в трагизм!...

Разговор завлек нас обоих так, что мы дошли уж до Понте della Trinita и только тут заметили, что взяли самую дальнюю дорогу.

Иван Иванович вынул опять часы, посмотрел на них с добродушной иронией, раскрыл и взглянувши сказал: – Эх! не опоздать бы!

– А вы все-таки хотите? – спросил я.

– Да уж нельзя же, – отвечал он.

– Ну, так и быть – и я с вами.

Мы опять пошли по направлению к piazza del gran Duca.

Шли мы опять так же тихо и опять так же мало заботясь о том, что выбрали самую дальнюю дорогу к театру Кокомеру... Надобно вам сказать, что мы с Иваном Ивановичем все итальянские названия площадей, улиц, церквей и проч. склоняли по-русски: так, Trinita склонялось у нас Тринита, Триниты, Трините, Тринитою, о Трините, – Иван Иванович импровизировал даже раз в альбом одной из милейших соотечественниц стихотворение, начинавшееся:

Когда пройду я, бывало, Гибеллину

И выбравшись на площадь Триниту.

Итак, мы пошли к театру del Cosomero, спеша медленно и продолжая прерванный разговор.

– Вы говорите – условия! – начал я... – Да вот что, – и я остановился идти и остановил Ивана Ивановича за металлическую пуговицу его бархатного пиджака... – Истинный трагик такая же редкость, как белый негр. Право... Физиономия у трагика должна быть, особенная, голос особенный и, *par dessus le marche*, {сверх всего этого (франц.)} душа особенная.

– Но именно *par dessus le marche*, – заметил Иван Иванович. – Одной души трагической мало: надобно, чтоб средства у нее были выразить себя...

– А что такое трагическая душа, Иван Иванович?

– Бог ее знает, что она такое, – отвечал он. – Может быть, именно то, что вы называете веянием... {30}

– Да, – сказал я, почувствовавши себя на своей почве... – Трагик как Мочалов есть именно какое-то веяние, какое-то бурное дыхание. Он был целая эпоха – и стоял неизмеримо выше всех драматургов, которые для него писали роли. Он умел создавать высоко-поэтические лица из самого жалкого хлама: что ему ни давали, он – разумеется, если был в духе – на все налагал свою печать, печать внутреннего, душевного трагизма, печать романтического, обаятельного и всегда – зловещего. Он не умел играть рыцарей доброты и великодушия... Пошлый Мейнау {31} Коцебу выросал у него в лицо, полное почти байронской меланхолии, той *melancolie ardente*, {пламенной меланхолии (франц.)} которую надобно отличать от меланхолии, переводимой на язык хохлацкого жарта мехлюдий...

– А из Ляпунова-то в "Скопине Шуйском" что он делал? – с живостию перебил Иван Иванович... – Он уловил единственную поэтическую струю этого дикого господина – я говорю о Ляпунове драмы, а не о великом историческом Прокопии Петровиче Ляпунове, – он поймал одну ноту и на ней основал свою роль. Эта нота – стих:

До смерти мучься... мучься после смерти!

Ну и вышел поэтический образ, о котором, вероятно, и не мечталось драме, рассчитывавшей совсем на другие эффекты.

– То-то и дело, – перервал в свою очередь я, – Мочалов, играя всегда одно веяние своей эпохи, брал одну струю и между тем играл не страсти человеческие, а лица, с полною их личною жизнью. Как великий инстинктивный художник, он создавал портреты в своей манере, в своем колорите – и, переходя в жизнь представляемого лица, играл все-таки собственную душу – т. е. опять-таки романтическое веяние эпохи. Коли хотите, можно было критиковать каждое его создание – как объективное, даже самое лучшее, даже Гамлета. Ведь Гамлет, которого он нам давал, радикально расходился – хоть бы, например, с гетевским представлением о Гамлете. {32} Уныло зловещее, что есть в Гамлете, явно пересиливало все другие стороны характера, в иных порывах вредило даже идее о бессилии воли, которую мы привыкли соединять с образом Гамлета...

– То-то привыкли! – сквозь зубы сказал Иван Иванович. – Помните, у некоторых "господ – разумеется, у мальчишек литературных – смелость приложения этой идеи бессилия воли доходила до совершенно московской хватки, до сопоставления Гамлета с Подколесиным... {33} Видели вы, кстати, как раз играли у нас Шекспира по комментариям и Гамлета по гетевскому представлению, {34} доведенному до московской ясности?

Я расхохотался, как сумасшедший. Память нарисовала передо мной все это безобразие – и Гамлета, сентиментального до слабоумия, детского до приторности, верного до мелочности всему тому, что в Шекспире есть ветошь и тряпки, – до спущенного чулка и обнаженной коленки, и Офелию, которую доставали нарочно – искали, видите, чистейшей простоты и "непосредственности" – и которая мяукала какие-то английские народные мотивы, а главное, короля, прелестного короля, ходившего и садившегося по комментариям, толстого, но с постной физиономией три дня не кормленного *santo padre*...

– Ну вот видите, – сказал Иван Иванович, когда я достаточно объяснил ему причину своего смеха... – Вы еще одну прелестную подробность забыли: несколько мальчишек, громко рассуждавших в фойе {35} о том, что в первый раз играют в Гамлете человека, – да положение публики, совершенно не знавшей, как к этому делу отнестись... Ну скажите же мне, кто тут, в этом до сентиментальности развенчанном Гамлете, понимал бессилие воли и тому подобные психологические тонкости... Да что уж Гамлет... Те, которые нередко плакали от бывалой Офелии {36} – талантливой в сценах безумия, хотя отвратительной дурным тоном до этих сцен безумия, которым песни ее

были понятны в музыке инстинктивно-гениального Варламова, – все эти господа и госпожи находились в совершенной конфузии от постного представления по комментариям. Мальчишки кричали о невежественности публики... а для кого же, я вас спрашиваю, театр существует, как не для массы, не для публики?

– Разумеется, – отвечал я, – Мочалов-то тем был и велик, что поэзия его созданий была, как веяние эпохи, доступна всем и каждому – одним тоньше, другим глубже, но всем. Эта страшная поэзия, закружившая самого трагика, разбившая Полежаева и несколько других даровитейших натур, в этом числе поэта Иеронима Южного, – эта поэзия имела разные отражения, в разных сферах общества. Одна из глубоких черт Любима Торцова {37} Островского-это то, что он жертва мочаловского влияния; еще резче наш поэт выразил это в лице заколоченного в голову до помешательства и помешавшегося на трагическом Купидоши Брускова... {38}

– Да-с... великий трагик есть целая жизнь эпохи, – перервал Иван Иванович. – И после этого будут говорить, что влияние великого актера мимолетное!

– Вы сказали, жизнь... Не вся жизнь, но жизнь в ее напряженности, в ее лихорадке, в ее, коли хотите – лиризме.

Мы были уже между тем на площади del gran Duca.

Милостивые государи! Я вас ничем не беспокоил из-за границы: ни рассуждениями о влиянии иезуитов и о борьбе с ними Джемберти, ни благоговением к волосам Лукреции Борджиа, {39} ни Дантом – ничем, решительно ничем. Я был свидетелем, как перекладывали из старых гробов в новые множество Медичисов и лицом к лицу встретился с некоторыми из них – и ни о чем я вам не рассказывал... но в настоящую минуту, только что помянул я площадь del gran Duca, – во мне возродилось желание страшное сказать о ней несколько слов, с полной, впрочем, уверенностью, что если вы" ее не видели, то мой восторг от нее не будет вам понятен, а если видели, то приходили в восторг и без меня... А все-таки я даю себе волю. Потому что изящнее, величавей этой площади не найдется нигде – изойдите, как говорится, всю вселенную... потому что другого Palazzo vecchio – этого удивительного сочетания необычайной легкости с самою жесткой суровостью вы тщетно будете искать в других городах Италии, а стало быть, и в целом мире. А один ли Palazzo vecchio... Вон направо от него – я ставлю вас на тот пункт, с которого мы с Иваном Ивановичем шли в этот вечер на площадь, – вон направо от него громадная колоннада Уффиции, с ее великолепным залом без потолка, между двумя частями здания, с мраморно-неподвижными ликами великих мужей столь обильной великими мужами Тосканы. Вон направо же изящное и опять сурово-изящное творение Орканьи – Лоджиа, где в дурную погоду собирались некогда старшины флорентийского веча и где ныне – tutantur tempora {времена меняются (лат.).} – разыгрывается на Святой флорентийская томбола!.. {40} Вон налево палаццо архитектуры Рафаэля – еще левей широкая Кальцайола, флорентийское Корсо, {41} ведущее к

Duomo, которого гигантский купол и прелестнейшая, вся в инкрустациях, колокольня виднеется издали. А статуи?.. Ведь эти статуи, выставленные на волю дождей и всяких стихий – вы посмотрите на них... Вся Лоджия Орканьи полна статуями – и между ними зелено-медный Персей Бенвенуто Челлини и похищение Сабинок... А вот между палаццо Веккио и Уффиции могучее, хотя не довольно изящное создание Микель Анджело, его Давид, мечущий пращу, с тупым взглядом, с какою-то бессмысленною, неразумною силою во всем положении, а вон Нептун, а вон совсем налево Косма Медичис на коне, работа Джованни да Болонья. И всем этом такое поразительное единство тона – такой одинаково почтенный, многовековый, серьезный колорит разлит по всей пьядце, что он представляет собою особый мир, захватывающий вас под свое влияние, разумеется, если вы не путешествуете только для собирания на месте фотографических видов и не мечтаете только о том, как вы будете их показывать по вечерам в семейном или даже не семейном кружке... Если вы способны переходить душою в различные миры, вы часто будете ходить на пьядцу del gran Duca... Днем ли, при ярком сиянии солнца, ночью ли, когда месячный свет сообщает яркую белизну несколько потемневшим статуям Лоджии и освещает как-то фантастически перспективу колоннад Уффиции... вы всегда будете поражены целостью, единством, даже замкнутостью этого особенного мира, – и когда вы увидите эту дивную пьядцу – чего я вам искренно, душевно желаю, в интересе расширения симпатий вашей души – вы поймете, почему я перервал в рассуждения страницей об одном из изящнейших созданий великой многовековой жизни и человеческого гения.

Даже и в этот раз мы с Иваном Ивановичем, по несколько раз в день видевшие пьядцу, не могли удержаться от того, чтобы не заметить эффект освещения ее вечерним светом. Заметил, впрочем, это не я, а он, потому что две недели его не было во Флоренции и, стало быть, его чувство зрения было менее притуплено обычными пунктами.

Замечали ли вы, что, если разговор двух лиц прерван каким-нибудь малоинтересным вмешательством третьего ближнего, его возобновить еще можно, даже иногда довольно легко – душевный строй ваш остался после таким же, каким был до удара по нему обухом любезного ближнего, ибо струны этого странного инструмента, называемого человеческою душою, чрезвычайно упруги; но если разговор ваш прервался душевным впечатлением, если на струны, необычайно чуткие, подействовала струя иного воздуха, то надобно быть немцем, чтобы опять выкапывать со дна души старое впечатление, надобно положительно не верить в жизнь и наития, а верить только в поставленный вопрос и в теорию, из оного развивающуюся, – надобно иметь душу-книжку.

Иметь душу-книжку есть великое благо... для науки и сциэнтифических {42} споров, но знаете ли, что есть еще большее благо: иметь душу-комод, со множеством ящиков, из которых в один кладутся старые тряпки в другой кухонные припасы, в третий то, в четвертый другое, и наконец там в десятый, одиннадцатый возвышенные впечатления. Все это по востребованию

вынимается, потом в случае нужды опять кладется на место и заменяется другим. Я встречал много таких душ, как мужских, так дамских. Последние в особенности чрезвычайно милы, когда устроен комодами: *c'est tres commode* {это очень удобно (франц.).} – пошлый каламбур, коли хотите, но это в самом деле удобно и главное дело – душа-комод ни к чему не обязывается, потому что все в ней совместимо.

Так как ни я, ни мой безалабернейший из смертных приятель не имели счастья при рождении быть награждены душою-книжкой или душою-комодом, то мы до самого Кокомо не пытались продолжать прерванного новыми впечатлениями... Вечер был так хорош, Кальцайола так кипела жизнью, контральные ноты груди итальянских женщин звучали так полно, попавшаяся нам синьора Джузеппина, которую мы прозвали "золотою" после поездки на церемонию в Прато, ибо в самом деле без ее предводительства и наивно-дерзкой расторопности мы ничего бы там не увидели и вдобавок, не попавши на железную дорогу, принуждены были бы ночевать, может быть, *sur le pave du bon Dieu* {на мостовой господина бога (франц.).}, – синьора Джузеппина так обольстительно завязала слегка шею легкой ярко-красной шелковой косынкой, отчего ее черные огненные глаза получили еще более пламенный отлив... что мы забыли обо всем, кроме полногласной, полногрудной, яркой, пестрой и простодушной жизни, нас окружавшей. Мы дышали всеми порами, мы впивали в себя эти чистые, еще свежие, но уже сладострастно-упоительные, густые, как влага настоящего Орвиетто, струи весеннего воздуха – мы шли, отдаваясь каким-то странным снам, меняясь изредка замечаниями насчет физиономий попадавшихся нам женщин, и так достигли до площади собора, до *piazza del Duomo*... Читатель или читательница... вы уже бледнеете – не бойтесь: на сей раз вам не грозит никакой опасности. Мы пройдем с вами мимо *Duomo*, как прошли мимо, не обративши даже на него внимания, с Иваном Ивановичем...

Миновавши *cafe "Piccolo Helvetic"*, Иван Иванович заметил только: что ж? опять сюда зайдем после театра.

– Иван Иванович!.. – сказал я тоном упрёка. И слово опять, употребленное Иван Ивановичем, и мой тон упрёка объяснятся впоследствии.

Огромный хвост был уже у театра Кокомо, когда мы подошли к нему. Стало быть – надобно было *lasciar ogni speranza*, {оставить всякую надежду (итал.).} {43} заплатить только интрату {44} и найти хорошее местечко в партере. Пришлось брать *posto distinto*. Надобно вам сказать – если вы этого не знаете, а впрочем, если и знаете, то не беда, – что во Флоренции платится в театры за вход, платится интрага. Если вы хотите иметь нумерованное место в первых рядах, так называемое *posto distinto*, – вы платите за него особенно. Никто почти, кроме особенных высокотожественных случаев, не берет этих отдельных мест. Берут, разумеется, англичане да некоторые из наших соотечественников – да и то из последних немногие, ибо наш, уж ежели раскутится, то берет ложу, "один в четырех каретах поедет". {45} На этот раз мы едва, однако, нашли и *posti distinti*. По всему видно было, что

представление – высокаторжественное. Когда я с трудом достал афишу – афиш там, собственно, и нет в смысле наших и немецких, а есть огромными буквами напечатанные театральные объявления, у меня невольный озноб пробежал по составу. На афише стояло: *Otello, il moro di Venezia, tragedia di Guglielmo SK (sic!) akspearo – tradotta e ridotta per la scena da Garcano...* {Отелло, венецианский мавр, трагедия Вильяма Шекспира, переведенная и переделанная для сцены Каркано (итал.).}

Отелло! Шекспировский Отелло! Отелло, как бы он ни был *tradotto e ridotto!*

Театр был битком набит, и притом набит не той массой, которая обыкновенно наполняет Перголу или другие оперные театры, которой совершенно все равно, что бы ни представляли, – ибо в то время, как примадонна поет свою лучшую арию, большая часть публики делает по локам визиты своим знакомым. В театре Кокомеро – чисто драматическом пьесы не даются по несколько недель сряду и на него не смотрят, как на залу какого-нибудь казино – притом же в нем и меньше откупных лож, стало быть, и меньше обычных посетителей. Публика, наполнявшая его в этот вечер, представляла смесь публики перголовской с тою живою, подвижною, волнующею массою, которую найдете вы во время карнавального сезона во всех маленьких театрах, которая жарко и не чинясь сочувствует успехам или плутням своего Стентерелло, {46} негодует на артистов, представляющих его врагов, и преследует их часто криками *o! scelerato... {o! злодей... (итал.)}* Я обрадовался этой публике, волновавшейся и жужжавшей как рой пчел, и, садясь на свое *posto distinto*, заметил о ее присутствии Ивану Ивановичу... До начала представления оставалось еще четверть часа – и так как ложи бенеуара и бельэтажа по общепринятому в большом свете всех стран порядку наполняются только в начале представления – да и вообще-то эти два ряда лож перестали уже нас с ним интересоваться, то мы с ним и стали прислушиваться к тому громкому и резкому жужжанию, которое, не умолкая, раздавалось позади. Об этом жужжании не можно составить себе и понятия, не бывши в Италии. В выражении чувствований, даже самых домашних, никто тут не церемонится. Говор в театрах, особенно до начала представления, гораздо живее, чем в кофейнях. Оно и понятно, почему. Публика, платящая только интрату забирается пораньше большею частью целыми компаниями, запасаящимися возами апельсинов, сушеных фиг, миндалю и грецких орехов. О милая простодушная и энергическая масса! как мы с Иваном Ивановичем полюбили ее в карнавальный сезон, полюбили все в ней от резких, не сколько декорационных очертаний ее физиономий и картинной закидки итальянского плащика до ее простодушной грубости в отношениях, грубости, в которой, право, затаено больше взаимного уважения людей друг к другу, чем в гладкости французов и чинной приторности немцев: я говорю это насчет театральной массы и притом партерной. Она своим простодушием напоминала нам нашу массу райка – как и вообще многие черты типического, не стертого итальянского характера напоминали

нам иногда черты славянские... Мы только выдержаннее или задержаннее, потому на вид суровее, но внутренне мы страстны, как южное племя, страстность наша не выделалась в типы, в картинность движений и определенность порывов – и нам же, конечно, от этого лучше: перед нами много впереди!

Об этом мы прежде уже успели наговориться вдоволь с Иваном Ивановичем и потому в эту минуту молчали, прислушиваясь только к общему жужжанию, вследствие чего оно в ближайших позади нас рядах все более и более переходило для нас в явственный говор... Женские голоса особенно сильно звенели в этом говоре грудными нотами или ворковали теми горловыми звуками, которые даны только итальянкам и цыганкам... Иван Иванович не утерпел, однако, чтобы в десятый, может быть, раз не указать мне на действительно поразительное сходство женщин этих двух различных племен. Для него, четверть жизни проведенного с цыганскими хорами, знавшего их все, от знаменитых хоров Марьиной роши и до диких таборов, кочующих иногда около Москвы за Серпуховскою заставою, нарочно выучившегося говорить по-цыгански до того, что он мог безопасно ходить в эти таборы и быть там принимаемым как истинный "Романэ Чаво", – для него это была одна из любимых тем разговоров... Подходили ли мы с ним в Уффици к одной из картин Бассано, изображающей итальянское семейство за ужином, – он не мог обойтись без того, чтобы не обратить моего внимания на женщин с мандолинами и в особенности на действительно цыганский тип лица старухи и при этом случае замечал, что у молодых цыганок черты лица тоньше итальянских – чисто декорационных черт, теряющих много на близком расстоянии, – и что только старухи-цыганки совсем похожи на старух итальянских... Бывали ли мы с ним в одном из оперных театров – он доходил до того, что начинал уже звать труппу Перголы хором Ивана Васильева, {47} труппу Пальяно хором Петра Соколова, а маленькую труппу Боргоньизанти, где, однако, был удивительно даровитый и ловкий комик-баритон да прелестный и свежий, хотя еще не выпевшийся сопрано молоденькой примадонны, – одним из безвестных хоров Марьиной роши, откуда вербуются часто контральто какой-либо Стеши {48} или Маши-козлика... Сначала, разумеется, мне странно было слушать его парадоксы, потом я к ним привык и сам, большой любитель племени цыган и их пения, перестал оскорбляться сравнением двух рас с истинно-прирожденною музыкальностью, хотя, может быть, и неравною. Он и теперь не прочь был бы пуститься рыскать по одному из любимых полей, тем более что домашние тайны двух синьор, лет уже довольно зрелых, и рассказ их о том, как муж застал синьору Аннунциату с синьором Винченцо и что из сего впоследствии последовало, интересовал нас довольно мало... но раздался звонок к поднятию занавеса. Странно, что мы тут только заметили отсутствие оркестра и нашу близость к сцене. Как то, так и другое нам чрезвычайно понравилось. К шекспировскому Отелло не шла бы ни *fiara polka*, {ярмарочная полька (итал.)} ни даже – да простит мне великий итальянский маэстро! –

россиниевская увертюра к опере: в ней не слышать Яго, как не слышать его в самой опере. Перед Шекспиром давайте либо бетховенскую музыку, либо уж вовсе никакой не нужно!.. По крайней мере согласитесь, что уж polka fiata вовсе не шла бы, тем более что публика не удержалась бы не подкрикнуть единодушно в ее середине оркестру, ибо это – polka с криком, полька армарка, как показывает самое ее название.

Занавес поднимался и, к сожалению, с препятствиями: вверху зацепился за что-то, и партерная толпа дружно и наивно хохотала над его бесплодными усилиями.

– Как бы, – заметил Иван Иванович, – в былую пору, в умозрительную пору молодости мы с вами негодовали на этот хохот массы!

– А вам и он нравится? – спросил я, сам уже, впрочем, свободный от классического негодования.

– Как все живое и простое, – отвечал он. – Я был раз свидетелем в Берлине подобного же происшествия – и признаюсь я вам, несмотря на все желания проникнуться глубочайшим уважением к невозмутимо серьезности немцев, приготовлявшихся проштудировать Гамлета, – не мог видеть в этом ничего, кроме отсутствия живой комической струи.

– Да ведь вы сами больше трагик, чем комик по душе, Иван Иванович?

– Да вот, я трагик, как вы говорите, и между тем... но после, т. е. слушайте!..

Прежде чем слушать, я хотел, однако, видеть.

Декорации были просты, но делал их художник, а не мастеровой, ибо они дышали Венецией и ни одна черта не нарушала венецианского впечатления... Сначала, слушая разговор Яго и Родриго, я желал только дознаться – поэт или мастеровой возвращал Отелло на почву Италии, как только оказалось, что поэт, т. е. такой человек, который чувствует и передает тип лица, то я на этот счет совершенно успокоился...

Актер, игравший Яго, был далеко не трагик, но с первого раза видно было, что он человек умный. Ни злодейской выступки, ни насупленных бровей... ничего подобного. Это был просто человек лет тридцати, продувная итальянская бестия, с постоянно юмористическим оттенком в обращении с Родриго – этим загулявшим совсем синьором, – готовый сам загуливать с ним, только, конечно, не на собственный счет, шатавшийся с ним по всем возможным albergo, {гостиницам (итал.)} тратториям и темным кьяссо, an Ruffian {сводник и сплетник (итал.)} – как зовет его Брабанцио. Когда он заговорил о мстительном чувстве своем к Мавру, в его речах послышался самый искренни но опять-таки несколько не напряженно трагический тон итальянской прирожденной вендетты – и это несколько меня смутило. Когда-то я был убежден и даже писал о том, что у Яго нет личного мщения к Отелло, что поводы его мстить основаны, с одной стороны, на деле ничтожном – на повышении перед ним Кассио, да на подозрении – чисто им самим выдуманном насчет того, что Мавр осквернил его супружеское ложе,

что Яго ненавидит Мавра инстинктивно, непосредственно, как все мелочное и низкое ненавидит все широкое и великое, что в Яго есть начало змеи, ехидны. Когда раз я говорил об этом с Иваном Ивановичем, он расхохотался и назвал мою мысль немецким умозрением и вдобавок еще оскорблением Шекспира, который ищет всегда для зла пружин чисто человеческих, а не демонских: в Ричарде уродства и безобразия, соединенных с ужасно энергией) души, в Макбете величия, поистине достойного первого места, с слабостью души, не могущей устоять против самолюбия и против внушений жены, в Яго мельчайшей чиновничьей раздражительности, соединенной с громадным своей плутоватостью умом, сознающим свое превосходство в деле мошенничества до артистического им восхищения... И вот итальянский актер, не бог знает как даровитый, но очень умный и играющий искренно, как итальянец выполнял передо мною не моего, а скорей Иван Ивановичева Яго... Представление становилось поучительным. Оно и не могло быть, впрочем, иначе. Отелло возвращался на почву, с которой был взят, на ту грубую, может быть, почву, но, во всяком случае, коренную его почву, на которой выросил его Giral di Cintio в своей новелле *del capitano Moro chi prende per Mogliera una cittadina Venetiana et caet...* {о полководце мавре, который взял в жены жительницу Венеции и т. д. (итал., лат.).} {50} Яго рос не как трагик, а как умный актер с каждым шагом в разговоре с Родриго умел ловко и жизненно выставить все итальянские стороны характера. Сцена с Брабанцио – стариком, который только что сорвался как будто со стен галерей портретов праотцев владельца одного из итальянских палаццо, прошла также благополучно, т. е. в нее можно было поверить, как в настоящее, совершившееся событие.

Но вот перемена декорации – и показался сам Отелло. Гром рукоплесканий приветствовал трагика... Флоренция уже знала его – но если б и не знала, то есть такие наружности и такие входы, при которых рукоплескания совершенно понятны. Изящнее, величавее и стройнее наружности я еще не видывал: это было нечто среднее между исполинским ростом Каратыгина и очень средним Мочалова, на гримированной по условиям роли физиономии ярко сверкали огненные глаза и, кроме того, Это была не безобразная физиономия хамита-негра, а открытая, благородно-спокойная и, несмотря на зрелый возраст, прекрасная, хотя бронзовая физиономия семита-мавра. В поступи, в движениях видна была исполненная сознания достоинства простота сына степей, соединенная с образованностью средневекового итальянского генерала. Костюм его был великолепен; яркие цвета Востока играли в нем значительную роль, но между тем это был не турок, не араб, а венецианец, сохранивший только некоторые из привычек Востока в манере одеваться... Все эти условия весьма важны, ибо все это поясняет магическое обаяние, которое произвел он на Дездемону.

Покамест только еще и можно было сказать о трагике – да, может быть, и хорошо было то, что только еще и сказать было можно. Так уже надоели мне разные Отелло, появляющиеся с громом и треском, что на меня довольно

сильно подействовала простота Сальвини... В разговоре его с Яго, с Кассио – было такое отсутствие желания напрашиваться на рукоплескания, а в разговоре с Брабанцио такая почтительная и достойная зрелого человека вежливость к оскорбленному им старику, – что цивилизованный уже Мавр и много испытывавший вождь являлся в нем очевидно и ярко.

Но вот и зала сената, вот и почтенный старец, дож Венеции, – все это настоящее, как зала сената, все это костюмированное сообразно эпохе, говорящее важно, степенно, но по-человечески,двигающееся по сцене совершенно свободно и знающее свое место. А между тем – никакой особенно роскошной обстановки тут не было – да и откуда бы очень небогатый театрик Кокомомеро взял роскошную обстановку? Были тут только итальянское художественное чутье да итальянская почва. Одного только не мог я никак понять: какой добрый дух внушил "итальянцам играть Шекспира так просто, им, ломающим трагедии в пьесах Альфьери; не могущим напечатать афишки без штуки вроде *tragedia del immortale Alfieri*, или *comedia del immortale Goldoni*, {трагедия бессмертного Альфиери... комедия бессмертного Гольдони (итал.).} не могущим продать зубного эликсира без пластических размахиваний руками и необузданного потока напыщенных речей?.. Да – какой-то добрый дух вмешивался, видимо, в представление "Отелло"... Только Дездемона не соответствовала шекспировскому идеалу, потому что была чистая, кровная итальянка средней и южной Италии, а не рыжая или белокурая венецианка, – она была слишком пластична, слишком рельефна, а не легка, грациозна и прозрачна, как все шекспировские женщины, кроме Джульетты и без исключения нервной и разбиваемой преступлением леди Макбет. Самый тон ее звучал излишнею страстностью и густотою контральтовых нот, а ведь Шекспир ясно говорит об одном из своих поэтических идеалов:

Голос

У ней был нежный, тихий и приятный

Вещь в женщине прелестная. {51}

Нет-нет – какая была это Дездемона, "лиана, обвинявшая около мощного дуба" {52} (слова поэта о другом его идеале, который он поставил в комичнейшее положение обвиняться плющом или лианою вокруг ослиной шеи). В такой энергической и итальянски-прямой перед сенатов женщине – вовсе непонятны ни ее последующее легкомыслие чистоты ни ее кошачьи приставанья {53} к Отелло, ни то северно-меланхолическое чем окружен ее образ в сцене песни об иве и в сцене смерти.

Я, однако, с нетерпением стал ожидать знаменитого объяснения перед сенатом. Вот выступил и Отелло: странно – но он не произвел тут на меня впечатления – несмотря на все удивительные, то мелодические, то металлические звуки его голоса... Мне казалось, и доселе еще я думаю казалось верно, – что так можно и, пожалуй, должно читать октавы Тасса, но

не эту задушевную исповедь, представляющую собою один из венцов шекспировского драматического лиризма, исповедь, в которой все правда – и простота тона и обилие восточных метафор. Одно было хорошо, что Сальвини тут не ярился, как яряты другие Отелло... И мне опять припомнилось одно из удачных представлений мочаловских, в котором именно эта исповедь высказалась такими глубоко верными тонами, после которых никакие другие не вообразимы хоть, правду сказать, бывали другие представления, когда и наш великий трагик фальшивил в ней ужасно...

Но не только уже мало впечатления, а впечатление дурное произвела на меня сцена с Дездемоной, перед уходом. Зазвучали какие-то приторные, слишком юношеские ноты...

Я стал внимательно прислушиваться и приглядываться к заключительной сцене Яго с Родриго. Яго вел ее очень умно, мастерски скрыл даже резкости шекспировской формы – беспрестанное упоминание кошелька, играл отлично в итальянски-трагичном тоне, который, между прочим, очень близок к нашему, ловко и с подходом издевался над Родриго: но ведь этого мало – тут у Яго заключительный монолог... Пусть и прав Иван Иванович, пусть мстительность и зависть составляют пружины действия Яго, – но он способен быть артистом зла, способен любоваться своей адской расчетливостью, своим критическим предведением; тут уже не просто мошенник, а софист, который порешил для себя все сомнения и колебания, окончательно отдался злему началу. Тут уже нужен трагик...

Акт кончился. Мы с Иваном Ивановичем молча вышли из *posti distinti* и молча же пошли в театральную кофейню, сальнее и грязнее которой едва ли найдется где-либо другая в целом мире, исключая опять-таки Флоренцию, – ибо кофейня театра Боргоньиссанти еще краше этой.

Сохраняя то же молчание, Иван Иванович подошел к буфету, вонзил в себя (я вообще желаю сохранить для потомства многие его выражения) рюмку коньяку, – застегнул оную апельсином, выбросил павел (т. е. паоло) {54} и оборотился ко мне.

– Вы говорили мне, – начал он, продолжая есть апельсин, – что я трагик. Пожалуй, так, но я трагик такого сорта, что понимание трагического у меня идет об руку с пониманием комического. Мне смешны те люди, которые восторгаются Рафаэлем и не понимают фламандцев: по-моему, они и Рафаэля-то не понимают... А трагизм ходульный мне смешнее, чем кому-либо другому, – вы это знаете... Да! да! – продолжал он с жаром, – много нужно трагику для того, чтобы можно было поверить в трагизм.

– Один актер, мой приятель, {55} – начал я, – большой мастер на рассказы, удивительно представляет провинциального трагика. Его рассказ этот рассказ я слышал перед самым отъездом за границу и он уцелел у меня в памяти, вместе с последнею сходкою множества разъезжавшихся в разные стороны друзей...

– Господи! вы и говорить наконец привыкаете такими же несносно-длинными периодами, какими иногда пишете, – перебил с нетерпением Иван Иванович... Ну-с... его рассказ – ведь в нем дело, а не в ваших приятелях... Но постойте... я пройду еще по коньячилле.

– Иван Иванович! – начал было я с упреком, но видя, что он уже свое дело кончил мгновенно, я ограничился только замечанием насчет того, что он заражен в выражениях тоном Яго и Родриго.

– Рассказ его, – продолжал я затем, – произвел на меня сильное впечатление. Не могу вам передать всего комизма его, ибо много комизма пропадет за отсутствием мимики и интонаций. Приятель мой отлично представлял, как трагик – Ляпунов, рычавший неистово в четвертом акте Скопина-Шуйского, рычит еще и по закрытии занавеса, рычит в уборной, рычит, когда его вызывает беснующаяся публика и т. д., как он потом напивается у содержателя, ругает его, недовольный им за его несправедливости и подлости, ибо трагики без негодования на несправедливости и подлости существовать не могут, – и под конец, в злобе на неверность первой трагической артистки, скусывает ей нос на прощанье... Все мы хохотали до судорог, но мне все приходила в голову мысль, – что ведь это только комическое представление черт, которые существуют и – может быть – должны существовать в истинном, великом трагике; мне приходил в голову великий трагик, которого я знал лично... {56} Как вы думаете, верит ли и в какой степени верит трагик в представляемые им душевные движения?.. {57}

– Ну, это длинный вопрос... пойдемте, пора, – сказал Иван Иванович. Должно быть, начинают, видите, никого не осталось в кофейной...

– А что ж Сальвини, – спросил я не уходя.

– Ничего: посмотрим! – отвечал Иван Иванович... – Мне что-то доброе сдается.

– И мне, – сказал я.

В задний план сцены уже колотили что есть мочи чурбанами, что обозначало пальбу из пушек, когда мы вошли, – значит, прибыли корабли в Кипр. Садясь, мы застали уже на сцене Кассио, Монтано и про чих. Потом, как следует, явились Яго и Дездемона – и кстати, знаете ли что это имя произносится итальянцами не Дездемона, как мы произносим и как выходит по складу стиха у самого отца ее, а Дездемона. Половина острот и куплетов Яго была выброшена – да я об них и не жалел: их надо или передавать с солью, понятной для современной публики, или лучше вовсе выбрасывать. Явился Отелло, и я был опять поражен его наружностью и новой костюмировкой – уже совсем воинственной, но опять изящной без изысканности. Несколько слов к Дездемоне были сказаны так душевно и так мелодически, звучали такою пламенно страстью, что все вместе оправдывало увлечение молодой венецианки пятидесятилетним сыном стелей, бурь и битв... Он был чудно хорош – своим коричневым лицом, с высоким, изрытым морщинами челом под чалмою, обвивавшей блестящий стальной шлем, с

двоими пламенным глазами, в белом плаще, из-под которого сверкали латы... Толпа снова встретила его взрывом – и в самом деле, так просто-величаво умел входить только он... *Vogrei amar lo un giojno e poi morir!*. {Любить его хоть один день, а потом умереть!.. (итал.)} говорила мне потом синьора Джузеппиа.

Дальнейшие сцены по уходе его до вторичного его появления шли гладко и не оскорбляли ничем фальшивым, – хотя Яго начал все более и более оказываться несостоятельным в них как трагик, – да и, признаться, я видел только одного состоятельного Яго, именно М** (я не хочу льстить никому из живых наших), когда он играл с покойным К**, {58} – ну да М** играет и Гамлета, играет не нарочно, а взаправду! Я помню зловещее, мрачное, зло-радостное выражение лица его и всей фигуры, когда он напаивает Кассио и поет песню о серебряной чарочке... Зато целость всего была более чем удовлетворительна, и вся история походила на жизнь, а не на театральное позорище, – а ведь великое дело целость: без целости исчезала для массы и игра хоть бы помянутого мною М**, без целости обстановки мог играть только Мочалов и вообще могут играть только гении первой величины... С ними как-то все забывается, всякое безобразие исчезает, – и я помню, что никому не было смешно, когда великая Паста пела по-итальянски, а хоры отвечивали ей по-русски:

Здравствуй, здравствуй, о царица,
Здравствуй, здравствуй, красная!.. {59}

В представлении, которое я описываю, все шло очень живо благодаря Художественной натуре итальянцев и какому-то доброму гению, внушившему актерам играть Шекспира, как они играют своего *immortale* Goldoni. Самая драка Монтано с Кассио вышла отлично, вышла так, что могла разбудить Отелло, вырвать его из объятий его обожаемой Дездемоны.

Явился сам – и это появление самого действительно могло заставить прильпнуть язык к гортани. {60} Вы знаете, что немногоречив тут Отелло, но немногие речи его были поистине грозны, – а лучше-то всего, что и появление и речи вовсе не рассчитывали на эффект. Старый венецианский генерал задал страху своим подчиненным и только, – но все поверили тому, что он задал им страху. И вновь мелодически-страстные тоны, но в которых звучало еще не стихшее раздражение, – раздались при появлении Дездемоны... Я уверился, что всего этого нельзя было сделать, что это рождено вдохновением, что сей господин играет, по удачному выражению Писемского, нервами, а не кровью. Иван Иванович взял меня под руку по конце второго акта (что означало у него особенное, лирическое расположение), и мы опять направились в кофейню.

– Ну-с!.. – сказал он, поглядевши на меня с торжеством.

– Да-с! – отвечал я ему, не употребивши даже обычного между нами присловья, что *Nuss* по-немецки значит орех.

Этим разговором мы и ограничились... Иван Иванович выпил еще одну рюмку коньяку, на что я смотрел с горьким чувством неудовольствия, ибо знал по многократным опытам, что подобная быстрота деятельности весьма надолго не предвещала ничего хорошего; впрочем, не приступал к нему с советами и укорами по причине их совершенной и по опытам же дознанной бесполезности. Зная притом, что он огасал – как он выразался – очень не скоро, я насчет сегодняшнего вечера оставался покоен. Его загулы длились обыкновенно по целым неделям, но только к концу их приходил он в то нервическое состояние, в котором человек бывает способен видеть существа иного мира, большею частию. в образе зеленого змея или маленьких дразнящих языками бесенят... В первые же поры он доходил только до трагизма, до мрачной хандры, чтения стихов из лермонтовского "Маскарада" и бессвязных, но ядовитых воспоминаний.

Мы вышли из кофейной скоро – третий акт еще не начинался, а так как в зале театра было душно, то мы прошли еще по коридорам, все-так же, впрочем, молча.

Вот тут-то и встретил я золотую и милейшую синьору Джузеппину, Глаза у нее решительно разгорелись, узел красной косынки на ее смуглой, но совершенно античной шее переехал как-то набок, густая труба левого локона находилась в ближайшем расстоянии от глаза, тогда как правая сохраняла законную близость к уху. Она была истинно прекрасна в эту минуту, и хотя шла об руку с двумя другими синьорами, но бросила одну из них и энергически схватила мою руку.

– *L'avete già veduto, signer A.?* {– Видели ли вы его раньше, синьор А.?. (итал.).} – спросила меня она, сверкнувши взглядом. Я отвечал, что еще нет, что вижу в первый раз – но что понимаю ее восторг.

Вот тут-то, стиснувши мне руку и наклонившись ко мне, чтоб не слышал Иван Иванович, которого она мало знала, и сказала она мне сладострастным шопотом: О! – любить его хоть день и потом умереть... Фраза, коли хотите, совсем оперная, избитая – но потому-то она так и избита в оперных либретто, что живет в душе итальянской женщины – Джузеппине нужно было только кому-нибудь сказаться – и сказавшись, она тотчас же меня бросила.

Да и нам пора было идти.

По обыкновению, выпущены были первые сцены третьего акта – и он начат был прямо с разговора между Дездемоной, Эмилией и Кассио. Отелло вошел опять в новом, т. е. домашнем, костюме и без чалмы, – так что тут только можно было вполне оценить всю выразительность физиономии Сальвини. Да и зачем Отелло будет носить чалму у себя в комнатах?.. Ему предстояла тут огромная задача: провести в разговоре с просящей за Кассио Дездемоной тревожную ноту странного чувства, заброшенного в его душу

замечанием Яго: "это мне не нравится". Обыкновенным нашим трагикам это очень легко – они ярятся с самого начала, ибо понимают в Отелло одну только дикую его сторону. Но Сальвини показал в Отелло человека, в котором дух уже восторжествовал над кровью, которого любовь Дездемоны замирила со всеми претерпенными им бедствиями... У него как-то нервно задрожали лицо и губы от замечания Яго, и только нервное потрясение внес он в разговор с Дездемоной, – он еще не сердился на нее за ее докучное и детское приставанье к нему, он порой отвечал ей только как-то механически, и было только видно, что замечание Яго его не покидает ни на минуту... Но не знаю, как чувствовали другие, а по мне пробежала холодная струя... Звуки уже расстроенных душевных струн, но не порывистые, а еще тихие, слышались в восклицании: "чудное создание... проклятие душе моей, если я не люблю тебя... а если разлюблю, то снова будет хаос"... Вся безрадостно до встречи с Дездемоной прожитая жизнь, все те чувства, с которыми утопающий хватается за доску – за единственное спасение, и все смутное сомнение слышались в этой нервной дрожи голоса, выделись в этом мраком скорби подернувшимся лице... И потом в начале страшного разговора с Яго он все ходил, сосредоточенный, не возвышая тона голоса, и это было ужасно... Временами только вырывались полувопли... Когда вошла опять Дездемона, – все еще дух мучительно торжествовал над кровью, – все еще хотелось бедному Мавру удержать руками свой якорь спасения, впиться в него зубами, если изменят руки... О! только тот, кто жил и страдал, поймет эту адскую минуту последних, отчаянных, неестественно напряженных усилий удержать тот мир, в котором душа прожила блаженнейшие сны!.. Ведь с верою в него расстаться тяжело, и не скоро расстанешься: даже в полуразбитой вере еще будет слышаться глубокая, страстная нежность... Она-то, эта нежность, но соединенная с жалобным, беспредельно грустным выражением прорвалась в тихо сказанном "Andiamo!" (Пойдем!) – и от этого тихого слова застонала и заревела масса партера, а Иван Иванович судорожно сжал мою руку. Я взглянул на него. В лице у него не было ни кровинки...

- Он, он!.. – шепнул мой приятель с лихорадочным выражением.
- Кто он?..
- Мочалов!

Да это точно был он, наш незаменимый, он в самые блестящие минуты... Мне сдавалось, что сам пол дрожал нервически под шагами Сальвини, как некогда под шагами Мочалова.

Мы ждали его снова, слушая, впрочем, Яго и Эмилию... ибо таково свойство артистической игры, что она вводит человека во всю драму, как в нечто живое.

Когда он явился с словами: "Ahi! donna infida...", {"О! она изменила..." (итал.)} это был уже другой человек. Процесс совершился в душе... яд вошел в нее... и что было в этой сцене с Яго, – как от стонов разбитого сердца и мрачной сосредоточенности перешел он к тому воплю и прыжку

разъяренного тигра, с которыми душит он Яго, как все усиливались и усиливались эти ярые вопли, этот звериный рев, – этого словом передать нельзя. Все в театре приковалось взорами к актеру... все следило за ним жадно, не переводя дыхания... Он мучил нас по всей своей воле, не давая отдыху, – до той минуты, когда они с Яго упали на колена, произнося клятву. И как он упали на колени! Как естественно и вместе как итальянски-художественно!.. Всюду была красота страсти и страдания – то идеальное преобразование, которое, бывало, из малорослого Мочалова делало какой-то гигантский призрак.

После этой сцены можно было актеру упасть и он все-таки остался бы высоким актером, – но гениальные натуры создают роль цельно... И в сцене с Дездемоной, в ласкании ее руки, волшебник нашел в свое натуре средства терзать сердца зрителей. Что это было такое? наполовину человек, глубоко разбитый, наполовину тигр, притаивающий тщетно свою ярость и раздражающийся наконец всем неистовством в вопросах о платке... А главное – главное, что впечатление не перерывалось, что одна и та же струя пробегала по игре в течение целого акта, держала вас под таким влиянием, что порою решительно захватывалось дыхание. Что это все, одним словом, не делалось, не сочинялось, а рождено был одним бурным вдохновением...

Мы вышли какие-то отуманенные... Иван Иванович не пошел даже в буфет и мы ходили с ним по коридору, ни на кого не смотря, никого не замечая и даже не передавая друг другу своих впечатлений... Что тут комментировать... Дело было совершенно ясное и простое. Волканическая натура, в соединении с высокой артистичностью, может делать чудеса – и такое чудо пронеслось перед нами, обвеяло нас каким-то знойным и бурным дыханием. В голове бывает, коли вы хотите, какой-то чад в подобные минуты, но то, что видится сквозь этот чад, право, дороже многого, видимого в обыкновенном расположении нашем... Странно, но ходя я думал уже не о Сальвини, я думал о Шекспире.... и, между прочим, вот какой вопрос пришел мне в голову: отчего я сто раз пойду смотреть эту беспощаднейшую и мучительнейшую его драму, сто раз готов выстрадать всю эту адскую последовательность мук Отелло, последовательность, в которой ни одного шага, даже полшага не опущено, – и отчего я положительно не могу выносить французских драм с и выставлением наружу всевозможных язв. Т. е. не то чтобы только в художественном отношении они были мне противны: нет, они меня мучат невыносимо – мне просто нехорошо, неловко, болезненно, как в разных водевилях, например, мне также просто непосредственно делается стыдно.

Когда я сообщил мой вопрос Ивану Ивановичу, он отвечал, что сам то же испытывал и испытывает, но что причины предоставляет разыскивать мне самому, а теперь бы оставил я его в покое. Глаза у моего приятеля становились из обычно-усталых какими-то дикими, руки у него горели.

А я продолжал все-таки анализировать – такая уж проклятая привычка образовалась. Я попал на свою заветнейшую думу об идеализме и натурализме в искусстве. {61} Конечно уж французские драмы, не принадлежащие даже к области натурализма, а составляющие простой рыночный продукт, сменились другими, более серьезными вещами – в голове сопоставлялись "Записки сумасшедшего" Гоголя и в контраст им "Дневник г. Голядкина" {62} – "голова Медузы" Леонардо да Винчи и "голова Медузы" же Караваджо... Во всяком случае, я уже успел себя успокоить, но на моего Ивана Ивановича было почти так же страшно смотреть, как на Сальвини: губы его подергивались уже совсем судорожно, и он начал даже запускать правую руку в волосы...

Вообще это все отзывалось мочаловским представлением, – первыми порами "Гамлета" – увлечениями, которые я считал уже совершенно невозвратными, увлечениями, может быть дорогими болев настоящих, потому что они волновали нас под суровым, зимним небом, в трескучие морозы... Все человеческое уже исчезло в Отелло в IV акте: походка тигра или барса, судорожные движения; глаза, налившиеся кровью, сухие и разбитые тоны в голосе – вот что заменило прежнее благородство, прежнее величие, прежнюю страстную нежность... Но и тут соблюдена была удивительная психологическая последовательность. Не с самого начала акта явился таким великий артист..." Когда он вошел – видно было только, что прежний человек в нем разрушился; на физиономии его, судорожно подергивавшейся, обозначались следы таких мук, которые поистине могут назваться нездешними и после которых душа, кажется, должна уничтожиться... Но когда Яго довел разговор до своего адского и цинического рассказа, тогда можно было убедиться, что есть муки еще злее, еще ядовитее виденных. Сальвини не повалился тут на пол в судорогах, как делают это другие трагики, как делал – и иногда удивительно делал Мочалов, – он только схватился руками за стол и припал к нему грудью с диким ужасным воплем, в котором слышались и физическая боль ломающегося сердца, и рев кровожадного тигра, и вой голодного шакала, и вместе с этим стон человека. Затем человек обратился в зверя – и опять с массой зрителей сделалось то же, что было в третьем акте, т. е. до самого конца четвертого акта волшебник держал нас под своим влиянием, не давал ни на минуту анализировать себя, потому что сам не отдыхал ни на минуту. Только и можно было остановиться, вздохнуть после минуты, когда он бьет Дездемону ...

Мы опять не рассуждали и не хотели рассуждать во время антракта. Я заметил только, что напрасно выпущено лицо любовницы Кассио, Бьянки, на что Иван Иванович отвечал, что это сделано, вероятно, во имя местной нравственности...

Пятый акт был начат сценою песни об иве. Такова уж поэзия этой глубоко меланхолической сцены, что в ней преобразилась и наша Дездемона... У нее как-то смягчились резкие горловые акценты и подернулись северным туманом грусти яркие черты лица... Дездемона отпустила Эмилию и легла. Сказать, что мы ждали появления Отелло, было бы в высшей степени неверно. Шекспировская трагедия и Сальвини захватывали под свою власть душу как настоящая правда жизни... Ждать того или другого лица можно только тогда, когда представлению не подчиняешься, а мы, да и вся масса, подчинились тут ходу драмы.

Я и забыл сказать, что пестрая толпа, наполнявшая партер, преследовала уходящего в четвертом акте Яго энергическими, хотя шепотом произносимыми восклицаниями: Scelerato!! Bestia!! {Злодей!! Животное!! (итал.).}

Теперь только, когда я описываю впечатления, приходит мне в голову вопрос: прерывалось ли у трагика во время антракта его нервное настроение и, припоминая покойного Мочалова, который во время антрактов мрачно и молча сидел или ходил один, вдали от всех, с судорожными движениями, – думаю, что – нет...

Перервавши, хотя и на минуту, душевный процесс – пусть это процесс и воображаемый и представляемый, – нельзя было войти таким, каким вошел Сальвини. В театре опять настала мертвая тишина...

Видно было ясно, что яд уже окончательно совершил свою работу над душою Отелло... Искраженный, измученный, разбитый и вместе неумолимый, подошел он к постели тихой походкою тигра и остановился. Опять страсть обманутая, но безумная страсть прорвалась какими-то жалобными, дребезжащими тонами. Все тут было – и язвительные воспоминания многих блаженных ночей, и сладострастие африканца, и жажда мщения, жажда крови... Одну из этих сторон душевного настроения выразить нетрудно, но выразить их все, выразить то, что Шекспир сам хотел сказать последним поцелуем, который дает Отелло своей Дездемоне, – для этого надобно быть гением.

Странная, непостижимая вещь природа гениального артиста – странное, непостижимое слияние постоянного огненного вдохновения с расчетливым умением не пропустить ни одного полугона, полустриха... Как это дается и давалось натурам, подобным Сальвини и Мочалову, – проникнуть мудро. Думаю только, что это дается только постоянством вдохновения, целостным, полным душевным слиянием с жизнью представляемого лица, – вырабатывается долгою думою, но не придумывается, ибо дума поэта или артиста есть нечто вроде физиологического процесса, – и наконец захватывает всего человека!.. Слово: "расчетливое уменье" употребляю я только за недостатком другого. В такой игре расчета – в смысле составления физиономии перед зеркалом, придумывания и заучения интонаций – быть не может, но и вдохновением назвать этого нельзя, в том смысле вдохновением, на основании которого режут, беснуются и ярятся, как буйволы, обыкновенные трагики...

Обо всем пятом акте после первого представления только и можно было сказать, что это все было правда и что эта правда захватывала у зрителей дыхание до той самой минуты, когда Отелло рассказал о том, "как собака турок осмелился бить христианина, как он схватил его за горло и зарезал... Così!" (так!) – перехватил себе мечом горло и, захрипев смертельным стоном, потянулся, шатаясь, к постели Дездемоны...

Ни восторгаться отдельными моментами, ни анализировать – в первое представление было положительно нельзя.

Можете ли вы, в первый раз слушая какой-либо квартет Бетховена или Шумана, восхищаться отдельными ходами? Нет – потому что вас покоряет целостность непрерывного впечатления...

Истинно артистическая игра та же музыка! В ней постоянно ведется один ход, и он-то сплавляет, сплачивает впечатления.

И потому ничего не анализировали мы с Иваном Ивановичем в эту ночь, сидя в кафе "Piccolo Helvetico" на площади собора. Иван Иванович мрачно и беспощадно пил коньяк, а я смотрел в окно кофейной на чудную весеннюю, свежодышавшую ночь да на мою любимицу, колокольню Duomo – эту разубранную инкрустациями, но не отягощенную" ими, стройную, легкую и высокую ростом красавицу! И одно только я знал и чувствовал, что хорошо, по словам нашего божественного поэта, "упиться гармонией и облиться слезами над вымыслом". {63} Когда я сказал эти стихи, Иван Иванович перервал меня и с каким-то рыданием закончил:

И может быть, на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной!..

потом с бешенством ударил кулаком по столу.

Я хотел было сказать ему, что Александр Македонский, конечно, герой... {64} но удержался, – мне стало жаль его, последнего романтика, добросовестно и постоянно вносившего в личную жизнь поэтические впечатления и жертвовавшего им всем, что зовется в жизни положительным, я только спросил его: – Иван Иванович – отчего вы, переживший, перечувствовавший много, не напишете о "трагическом в искусстве и жизни". Вы ведь сами на этом коньке ездили – и можете сообщить много интересных наблюдений!

– Нет, уж пишите лучше вы, – отвечал он с горькою улыбкою и подымаясь с места. – Вы забываете, – добавил он, взявши фуражку, – что ведь это – тема, не дописанная тургеневским Рудиным! {65} – а мне прозвище Рудина, которое я имел честь получать не раз от двух женщин, надоело до смерти!

– Вы, мой милый, – заметил я, выходя с ним на площадь, – наполовину Рудин и наполовину Веретьев, {66} коли уж дело пошло на тургеневских героев, и в этом-то ваша оригинальность!

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Григорьева его автобиографическая проза печаталась в журналах, большинство произведений опубликовано с опечатками и искажениями. Новые издания его прозы появились лишь в XX в., по истечении 50-летнего срока со смерти автора (до этого наследники были, по дореволюционным законам, владельцами сочинений покойного, и издавать можно было только с их согласия и с учетом их требований). Но большинство этих изданий, особенно книжечки в серии "Универсальная библиотека" 1915-1916 гг., носило не научный, а коммерческий характер и только добавило число искажений текста.

Лишь Материалы (здесь и далее при сокращенных ссылках см. "Список лишних сокращений") – первое научное издание, где помимо основного мемуарной произведения "Мои литературные и нравственные скитальчества" были впервые напечатаны по сохранившимся автографам "Листки из рукописи скитающегося софиста", "Краткий послужной список..." (ранее воспроизводился в сокращении) письма Григорьева. Архив Григорьева не сохранился, до нас дошли лишь единичные рукописи; некоторые адресаты сберегли письма Григорьева к ним. В. Н. Княжнин, подготовивший Материалы, к сожалению, небрежно отнесся к публикации рукописей, воспроизвел их с ошибками; комментарии к тексту были очень неполными.

Наиболее авторитетное научное издание – Псс; единственный вышедший том (из предполагавшихся двенадцати) содержит из интересующей нас области лишь основное мемуарное произведение Григорьева и обстоятельные примечания к нему. Р. В. Иванов-Разумник, составитель Воспоминаний, расширил круг текстов, включил почти все автобиографические произведения писателя, но тоже проявил небрежность: допустил ошибки и пропуски в текстах, комментировал их весьма выборочно.

Тексты настоящего издания печатаются или по прижизненным журнальным публикациям, или по рукописям-автографам (совпадений нет: все сохранившиеся автографы публиковались посмертно), с исправлением явных опечаток и описок (например, "Вадим Нижегородский" исправляется на "Вадим Новгородский"). Исправления спорных и сомнительных случаев комментируются в "Примечаниях". Конъектуры публикатора заключаются в угловые скобки; зачеркнутое самим автором воспроизводится в квадратных скобках.

Орфография и пунктуация текстов несколько приближена к современным; например, не сохраняется архаическое написание слова, если оно не сказывается существенно на произношении (ройаль – роляль, охабка – охапка и т. п.).

Редакционные переводы иностранных слов и выражений даются в тексте под строкой, с указанием в скобках языка, с которого осуществляется перевод. Все остальные подстрочные примечания принадлежат Ап. Григорьеву.

Даты писем и событий в России приводятся по старому стилю, даты за рубежом – по новому.

За помощь в комментировании музыкальных произведений выражается глубокая благодарность А. А. Гозенпуду, в переводах французских текстов – Ю. И. Ореховатскому, немецких – Л. Э. Найдич.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I-XIII. М., изд-во АН СССР, 1953-1959.

Воспоминания – Григорьев Аполлон. Воспоминания. Ред. и коммент. ИвановаРазумника. М.-Л., "Academia", 1930.

Егоров – Письма Ап. Григорьева к М. П. Погодину 1857-1863 гг. Публикация и комментарии Б. Ф. Егорова. – Учен. зап. Тартуского ун-та, 1975, вып. 358, с. 336-354.

ИРЛИ – рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Ленинград).

ЛБ – рукописный отдел Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

Лит. критика – Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., "Худ. лит." 1967.

Материалы – Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917.

Полонский (следующая затем цифра означает столбец-колонку) – Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания. – "Ежемесячные литературные приложения" к "Ниве", 1898, декабрь, стб. 641-688.

Псс – Григорьев Аполлон. Полн. собр. соч. и писем. Под ред. Василия Спиридонова. Т. 1. Пг., 1918.

ц. р. – цензурное разрешение.

ЧБ – Григорьев Ап. Человек будущего. М., "Универсальная библиотека", 1916.

ВЕЛИКИЙ ТРАГИК

Впервые: Рус. слово, 1859, Э 1, отд. III, с. 1-42. Последующие публикации: Григорьев Ап. Великий трагик. Со вступительной статьей Н. Н. Русова. М., "Универсальная библиотека", 1915, 77 с.; Воспоминания, с. 218-287.

Рассказ-очерк действительно мыслился Г. как часть большой книги "Одиссея о последнем романтике". Публикуя поэму "Вверх по Волге" с подзаголовком "Из "Одиссеи о последнем романтике"", Г. снабдил его следующим примечанием: "Одна из частей этой – едва ли, впрочем, имеющей быть конченной "Одиссеи" напечатана в "Сыне отечества", 1857 г. ("Борьба"); другая рассказ в прозе "Великий трагик" в "Русском слове", 1859, Э 1; третья поэма "Venezia la bella" в "Современнике" 1858 г., Э 11. Дело идет, одним словом, о том же самом Иване Ивановиче, за безобразия и эксцентричность которого не раз уж приходилось отвечать невинному повествователю благодаря особенным понятиям о благопристойности, развившимся в нашей литературной критике в течение последнего пятилетия" (Рус. мир, 1862, Э 41, с. 750).

Иван Иванович – поэтический двойник Г. Этот образ будет и впоследствии использован Г. в его очерках, особенно в начавшемся было (и прервавшемся из-за ухода из журнала) цикла очерков-фельетонов "Беседа с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах" (Сын отечества, 1860, Э 6, 7).

В очерке "Великий трагик" описывается впечатление от игры выдающегося итальянского артиста Сальвини, который в середине XIX в. был еще мало известным.

Отзывы в печати об очерке были отрицательные. Например, Р. Н. в рубрике "Пчелка" (Сев. пчела, 1859, Э 69) вначале свысока оценивает творчество Г. в целом ("Это просто наш журнальный партизан... Он невольно представляется нашему воображению: на борзom коне (любимый его конек немецкая туманная философия), в славянском полукафтane, с молодецкой бородкой, с шапкою набекрень и с нагайкою в руке!.." – с. 274); далее рецензент издевается над "Великим трагиком": над терминами "веяние" и "бурное дыхание" (отныне эти два выражения станут общим местом в антигригорьевской критике, особенно в "Искре"), над возвеличиванием Мочалова (дескать, актера знала только Москва), над Любимом Торцовым, "этим жалким промотавшимся пьянчугой" (с. 275), над тем, как Иван Иванович заходил в буфет вонзить в себя рюмку коньяку и т. д. (кстати, здесь Р. Н. совсем не понял иронии Г., очевидно, имевшего в виду строку из стихотворения В. Г. Бенедиктова "Сознание": "Вонзи смертельный поцелуй!").

1 ...городе Флоренске, как зовет его Лихачев... – Г. неоднократно ссылался в своих статьях на "Статейный список посольства... Василья Лихачева во Флоренцию в 7167 (1659) годе", где содержится характерное для мышления человек допетровской Руси отношение к Западной Европе (см. например: Лит. критике с. 170-171). "Статейный список..." издан: "Древняя российская вивлиофика" ч. IV, 1788.

2 Кьяссо – маленькая улочка (итал. chiasso).

3 Si il nome Christiane portate... – Начало стандартного объявления о запрещении использовать укромные уголки.

4 ... "с чужим ребенком на руках". – Последняя строка из стихотворения Б. А. Баратынского "Подражателям" (1830).

5 ... в отребиях... – Г. неверно употребил это слово, на самом деле означющее не ветхую одежду (отрепье), а сор, мякину после тербления.

6 Ольтр-Арно – часть Флоренции за рекой Арно; там находится картинная галерея Питти.

7 ... поэты, особенно трое из них. – Судя по следующим ниже цитатам, Г имеет в виду Н. П. Огарева, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета.

8 Еще лежит... и постепенно тает... – Начало стихотворения Огарева "Весна" (1842).

9 Весна идет! Весна идет!.. – Строка из стихотворения Тютчева "Весенние воды" (1830).

10 Какой-то странной жаждою... Проносится весна... – Неточная цитата из стихотворения Фета "Уж верба вся пушистая..." (1844): Г. соединяет несколько редакций.

11 ... "май вылетает к нам" из "царства вьюг и снега". – Неточная цитата из стихотворения Фета "Еще майская ночь" (1857); в подлиннике:

... из царства вьюг и снега

Как свеж и чист твой вылетает май!

12 Трюфли – вид грибов.

13 Траттория – трактир.

14 ... прелестной... женщине... – Вероятно, имеется в виду Варвара Александровна Ольхина, жена адвоката А. А. Ольхина. И. С. Тургенев в письме к В. П. Боткину от 15-25 марта 1858 г. из Флоренции советует адресату познакомиться через Григорьева "с г-жею Ольхиной; прекрасная женщина" (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 3. М.-Л., 1961, с. 203-204).

15 Лишь в лучшие мгновенья Бытия слетает к нам... – Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского "Лалла Рук" (1821); в подлиннике вместо "лучшие" – "чистые", вместо "слетает" – "бывает".

16 Литания – молитва у католиков.

17 В дуэте Арнольда и Матильды... – Из оперы Дж. Россини "Вильгельм Тель" (1829).

18 Пергола – театр во Флоренции. Ниже будет назван еще театр Пальяно.

19 "Сицилийские вечерни" ("Сицилийская вечерня") – опера Дж. Верди (1855).

20 "Троватор" ("Трубадур") – опера Дж. Верди (1853).

21 "Гугеноты" – опера Дж. Мейербера (1835).

22 Один из злых приятелей... – Имеется в виду Е. Н. Эдельсон, товарищ Г. по кружку "молодой редакции" "Москвитянина", с годами все более отходивший от Г., раздражавший его своим рационализмом и нравочучениями.

23 Спекулятивный – умозрительный.

24 ... не отвечая по многим причинам на его вопрос. – Речь идет о стихотворении Г. "Искусство и правда" (1854), в рукописном варианте называвшемся "Рашель и правда", – этот вариант, видимо, больше запомнился Г. Стихотворение имело подзаголовок "Элегия – ода – сатира" и было посвящено отрицательному описанию французской классицистской манеры игры знаменитой Рашели, гастролировавшей тогда в Москве, и прославлению труппы московских актеров, правдиво и задушевно сыгравших любимую Г. драму Островского "Бедность не порок". Контрастно резкие хула и хвала вызвали насмешки современников, статьи и эпиграммы, болезненно действовавшие на Г.; кроме того, впоследствии Г., очевидно, понял чрезмерные крайности обеих оценок и мог стыдиться своих пристрастий.

25 "Скопин-Шуйский" – драма Н. В. Кукольника (1834). Мочалов играл роль Ляпунова.

26 "Уголино" – трагедия Н. А. Полевого (1838). Мочалов играл роль Нино.

27 ... молодой дебютант. – Очевидно, имеется в виду Корнелий Николаевич Полтавцев (1823-1865), подражавший Мочалову в роли Гамлета; см. отзыв о нем в этой роли: Григорьев А. Летопись московского театра. – Москвитянин, 1851, Э 15, с. 235-248.

28 "Смерть или честь" – драма Н. А. Полевого (1839). Мочалов играл роль Бидермана.

29 Випера – змея.

30 ... то, что вы называете веянием... – См. с. 379, примеч. 2.

31 Пошлый Мейнау... – Герой драмы А. Коцебу "Ненависть к людям и раскаяние" (1789).

32 ... с гетевским представлением о Гамлете – т. е. с представлением о силе ума и слабости воли Гамлета.

33 ... до сопоставления Гамлета, с Подколесиним... – Г. вспоминает свою статью "Гоголь и его последняя книга": "в "Женитьбе" даже колоссальный лик Гамлета сводится в сферы обыкновенной, повседневной жизни, ибо, говоря вовсе не парадоксально, безволие Подколесина родственно безволию Гамлета и прыжок его в окно – такой же акт отчаяния бессилия, как убийство короля мечтательным датским принцем" (Моск. городской листок, 1847, Э 62, 17 марта, с. 249).

34 ...раз играли у нас Шекспира по комментариям и Гамлета по гетевскому представлению... – Вероятно, речь идет об увлечении Г. немецким ученым Г. Гервинусом, автором 4-томного труда о Шекспире (1849-1850), вообще популярного тогда в России (его переводил на русский яз. В. П. Боткин). Г. пропагандировал книгу Гервинуса в сопоставлении с идеями Гете в "Заметках о Московском театре" (Отч. записки, 1850, Э 4, отд. VIII, с. 270-283). В этой же статье Г. отмечает игру в роли Гамлета молодого актера Леонида Львовича Леонидова (1821-1889), который долго готовился и много думал над спектаклем; не исключено, что Г. оказал артисту помощь в философском истолковании шекспировской трагедии.

35 ... несколько мальчишек, громко рассуждавших в фойе... – Вероятно, намек на новых – в Москве начала 1850-х гг. – друзей Г.: А. Н. Островского, Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова и др., составивших "молодую редакцию" "Москвитянина".

36 ... бывалой Офелии... – Вероятно, имеется в виду московская актриса, партнерша Мочалова, Н. В. Репина: см. в статье А. Григорьева "Александрийский театр": "... о г-же Орловой не скажем мы ни слова, потому что, признаем откровенно, никогда не принадлежали к числу ее поклонников, особенно же в ту эпоху, когда на московской сцене еще сияла звезда первой величины – несравненная, гениальная Н. В. Репина... Репина и Мочалов!" (Репертуар и пантеон, 1846, Э 11. Театральная летопись, с. 77).

37 Любим Торцов – персонаж драмы А. Н. Островского "Бедность не порок" (1853), один из самых ценных Г. литературных героев; воспет Г. в стихотворении "Искусство и правда".

38 Купидоша Брусков – персонаж драмы А. Н. Островского "В чужом пиру похмелье" (1855).

39 ... благоговением к волосам Лукреции Борджиа... – Имеются в виду распространенные в Италии легенды об изумительной красоте волос Лукреции Борджиа и об их роковом влиянии на судьбу влюбленных в нее.

40 Томбола – лото.

41 Корсо – центральная улица Рима.

42 Сциентифический – научный; термин употреблен с ироническим оттенком (от лат. *scientia* – наука).

43 ... *lasciar ogni speranza*... – Намек на "Ад" Данте (песнь III, строка 9) надпись на вратах ада: "*lasciate ogni speranza*" ("оставьте всякую надежду").

44 Интрата – входной билет.

45 ... "один в четырех каретах поедет". – Имеются в виду слова Гордея Торцова из комедии "Бедность не порок" Островского: "... один в четырех каретах поеду" (д. III, явл. 13).

46 Стентерелло – персонаж народного театра, в образе которого подчеркивались местные, флорентийские особенности, поэтому он был любимцем публики в этом городе.

47 ... хором Ивана Васильева...– О цыганских хорах XIX в. см.: Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., изд. А. С. Суворина, 1903, с. 408-417. О хоре Васильева там говорится: "В пятидесятых годах явился Иван Васильев, ученик Ильи Соколова; это был большой знаток своего дела, хороший музыкант и прекрасный человек, пользовавшийся дружбой многих московских литераторов, как, например, А. Н. Островского, Ап. Григорьева и др. У него за беседой последний написал свое стихотворение, положенное впоследствии на музыку Ив. Васильевым. Вот слова этого не напечатанного романа:

Две гитары за стеной зазвенели, заныли,
О мотив любимый мой, старый друг мой, ты ли?
Это ты: я узнаю ход твой в ре-миноре
И мелодию твою в частом переборе.
Чимбиряк, чимбиряк, чимбиряшечки,
С голубыми вы глазами, мои душечки!..

Сам Иван Васильев был хороший баритон, его романсы в то время имели большой успех и распевались всеми У Ивана Васильева особенно процветали квартетное пение и трио; первое соргано пела жена его Аграфена, второе Маша, по прозвищу Козлик; последняя исполняла особенно хорошо вместе с Грушей песенку "Ох болит..." на переключку и русскую песню "Не будите меня молодую...". Такой улыбки и мимики, говорят старые цыгане, как у Груши, теперь и не встретишь" (с. 414-415).

Видимо, М. И. Пыляев черпал сведения у цыган-музыкантов следующих поколений; чрезвычайно интересно здесь указание на Васильева как на автора мелодии к знаменитой "Цыганской венгерке" Григорьева: ведь в музыкальной литературе имя автора не было раскрыто. Интересны также варианты текста, ранее не известные (Пыляев однако не знал, что "Цыганская венгерка" была опубликована в 1857 г.).

48 Стеша – ср. описание Стеши в рассказе Фета "Кактус".

49 ... писал о том, что у Яго нет личного мщения к Отелло... – В статьях Г. не обнаружены подобные высказывания.

50 ...Gibaldi Cintio в своей новелле del capitano Moro... et caet. Новелла Дж. Чинтио (1566) послужила Шекспиру сюжетной основой для "Отелло".

51 Голос у ней был нежный, тихий и приятный – Вещь в женщине прелестная. – Слова Лира о Корделии ("Король Лир" Шекспира, акт V, сцена 3). Г. неточно цитирует перевод В. Якимова (СПб., 1833), по которому играли "Короля Лира" в русских театрах 1830-1840-х гг. (последняя строка у Якимова: "прекрасная вещь в женщине").

52 ..."лиана, обвившаяся около мощного дуба"... – Слова Титании в комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" (акт IV, сцена 1); околдованная Титания влюбляется в человека с ослиной головой.

53 ...кошачьи приставастья... – Г. называл "кошачьими" женские характеры, страстные, но "ускользающие", не поддающиеся чужой воле.

54 Паоло – итальянская медная монета.

55 Один актер, мой приятель... – Очевидно, известный рассказчик И. Ф. Горбунов.

56 ...великий трагик, которого я знал лично... – П. С. Мочалов.

57 ... верит ли и в какой степени верит трагик в представляемые им душевные движения?.. – Вопрос о возможностях перевоплощения художников в их создания постоянно волновал Г.; на эту тему написана большая его статья "О правде и искренности в искусстве" (1856).

58 ... М**... когда он играл с покойным К**... – Имеется в виду Алексей Михайлович Максимов, актер Александрийского театра в Петербурге, при В. А. Каратыгине игравший вторые роли, а с 1853 г. ставший премьером и успешно выступавший в роли Гамлета.

59 Здравствуй, здравствуй, о царица... красная!.. – Речь идет об опере Дж. Россини "Семирамида" (1823). Паста гастролировала в Петербурге в сезоне 1841/42 гг.

60 ... прильпнуть язык к гортани. – Перифраз выражения из "Псалтыри": "...язык прильпе к гортани" (псалом 136, стих 6).

61 ... думу об идеализме и натурализме в искусстве. – Г. будет подробно развивать свои представления о художественном методе в статьях "Реализм и идеализм в нашей литературе" (Светоч, 1861, Э 4, с. 1-26), "О реализме в искусстве и литературе" (Якорь, 1863, Э 13, с. 241-244), "О Писемском и его значении в нашей литературе" (Якорь, 1863, Э 18, с. 341-345). После сложной эволюции Г. пришел к отрицанию и идеализма, и натурализма, к защите "истинного реализма", сочетающего правдивое отображение жизни с возвышенными идеалами.

62 "Дневник г. Голядкина". – Так Г. назвал "Двойника" Ф. М. Достоевского (1846). Отношение Г. к творчеству писателя претерпело существенную эволюцию: от негативной оценки в 40-50-х гг., когда произведения Достоевского отождествлялись с натурализмом (в котором Г. больше всего огорчало даже не выставление напоказ "язв" жизни, а изображение характера человека как результата воздействия среды; критик возмущался отсутствием всеобщей борьбы за человека, за его нравственную цельность и самоответственность), и до положительных в целом характеристик творчества Достоевского в 60-х гг. В "Великом трагике" Г. еще не изменил своей первоначальной оценки.

63 ...упитесь гармонией и облитесь слезами над вымыслом". – Рассказчик и Иван Иванович пересказывают и цитируют стихотворение Пушкина "Элегия" (1830).

64 ... Александр Македонский, конечно, герой... – Намек на известные слова Городничего: "Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?" ("Ревизор" Гоголя, д. I, явл. 1).

65 ... тема, не дописанная... Рудиным... – Рудин намеревался окончить "большую статью" "о трагическом в жизни и в искусстве" (роман Тургенева "Рудин", гл. VI).

66 Веретьев – герой повести Тургенева "Затишье" (1854).

Публикация очерка – В. Чернышева. Но я должен оправдаться хотя бы перед редактором или издателем, получившими образование в советское время, например, в Полигр.ин-те, в котором я преподавал математику (да, не всё тогда, как теперь, было плохо) за то, что текст изобилует ошибками. У меня не хватило ни сил, ни времени его подготовить, я вытащил его из Интернета, конвертировал из одного формата в другой, приличного бумажного издания у меня не было, чтобы по нему исправить электронный вариант (даже правильно расположить абзацы и очистить текст от мусора). При переиздании журнала я исправляю досадные ошибки.

Но зачем я спешил? Да затем, что даже вопрос, зло или добро принесла нам революция, легко решить, читая этот очерк. Революция, якобы, должна была *тех, кто был ничем, сделать всем* – каким «всем» они стали? Я сравниваю себя (сравнительно с многими отчасти образованного) с А. Григорьевым, сравниваю крестьян и рабочих с дворянской интеллигенцией, с той публикой, которая заполняла театр и филармонию в 19-м столетии, мы не превзошли уровень деда и матери А. Г., еле умеющих писать, но зато не в состоянии родить и воспитать даже трех детей, а не десять, как тогда, и Россия погибает, не в силах себя воспроизводить... *Гениями мы не стали, а ДОЛГ сохранения рода попрали.*

А.В. Осипов

Стратегическая диффамационная атака

Явление диффамации постоянно присутствует в социуме. Это одно из свойств живого общества. Но вот в том случае, когда диффамационные уколы носят не спорадический, а регулярный характер, мы можем говорить о явлении другого класса, явлении, которое мы будем называть стратегической диффамационной атакой (СДА). Это явление похоже на артиллерийскую подготовку перед сражением и обладает рядом аналогичных свойств.

Мощность. Диффамация как единичный акт не является чем-то необычным. Часто встречающаяся в быту смесь клеветы и правды. Но иногда эти отдельные действия соединяются в один поток, при этом возникает ощущение, что мощность этого диффамационного потока превосходит существенно суммарную мощность не координируемых усилий отдельных людей. Просматривается организация на государственном уровне. Может быть также на религиозном или национальном, но в любом случае такой поток образоваться просто случайным образом из разрозненных источников не может.

Непрерывность. Артиллерийская подготовка может быть длительной или непродолжительной, но она всегда непрерывна. Задача состоит в том, чтобы не давать противнику опомниться. Один удар за другим. При этом часто используется **принцип регби**: если в каком-то отношении атака захлебывается, то происходит передача инициативы другому игроку, который стоит дальше от линии нападения, но на которого пока не обращают внимания.

Атака по площади. Не обязательно стремиться к точному попаданию. Важно, чтобы противник знал, что может быть удар в любом месте.

Повторяемость. Противник не должен думать, что если какую точку уже обстреляли, то больше не будут. Вполне может быть, что вопрос о мельдонии снова вернется.

Блокировка защитных ресурсов противника. Примеры – это ограничение деятельности RT или цензура при Наполеоне. Предпринимая диффамационную атаку, следует, разумеется, позаботиться о предупреждении ответных ударов. Возможна блокировка социальных сетей и т.п. действия.

Сочетание инстинкта и проработки. Все гениальные военные действия основаны на инстинкте. Если угодно, то на интуиции, которая, в свою очередь, основана на инстинкте. Военачальник, который провел удачную операцию, не всегда может объяснить, какими правилами он руководствовался, кроме опыта и здравого смысла. Так и в случае с массированными стратегическими атаками: внешне всё выглядит именно так, будто мы имеем дело с продуманными операциями. Но в определенной степени — это так и есть.

У сильного всегда бессильный виноват. Ионы движутся от плюса к минусу. Представить себе мощную долговременную артиллерийскую дуэль можно. Например, такое происходило перед Курской битвой. Но это редкое событие. Как правило, одна сторона превосходит другую и артиллерийский обстрел является односторонним мероприятием. При этом обычной стране трудно соперничать с богатой (цивилизованной) в соответствии с поговоркой: *«бедному с богатым судиться – лучше в ложе утопиться».*

Басня «Волк и ягненок» была написана И. А. Крыловым в 1808 году после разгрома прусских войск (со взятием крупной контрибуции) и Тильзитского мира. Прекрасен перевод басни греческого баснописца Федра, который показал, что и в античные времена проблема существовала.

Двойные стандарты. Обычный рынок. Женщина купила помидоры. Подходит следующая, ей продавец взвешивает килограмм помидоров. Та недовольна: – посмотрите, какие вы ей отобрали, а какие мне!

– А ты посмотри на нее и посмотри на себя.

В этом простеньком и грубом анекдоте содержится вся соль современных «двойных стандартов» в политике. И не только в политике. Страдающим от астмы спортсменам не приходит в голову, что им нужно было бы держаться поскромнее. Возмущаться этому бессмысленно, нужно просто принимать во внимание. Некоторым утешением служит пословица «не в силе бог, а в правде». Причем иногда эта пословица «срабатывает».

СДА как часть системы действий. Как артиллерийская подготовка является частью огневой подготовки сражения, так и диффамационный обстрел является частью некоторой системы действий, включающей дипломатические атаки, систему санкций, прежде всего торговых, блокировки счетов и тому подобные финансовые мероприятия.

Шестерки. Уличные банды, группировки времен «Вестсайдской истории» и позже – «Крёстного отца» использовали «шестерок» – новообращенных (или неофитов) для задиранья, для того, чтобы провоцировать столкновение с другой бандой или со случайными людьми. Так самодержавные страны используют страны-сателлиты для диффамационной атаки. Правда, нужно отдать должное Наполеону – он редко это использовал. Такая практика появилась позже. Прежде всего перед Крымской войной.

Фейк и диффамация. В последнее время в Интернете появился новый термин – «мировая фейковая война». Имеет ли это отношение к обсуждаемой теме? Фейк и диффамация близкие понятия, однако немного разные, поскольку фейк – чистая подделка, обман, а диффамация основана на лжи, перемешанной с правдой. Однако в СДА поток фейков встраивается весьма естественно и органично. На первый взгляд кажется, что фейки – это слабость. Но это обманчивое впечатление. Поставленная задача поляризации народов достигает цели.

Историческая повторяемость. Явление, о котором мы говорим, далеко не новое и все свойства этого явления мы «срисовываем» с нескольких лет, предшествовавших Отечественной войне двенадцатого года. Эта тема не очень хорошо освещена. Немного о ней упоминает Е. В. Тарле в своей книге «Печать во Франции при Наполеоне I». Основными источниками наполеоновской пропаганды были газеты «Bulletin» и «Journal de l'Empire», которым противостояли газета «Journal de St. Petersburg», редактором и автором основных публикаций в которой был С. С. Уваров и журнал «Сын Отечества». Характерный пример такого противостояния приведен в первом выпуске альманаха «Консерватор» (2000 год). Диффамационная война сопровождалась и дипломатическими демаршами, и санкциями, и финансовыми уколами.

Еще более яркий пример США – это период перед Крымской войной. Но об этом периоде лучше поговорить отдельно.

США как геополитическое явление. Более или менее длительная стратегическая диффамационная атака почти всегда предшествует войнам и как явление принадлежит не только истории России. В разное время таким атакам подвергались многие народы и страны.

Например, перед опиумной войной мощной диффамационной атаке подвергся Китай. Немного и очень осторожно об этом сказано в книге Бен Чу «Мифы о Китае». Откликом этой атаки было мнение Гегеля о Китае, высказанное им в книге «Философия истории». Англичане, изуродовавшие замечательную страну во время опиумных войн, не стеснялись изображать себя добрыми покровителями хороших, но недалеких, неразвитых азиатов, как это было сделано в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император».

VI. ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ СУДЕБ

Вячеслав Овсянников

**О книге Алексея Грякалова «Василий Розанов»
и о Розанове.**

(А. А. Грякалов. «Василий Розанов»
СПб., г «Наука». 2017)



Алексей Алексеевич Грякалов,
род. в 1948г., доктор философ. наук,
профессор, член Союза писателей
России с 1996 г.



*Василий Васильевич Розанов
(1856 - 1919) – русский религиозный
философ, литературный критик
и публицист.*

В книге Алексея Грякалова «Василий Розанов» задана цель – показать Розанова «как человека модерна, который доводит модернистское сознание до его исчерпанности и обращает против самой идеи модерна...».

Но доведено ли у Розанова модернистское сознание до исчерпанности?

Образ Розанова сложен, противоречив, зыбок, ускользает от однозначности, множится. Розанов многолик, непредсказуем и крайне парадоксален. Проблематика, которую решал Розанов, чрезвычайно широка. Широка, как сама жизнь. Чего только не коснулась его мысль, не чураясь и самых «низких», «презренных» предметов, которыми побрезговали другие. Таким отчасти предстает Розанов и в книге Алексея Грякалова. Проблема понимания, которую решал Розанов и которая исследуется в книге Грякалова, – это проблема понимания и самого Розанова – через его письмо, его слово, его стиль. А погружаясь в чтение Розанова, в многоструйный поток его разноречивых писаний, нельзя не заметить, как поразительно переменчиво его письмо, его слово. Алексей Грякалов в своей книге приводит высказывание В. В. Библихина: «Переменчивый публицист Розанов».

Да, розановская переменчивость уникальна. Что она означает? Стихийность, оборотничество, Протей? А, может быть, опять та самая русская всеотзывчивость, пушкинское «Эх» – «Таков и ты, поэт»?

Или эта изменчивость-переменчивость сродни духу самой нашей жизни, ее изломам и зигзагам, безднам и бесам? «Нет нам сил кружиться доле...». Да вот ведь еще какой вопрос просится о Розанове: а мыслитель ли он только? И публицист ли он только? И писатель ли он только? Да и человек ли он только?

Алексей Грякалов пишет: «Творчество В. Розанова близко традиции апофатки...». Переменчивость и апофатика тут как-то связаны.

Розанов мыслитель феноменально чуткий. Очень, очень он этим чутьем отличается. Чуткий – ко всему, что не жизнь, что – не живая мысль, что мертвечина и личина, обман маски, подлог, подделка. Следуя методу апофатки, не стремится ли он к последней, предельной достоверности, чтобы опять и опять начать все с нуля, с голой правды на голой земле? Подобно Рене Декарту, отбросившему как недостоверное абсолютно все, кроме единственного тезиса – «Я мыслю, следовательно существую». И стремясь к последней достоверности мышления, Розанов (о, безумная метаморфоза!) вдруг начинает мыслить как-то совсем не по-философски, как-то поэтически. Он говорит: я несу всякую всячину, всякую околесицу, следовательно я существую. И начинает собирать в короба книг опадающие листья с дерева Мысли, оно же и Древо Жизни. «Мысленно древо». А как же добро и зло? Что-то не разглядеть их, неразличимы. Так ведь яблочко-то еще не созрело, в листе прячется.

Алексей Грякалов в своей книге как раз и замечает: Розанов против различения мира и мысли. А мысль идет в письмо. А письмо идет в сердце, сердечное понимание. В середину, в центр. А чистое сердце идет в чистое письмо. И тогда является утверждающее усилие письма. И утверждает. Что? Жизнь, естественно. Именно так: назначение письма, письменного слова –

утверждать жизнь. А не назвать ли нам Розанова поэтом такой вот жизнеутверждающей мысли? И разве не поэма – шумящий ворох опавших листьев его удивительного дневника – сквозняка души? Это лес русской литературы шумит на свежем ветру, переключаясь разными голосами. Лес поэзии. Вот Баратынский:

Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! Тебе забвенья нет;
Все тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!

И вот Тютчев: знаменитое «Silentium», «мысль изреченная есть ложь». И его «Фонтан»: «О смертной мысли водомет, / О водомет неистоцимый...».

И ему отзывается голос рано погибшего гениального Ивана Коневского:

Игрой нас мысль очаровала,
Мысль, наша легкая гордыня.
Она все билась, восставала
И на себя встает доньше.
Себя поглотит и возникнет
Опять из собственной утробы.
И кто к ее игре привыкнет,
В том исчезают жизни злобы.

Так вот к чему все клонило! Мысль играет, ускользая от нас, ищущих истины. Играет она, шалунья мысль, мыслителями, превращая таких серьезных, великомудрых – в шутов, иванушек-дурачков, в гуляк праздных, сумасбродов поэтов.

Да и сам Платон, царь философов, изгонявший из государства эту опасную для благоустройства общества злосчастную поэзию с ее божественным безумием, говорит в своих «Законах» о том, что люди всего лишь игрушки богов. Так живите и веселитесь, смеясь и танцуя, распевая песни и гимны в честь богов, играя на лире. Разве не о том же и знаменитая книга Йохана Хейзинга «Человек играющий»?

Так что же – разгадали мы тайну переменчивости Розанова?

Признается ведь он в чувстве бесконечной своей слабости и безволия, как самом для него характерном. Он знает, что он с Богом, и Бог с ним, и Бог не выдаст, так пусть Мысль им, Розановым, поиграет, пока ей играется.

Как играют овраги,
Как играет река...
Как играют алмазы,
Как играет вино...

Розанов доверяет живой мысли, доверяет жизни и ее мысли о себе самой.

Розанова невозможно представить сухим систематиком, угрюмым догматиком. Он то Иов, то Соломон, то «дитя ничтожный мира», то «пробудившийся орел», «Пророк». Мужчина он или женщина, или и то, и другое, андрогин, первоначальная цельность человека из мифа Платона? Поэтому и ум у него такой, двуполоый, андрогинный, и в центре всего у него – пол.

Как только Розанова не называли современники: «гениальная русская баба», «одофоб», «червеобразный человек», «Смердяков русской литературы», «Иудушка Головлев», «половых дел мастер», «ородивый русской литературы», «ородивый русской философии».

А сам Розанов признавался: «Я не блудный сын Божий... Но я шалунок у Бога. Я люблю шалить...». И еще он о себе пишет: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллионы лет прошло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет, и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй «по морали». Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, славенькая, гуляй, добренькая. Гуляй, как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу».

А одно из предсмертных писем Розанов подписал: «Васька дурак Розанов».

А умирал Розанов в страшном 1919 году в голоде и холоде, всеми забытый, в надетом на голову (от холода) розовом женском капоре.

В заключение скажу:

Розанов всегда интересен. Интересность Розанова неисчерпаема. Книга Алексея Грякалова еще один тому пример.

Т. М. Лестева

Георгий Иванов. К 60-летию со дня смерти



Ирина Одоевцева.
Родилась 15 июня 1895, Рига
Умерла 14 октября 1990, СПб



Георгий Владимирович Иванов
29. 10 (10.11) 1894 – 26 августа 1958



Николай Степанович Гумилев
Родился 3 апреля 1886 г., Кронштадт
Расстрелян 26 августа 1921 г. Петроград

*Как всё бесцветно, всё безвкусно,
Мертво внутри, смешно извне,
Как мне невыразимо грустно,
Как тошнотворно скучно мне...*

*Зевая сам от этой темы,
Её меняю на ходу.
– Смотри, как пышны хризантемы
В сожжённом осенью саду –*

*Как будто лермонтовский Демон
Грустит в оранжевом аду,
Как будто вспоминает Врубель
Обрывки творческого сна
И царственно идёт на убыль
Лиловой музыки волна.*

*Мне весна ничего не сказала –
Не могла. Может быть – не нашлась.
Только в мутном пролёте вокзала
Мимолётная люстра зажглась.*

*Только кто-то кому-то с перрона
Поклонился в ночной синеве,
Только слабо блеснула корона
На несчастной моей голове.*

*Мы не молоды. Но и не стары.
Мы не мертвые. И не живые.
Вот мы слушаем рокот гитары
И ромansa "слова роковые".*

*О беспаятном счастье цыганском,
Об угарной любви и разлуке,
И – как вызов – бокалы с шампанским
Подымают дрожание руки.*

*За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
И за то, что могло быть иначе,
И за то – что не надо другого!*

Эти стихи принадлежат перу Георгия Ива́нова, русского поэта- эмигранта, яркого представителя Серебряного века. 26 августа этого года исполнится 60 лет с того момента, как в 1958 году на юге Франции в доме для престарелых скончался Георгий Владимирович Иванов. Он родился 11 ноября (29 октября) 1894 года в имении Студёнки Ковенской¹ губернии в небогатой дворянской семье. Детство провёл там же, на границе с Польшей. Начальное образование получил на дому, а затем поступил в кадетский корпус в Санкт-Петербурге, из которого вышел в 1912 году. Здесь он и начал писать стихи.

Впервые стихи Иванова появились в литературных журналах («Аполлон», «Современник» и др.) в 1910 году.

Осенью 1911 года создается акмеистический «Цех поэтов», в который, в начале следующего года, вступает Г. Иванов. В 1912 выходит первая книга стихов — «Отплытие на остров Цитеру», затем появляются сборники: «Граница» (1914), «Памятник славы» (1915), «Вереск» (1916), «Сады» (1921), «Лампада» (1922). В ранних стихах присутствуют мотивы усталости, разочарования и др. Осенью 1922 года Г. Иванов вместе со своей женой, поэтессой И. Одоевцевой, отправляется по командировке в Берлин. В 1923 году супруги переезжают жить в Париж. В 1927 он участвует в обществе «Зелёная лампа», оставаясь его бессменным председателем. Печатается в различных изданиях («Новый дом», «Числа», «Круг» и др.), став к тому времени одним из крупнейших поэтов русской эмиграции. В 1930 публикуется сборник стихов «Розы».

В годы эмиграции Георгий Иванов выступает и как прозаик: мемуары «Петербургские зимы» (1928, Париж), «Третий Рим» (1929, незаконченный роман). В 1938 году в Париже выходит лирическая проза «Распад атома».

В 1949-1950 гг. опубликована серия критических статей. С 1943 по 1946 гг. живет в Биаррице, находясь в крайней нужде, почти в нищете.

Умер Г. Иванов в 1958 году в доме для престарелых в Иер-лэ-Пальме на юге Франции, позже его прах был перезахоронен в Париже на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Вот основные вехи биографии и творческого пути Георгия Иванова, которые не дают ни малейшего представления ни о масштабе его личности, ни о его человеческих качествах. Ведь Иванов — это легенда русского зарубежья, и, если судить по отзывам, то личность чрезвычайно противоречивая. Одни называют его ничтожным снобом и эпигоном, что он пишет лживые мемуары, и место его на свалке. Другие возносят его на пьедестал, его мемуары считают достоверными на редкость, а что касается поэзии, то утверждают, что, только прочитав его стихотворения, понимаешь ограниченность таланта Ходасевича и даже Александра Блока!

Так кто же такой Георгий Иванов, считавший, что дело поэта — создать кусочек вечности ценой гибели всего временного, даже ценой собственной гибели?

¹ Ковно — устаревшее название г. Каунас. (Прим. авт.)

Много страниц посвятила Георгию Иванову его жена – Ирина Густавовна Одоевцева – в мемуарах «На берегу Сены».

«Если бы меня спросили, кого из встреченных в моей жизни людей я считаю самым замечательным, мне было бы трудно ответить – слишком их много было. Но я твёрдо знаю, что Георгий Иванов был одним из самых замечательных из них. В нём было что-то особенное, не поддающееся определению, почти таинственное, что-то, не находящее другого определения, от четвёртого измерения. Мне он часто казался не только странным, но даже загадочным, и я, несмотря на нашу душевную и умственную близость, становилась в тупик, не в состоянии понять его, до того он был сложен и многогранен. В нём уживались самые противоположные, взаимоуничтожающие достоинства и недостатки. Он был очень добр, но часто мог производить впечатление злого и даже ядовитого из-за насмешливого отношения к окружающим и своего “убийственного остроумия”, как говорили в Петербурге. Гумилёв советовал мне, когда я ещё только мечтала о поэтической карьере: “Постарайтесь понравиться Георгию Иванову. Он губит репутацию одним своим метким замечанием, пристающим раз и навсегда, как ярлык”».

Несмотря на свою нелюбовь писать биографии, Одоевцева, тем не менее, пишет его биографию для того, чтобы можно было понять их жизнь, которая, по её словам, «мало походила на то, что принято называть супружеской жизнью. Мне казалось, что мы живём на пороге в иной мир, в который Георгий Иванов иногда приоткрывает дверь». Семейная жизнь их продолжалась 37 лет с 1921 года, по 1958, год смерти Георгия Иванова.

Отец Иванова – военный – родом из полочких дворян, мать – баронесса Вера Бир-Брау-Браурер фон Берштейн – происходила из древнего голландского рода. Неожиданное завещание сестры отца Георгия Иванова сделало семью весьма богатой, что позволило его матери блистать в свете, а Юрочке провести счастливое детство с боготворящим его отцом, который подарил ему даже остров на самом большом пруду в имении Студёнки с выстроенной для него крепостью. Он рос впечатлительным ребёнком, у которого рано развились художественные вкусы. После разразившегося несчастья, когда полностью сгорела их усадьба, семья переехала в Петербург, где отец пытался спасти оставшиеся крохи своего состояния. Однако несчастья преследовали его. В итоге отец Георгия Иванова симулировал несчастный случай, выбросившись из поезда, предварительно застраховавшись на крупную сумму денег, чтобы, по возможности, обеспечить свою семью. Эту тайну Георгий Иванов хранил много лет, рассказав о ней Одоевцевой после нескольких лет совместной жизни уже за границей. Мальчик настолько переживал смерть отца, что решил уйти к нему на небо: просидел всю ночь раздетым перед открытым окном, заболел тяжелейшим воспалением лёгких. После нескольких дней беспомощности он пришёл в себя, однако у него осталось впечатление, что он новый Юра, а тот умер. «Знаешь, – говорил Георгий Иванов (Одоевцевой – *Т.Л.*), – я уверен, что если бы у меня не было воспаления лёгких, я бы не перенёс смерть отца. Я бы

заках от горя, от тоски по нём». Но он выжил, его вскоре отдали в кадетский корпус, где он стал – по её же словам – обыкновенным кадетом.

Георгий Иванов пережил несколько сильных увлечений. Он так хорошо рисовал в младших классах, что учитель рисования пророчил ему карьеру художника. Вслед за этим началось увлечение химией, которое чуть не окончилось бедой. Он решил приготовить царскую водку во время каникул в спальне у сестры, но при нагреве жидкостей произошёл сильный взрыв, при котором разбилась зеркало и сгорел купленный сестрой дорогой ковёр. Но сестра его даже не ругала, обрадовавшись тому, что мальчик не пострадал. Правда, после этого она поговорила с учителем химии, и ключ от химического кабинета был у Георгия отобран.

А третье увлечение – поэзией он пронес через всю жизнь, войдя в историю русской, вернее всемирной литературы именно поэтом Георгием Ивановым. Небезынтересно отметить, что он хорошо писал сочинения в корпусе, но совершенно не мог запоминать стихи наизусть. Однажды ему было задано выучить стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Но он никак не мог сосредоточиться, несколько раз прочитал его, затыкая уши, потом отбросил том. «Ночью, чего с ним никогда не случалось, он проснулся в каком-то необычайном волнении. Ему казалось, что кто-то над ухом произнес:

«В небесах торжественно и чудно // Спит земля в сиянье голубом...». И ему показалось, что потолок раздвинулся, и он действительно увидел землю в голубом сиянии луны. С этой ночи началось его увлечение поэзией. И он начал сам сочинять стихи, в том числе и для «Кадетского журнала».

Когда же вышел первый его поэтический сборник «Отплытие на остров Цитеру», он был без баллотировки принят в Цех поэтов. Георгий Иванов получил приглашение посетить «Бродячую собаку», где должна была состояться его встреча с Гумилёвым. Он долго ждал, однако Гумилёв не приходил. Когда же он решил уйти, «дверь растворилась перед вступившими в «Собаку» Гумилёвым и Ахматовой», которая была в голубом платье, но без ложно классической шали, воспетой столькими поэтами. О, женщины! Ирина Одоевцева не может удержаться от замечания, что ложно-классическая шаль – это всего лишь большой бабий платок, набивной чёрный в красные розы, купленный Гумилёвым за три рубля в кустарном магазине.

Но вернёмся к историческому знакомству. Дрожащий от страха и смущения Иванов и Гумилёв, уставившийся на него «своим косоглазым взглядом», который «...вдруг рассмеялся и свистнул: – Я знал, что вы молоды, но всё же не до того!

Георгий Иванов совсем растерялся. Но тут Ахматова протянула ему с улыбкой, как спасательный круг, свою узкую руку .

– Не робейте, не смущайтесь. Это так быстро проходит. И как это грустно. Ведь юность лучшее время жизни. Потом, знаю по опыту, жалеть будете. А сейчас садитесь рядом со мной и не смущайтесь».

Гумилёв позже предостерег Георгия Иванова от блестящего по тем временам предложения Алексея Суворина печататься в его «Новом времени

«с окладом шесть тысяч в год и построчным гонораром: “С ума ты спятил, Жоржик. Беги скорей откажись. Ведь ты навсегда опозоришь себя – нигде тебя ни печатать, ни принимать не будут. Крышка!”»/ Вот так Георгий Иванов и не стал «нововременским молодцом», чем-то вроде прокажённого.

Позже в воспоминаниях о Сергее Есенине Георгий Иванов напишет, как Есенин в 1916 году был принят и обласкан императрицей, высочайше соизволившей Есенину посвятить ей сборник стихов «Голубень», что молодой поэт и сделал. В «Петербургских зимах» Георгий Иванов напишет: «Книга Есенина “Голубень” вышла уже после Февральской революции. Посвящение государыне Есенин успел снять. Некоторые букинисты в Петербурге и Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков “Голубня” с роковым “Благоговейно посвящаю...” В магазине Соловьёва такой экземпляр с пометкой “чрезвычайно курьёзно” значился в каталоге редких книг. ... Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких преступлений как “монархические чувства” русская либеральная общественность не прощала». Эту цитату я привожу не только для того, чтобы задумались наши монархически настроенные литераторы, а для характеристики обстановки и настроений интеллигенции в предреволюционные годы.

Но вернёмся к личной жизни Георгия Иванова, который в этот период женился на милой француженке, с которой он познакомился у Георгия Адамовича. Брак, безумие которого Иванов вскоре понял, был недолгим, и Габриель с маленькой дочерью вместе со своим отцом уехала во Францию.

Незадолго до трагической смерти Гумилёва он восстановил «Цех поэтов», добавив в название слово Второй. Этот второй цех поэтов после расстрела Гумилёва и возглавил Георгий Иванов.

Говоря о совместной жизни с Ивановым, Ирина Одоевцева приводит два его эпитета от «баловня судьбы» до «поэта-maudit» – проклятого поэта, как называли Иванова в последние годы его эмигрантской жизни, начиная с сорок восьмого года. В «Воспоминаниях» она напишет: «... все удары, сыпавшиеся на нас постоянно, падали на меня, а не на него. И всю жизнь он жил, никогда и нигде не работая, а писал только, когда хотел. Впрочем, хотелось ему это довольно редко, хотя и в “Современных записках” и в “Последних новостях” и в “Днях” он был желанный гость. Он считал, что журналистская работа вредит поэту, а он, прежде всего, считал себя поэтом. К тому же, он был безгранично ленив, а проза, не в пример стихам, давалась ему с трудом, даже когда он был всецело увлечён своей темой.»

Ирина Одоевцева пишет о том, что они жили вполне безбедно на пенсию, выплачиваемую её отцом, владевшим в Риге доходным домом, а после его смерти в 1932 году – даже богато на полученное от него наследство. Во время войны они жили в Биаррице, устраивая приёмы, в том числе и для иностранных офицеров. Газета со светской хроникой, где чета Ивановых была сфотографирована с английскими офицерами, попала в Париж, где Адамович решил, что Ивановы принимают немецкий генералитет, после чего вся

эмиграция отвернулась от них, включая (это показательно!) и друга их семьи – Керенского. Несчастья посыпались на них, Латвия была присоединена к России, немцы реквизируют их дом под Биаррицем, потом его разбомбили, а у Одоевцевой украли купленное на чёрный день золото. Началась эра «позолоченной бедности».

В 1945 году в дни Победы они съездили в Париж, где весело провели время. Этому дню Иванов посвятил своё стихотворение:

На взятие Берлина русскими.
Бессмертной музыки хвала –
Россия русскими руками
Себя спасла и мир спасла.
Сияет солнце, вьётся знамя,
И те же вещие слова:
"Ребята, не Москва ль за нами?"
Нет, много больше, чем Москва! (*Май 1945*)

Однако не стоит обольщаться. Георгий Иванов по своим политическим взглядам был ярким противником советской власти.

Нина Берберова прямо указывала, что Иванов оставался коллаборационистом. В прекрасных мемуарах «Курсив мой» она написала: «После войны он был как-то неофициально и незаметно осуждён за своё германофильство. Но он был не германофилом, а потерявшим всякое моральное чувство человеком, на всех углах кричавшим о том, что он “предпочитает быть полицмейстером взятого немцами Смоленска, чем в Смоленске редактировать литературный журнал”. Теперь в своей предпоследней стадии он производил впечатление почти безумца. Последняя стадия его наступила через несколько лет в приюте для стариков, в Иерее, или, как ещё называют эти места – в старческом доме, а по старому сказать – в богадельне.» И далее: «В его присутствии многим делалось не по себе, когда, изгибаясь в талии – котелок, перчатки, палка, платочек в боковом кармане, монокль, узкий галстучек, лёгкий запах аптеки, пробор до затылка, изгибаясь, едва касаясь губами женских рук, он появлялся, тягуче произносил слова, шепелявя теперь уже от отсутствия зубов. Таким – без возраста, без пола, без третьего измерения (но с кое каким четвёртым) – приходил он на те редкие литературные или поэтические собрания, какие ещё бывали. Помню, однажды за длинным столом у кого-то в квартире я сидела между ним и Ладинским. Иванов, глядя перед собой и моргая, повторял одну и ту же фразу, стуча ложкой по столу:

– Ненавижу жидов.

Я вынула карандаш из сумки и на бумажной салфетке нацарапала: прекратите, рядом с вами – Гингер.

Он взял мою записку, передал Гингеру и сказал:

– Она думает, что ты можешь на меня рассердиться. Как будто ты не знаешь, что я не люблю жидов. Ну, разве ты можешь на меня обидеться?»

Все воспоминания, естественно, субъективны. И там, где Нина

Николаевна Берберова пишет о богадельне в Иерее, Ирина Одоевцева совсем иначе воспринимает этот старческий дом. «Мы начали хлопотать о старческом доме, где не совсем подходили по возрасту. Нам пришлось пойти на общий осмотр. Георгий Иванов тянул меня назад: всё равно не примут. Но мы прошли. Это был очаровательный городок. Наш дом был окружён пышным садом с розами и соловьями. Мы могли, наконец, вздохнуть спокойно. Но от всего пережитого у Георгия Иванова поднялось давление, хотя сердце было здоровым. Мы хотели переехать под Париж, но из Ганьи, несмотря на врачебное свидетельство, нам ответили, что Георгий Иванов просто скучает по прежнему окружению, они не могут нас принять. Никто нас не поддержал и не помог ему, чего он никак не мог пережить. Давление всё повышалось, стало сдавливать сердце... Через три года он умер на больничной койке, чего всегда боялся...»

Берберова же в своих воспоминаниях приводит два письма Георгия Иванова к ней перед её отъездом в Америку. В первом Иванов сожалеет о том, что их знакомство было цепью недоразумений, не по её вине. Берберова была женой Владислава Ходасевича, с которым у Георгия Иванова был серьёзный конфликт, после чего Ходасевич даже перестал писать стихи. Но ко времени данного письма Берберова с Ходасевичем уже рассталась. «Чего там ломаться, – пишет Иванов, – Вы, любя мои стихи (что мне очень дорого) считали меня большой сволочью. Как всё в жизни – Вы правы и неправы. Дело в том, что “про себя” я не совсем то, даже совсем не то, каким “реализуюсь в своих поступках”. Но это уже Достоевщина. До свидания. Не поминайте лихом.»

Во втором и последнем письме Берберовой он напишет: «Как ни странно, мне очень не хочется, несмотря на усталость и скуку моего существования играть в ящик по, представьте, наивно-литературным соображениям, вернее инстинкту. Я, когда здоровье и время позволяют, пишу уже больше года некую книгу. “Свожу счёты, только не так, как естественно ждать от меня, как я со стороны естественно и законно рисуюсь. Словом, не как Белый в его блистательном предсмертном пасквиле. Я “свожу счёты” с людьми и с собой без блеска и без злобы, без даже наблюдательности, яркости и т.д. Я пишу, вернее записываю “по памяти” своё подлинное к людям и событиям, которое всегда “на дне” было совсем иным, чем на поверхности, отношение». Эта книга так и не была написана.

Последняя стадия его началась в старческом доме в Иерее, где он умер. Снова цитирую Берберову. «Руки и ноги Иванова были сплошь исколоты иглой, по одеялу и подушке бегали тараканы, комната неделями не убиралась (не по вине администрации), от вида посторонних с больным делались приступы то бешенства, то депрессии. Впрочем, депрессия его почти не оставляла, она была с ним все последние годы, не только месяцы – свидетельством тому его стихи этого последнего периода. Когда ему говорили, что надо умыться, что комнату надо прибрать, сменить бельё, он только повторял, что “не боится никакой грязи”. Он, видимо, приписывал этой фразе не только моральный смысл, который я в своё время в ней угадала, но и физический. Смерти он всегда боялся до ужаса, до отчаяния».

И Берберова заканчивает воспоминания холодно и жёстко: «Она (смерть) оказалась для него спасением, **пришедшим слишком поздно**». В последние годы Георгий Иванов пишет трагические стихи. В 1953 году в стихотворении «Стансы» он выплёскивает всю свою желчь и ненависть к скончавшемуся Сталину.

...И вот лежит на пышном пьедестале,
 Меж красных звёзд, в сияющем гробу,
 “Великий из великих” – Оська Сталин,
 Всех цезарей превозойдя судьбу.
 А перед ним в почётном карауле
 Стоят народа меньшие “отцы”,
 Те, что страну в бараний рог согнули, –
 Ещё вожди, но тоже мертвецы.
 Какие отвратительные рожи,
 Кривые рты, нескладные тела:
 Вот Молотов. Вот Берия, похожий
 На вурдалака, ждущего кола...
 В безмолвии у сталинского праха
 Они дрожат. Они дрожат от страха,
 Угрюмо пряча некрещёный лоб, —
 И перед ними высится, как плаха,
 Проклятого “вождя” — проклятый гроб.

Что можно сказать? Это стихи мести поэта и *русского* человека, эмигранта, потерявшего не только родину, но и национальность. За несколько лет до него он напишет пронзительно трагическое стихотворение о погибшей России.

Овеянный тускнеющею славой,
 В кольце святош, кретинов и пройдох,
 Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
 А жутко, унизительно издох.
 Один сказал с усмешкою: "дождался!"
 Другой заплакал: "Господи, прости..."
 А чучела никто не догадался
 В изгнанье, как в могилу, унести. (...) (1944)

Изгнанье, ностальгические воспоминания о России, о Петербурге:

Как осуждённые, потерянные души
 Припоминают мир среди холодной тьмы,
 Блаженной каждый день и с каждым часом глуше
 Наш чудный Петербург припоминаем мы. (...)

Или: (...) Но с каждым днём сильнее душа томится

Об острове зелёном Валааме, О церкви из олонецкого камня, О ветре, соснах и волне морской.

В эмигрантской среде не утихают споры о том, кто виноват в судьбе родины и в их горьких судьбах.

И сорок лет спустя мы спорим,
Кто виноват и почему.
Так в страшный час над Чёрным морем
Россия рухнула во тьму. (...)
И начался героев – нищих
Голгофский путь и торжество,
Непримиримость всё простивших,
Не позабывших ничего.

«Непримиримость всё простивших» – это о расколе русской эмиграции во время нападения Гитлера на Советский Союз, а вот «не позабывших ничего» – это Георгий Иванов, несомненно, пишет о себе. Пока ещё он ничего не забыл. В «(...) распроклятой судьбе эмигранта» страх и ностальгические мотивы сменяются темой прозрения и последующей усталости.

Я жил как будто бы в тумане,
Я жил как будто бы во сне,
В мечтах, в трансцендентальном плане,
И вот пришлось проснуться мне.
Проснуться, чтоб увидеть ужас,
Чудовищность моей судьбы. (...)

Страх покидает лирического героя – читай: самого поэта – и сменяется беспредельной и безнадежной усталостью.

Теперь тебя не уничтожат,
Как тот безумный вождь мечтал.
Судьба поможет, Бог поможет,
Но русский человек устал...
Устал страдать, устал гордиться,
Валя куда-то напролом. (...)...
И ничему не возродиться
Ни под серпом, ни под орлом.

Надежда покидает поэта, по-видимому, навсегда, унося с собой и родину, и ностальгическую тоску о ней с надеждой обрести покой в забвении.

Мне больше не страшно. Мне темно.
Я медленно в пропасть лечу.
И вашей России не помню
И помнить её не хочу.
И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосющейся рожью,
Берёзки, дымки, огоньки...

И снова возрождается тема могилы – символа погибшей родины.

Нет в России даже дорогих могил,
 Может быть, и были – только я забыл.
 Нету Петербурга, Киева, Москвы –
 Может быть, и были, да забыл, увы!

Полная амнезия? Нет, память осталась о своей нации, о *русском* человеке.
 Продолжаю цитату:

(...) Знаю – там остался русский человек.
 Русский он по сердцу, русский по уму.
 Если с ним я встречу, я его пойму.
 Сразу, с полуслова... И тогда начну
 Различать в тумане и его страну.

Русский поэт – «коллаборационист» – Георгий Иванов, лишённый волей
 судеб *своей родины*, и по уму, и по сердцу остаётся русским человеком и в
 чужой стране, в эмиграции. И остаётся ему только одно – о т ч а я н и е!

За столько лет такого маянья
 По городам чужой земли
 Есть отчего придти в отчаянье,
 И мы в отчаянье пришли.
 – В отчаянье, в приют последний,
 Как будто мы пришли зимой
 С вечерни к церковке соседней
 По снегу русскому домой.

«Русский снег» и снова воспоминания о родине:

Я вспомнил о тебе, моя могила,
 Отчизна отдалённая моя,
 Где рокот волн, где ива осенила
 Глухую тень скалистого ручья.
 Закат над рощею. Проходит стадо
 Сквозь легкую тумана пелену...
 Мой милый друг, мне ничего не надо,
 Вот я добрел сюда и отдохну.
 Старинный друг! Кто плачет, кто мечтает,
 А я стою у этого ручья
 И вижу, как горит и отцветает
 Закатным облаком любовь моя... (1943)

Догорает любовь... К кому? К родине? К Ирине Одоевцевой? Думаю, что
 к обеим. А вот в беспросветной эмигрантской жизни ещё остаются некоторые
 «развлечения»:

Конечно, есть и развлечения:
 Страх бедности, любви мученья,
 Искусства сладкий леденец,
 Самоубийство, наконец.

За исключением «сладкого леденца» искусства, прямо скажем, – те ещё развлечения! К счастью для русской культуры Георгий Иванов не покончил жизнь самоубийством. И вспомнив слова Нины Берберовой о том, что смерть пришла к нему слишком поздно, уверена в том, что она, конечно, не права. Эмиграция сделала Георгия Иванова *великим русским поэтом*, и именно в последние годы жизни им написаны самые сильные, самые трагические стихотворения, которые проникают в душу и сердце читателя и остаются там навсегда. Некоторые из них я цитировала, а вот ещё:

(...) Встают – встаю. Садятся – сяду.
Стозначный помню номер свой.
Лояльно благодарен Аду
За звёздный кров над головой. (1944)

Было все - и тюрьма, и сума,
В обладании полном ума,
В обладании полным таланта,
С распроклятой судьбой эмигранта
Умираю... (1956)

Всё неизменно и всё изменилось
В угреннем холоде странной свободы.
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся – и где эти годы!
Вот я иду по осеннему полю,
Всё как всегда, и другое, чем прежде:
Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде. (1948)

Обледенелые миры
Пронизывает боль тупая...
Известны правила игры.
Живи, от них не отступая:
Направо – тьма, налево – свет,
Над ними время и пространство.
Расчисленное постоянство...
А дальше? Музыка и бред.
Дохнула бездна голубая,
Меж тем и этим – рвётся связь,
И обреченный, погибая,
Летит, орбиту огибая,
В метафизическую грязь. (1956)

Ирина Одоевцева в предисловии к своим мемуарам обращается к читателям с просьбой любить тех, о ком она пишет. «Ведь всем поэтам больше всего нужна любовь. Петрарка писал: “Я не хочу, чтобы меня через триста лет читали. Я хочу, чтобы меня любили”. Нет другой страны, где так любят и ценят писателей, как в России. Здесь считают, что поэты мыслят стихами. И если вы, мои читатели, исполните мою просьбу и полюбите тех, о ком я сейчас пишу, вы обязательно подарите им временное бессмертие, а мне сознание, что я не напрасно жила на этом свете».

«Метафизическая грязь» поэзии Георгия Иванова не грозит, о чём бы он ни писал: о русском воинстве, о России, о любви, об эмиграции, о ностальгии, о любви и смерти... Они грустные, драматические, порой трагические, но как писал он сам: «Мы знаем, что всё значительное в лирической поэзии пронизано лучами вековой грусти, грусти-тревоги или грусти-покоя – всё равно. “Весёленьких” великих лирических произведений не бывало. Лучшие из них талантливы, милы, лучшие – плоды остроумия, находчивости, беллетристической изобретательности. И разве может быть иначе, если самое имя этой божественной грусти – лиризм». Да он с первой и до последней строчки остался лирическим поэтом.

Особая тема его лирики «в хождении по мукам» – надежда. Она то покидает его, то ему отказывают в *последней* надежде, то она возвращается вновь.

Хожденье по мукам, что видел во сне –
С изгнанием, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию стихами.

Георгий Иванов оказался пророком: его воскрешение состоялось. Стихи великого русского поэта (это мой любимый поэт Серебряного века) вернулись в Россию и заняли достойное место в великой русской культуре, невзирая на его политические взгляды.

Санкт-Петербург 2013 - 2018 гг.

Надежда Полякова



Библейская образность и библейские сюжеты

в русской поэзии

(под редакцией Галины Дюмонд)

Надежда Полякова родилась 15 декабря 1923 года в деревне Басутино Боровичского уезда (Новгородской области) в крестьянской семье. Окончив 7 классов, переехала в Ленинград, где окончила среднюю школу в 1941 году. Была направлена на оборонные работы, три месяца рыла окопы и противотанковые рвы под Малой Вишерой. С марта 1942 года работала зав. избой-читальней, налоговым агентом, фининспектором. В феврале 1943 года призвана в армию, служила в пехотной части зав. делопроизводством штаба полка. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Первое стихотворение напечатано в 1940 г. в журнале «Смена».

В 1949 году окончила филологический факультет Ленинградского университета. Работала в газетах «Ленинградская правда», «Смена», «Крылья Советов». Член Союза писателей СССР.

В «перестроечные» годы пошла работать в школу учителем русского языка и литературы. Но до последних дней продолжала писать и стихи, и прозу.

Скончалась 19.10.2007 г. Похоронена на Смоленском кладбище в С-Петербурге.

М.Ю. Лермонтов

Гениальный юноша создал образ Демона. Развил его характер, показал его в любви к живой женщине.

Художник Врубель был вдохновлён этим образом, создал несколько картин, на которых изобразил Демона. Не Духа зла, а духа сомнения и отчаяния, страдающего Демона.

Тема демона, как уже было сказано, была очень популярна в начале прошлого века.

Ещё в подростковом возрасте, когда Лермонтову было 15 лет, в 1829 году, он написал стихотворение «Мой демон».

*Собрание зол его стихия;
Носясь меж тёмных облаков,
Он любит бури роковые
И пену рек, и шум дубров.*

В этих строчках есть нечто общее со стихотворением «Белеет парус одинокий». Та же неприкаянность, те же поиски бури, как будто «в бурях есть покой».

Этот образ Демона поэт в дальнейшем развивает, усложняет, наделяет большими чувствами, страстью к женщине, которая сопротивляется его любви, но потом уступает его страсти и умирает. Но светлый ангел успел спасти её душу, отнял у Демона и унёс в прекрасную вышину рая.

Пристрастие к этой огромной, непонятной, неземной силе, противостоящей другой силе – Богу, проступает во многих стихах Лермонтова.

В том же 1829 году Лермонтов пишет стихотворение «Молитва», в котором обращается к Богу:

*Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С её страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя,
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далёко от тебя;*

Стихотворение кончается так:

*От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.*

В этом стихотворении, в его концовке, Лермонтов признаётся Богу в том, что жажда песнопенья – это и есть его великий грех, который уводит его в заблужденье, далеко от Бога.

Через год или два (дата не уточнена), тема Демона возникает в творчестве Лермонтова ещё раз. Начинается стихотворение так же, как и приведённое выше. Но образ Демона здесь более расширен.

Стихотворение заканчивается так:

*И гордый Демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.*

Блаженства предчувствия, считает поэт, даёт неведомая сила, противостоящая Богу.

А стихов о предчувствиях, пророческих строк у Лермонтова много. И не только пророчества о своей судьбе, но и о судьбе страны:

*Настанет год, Росши чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;*

В 1831 году, за десять лет до смерти, Лермонтов писал:

*Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь творец;
Но равнодушный мир не должен знать,
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.*

Если читать это с открытой душой доверчивого читателя, а не с холодным логическим рассудком литературоведа, то становится страшно: ведь поэт предсказал, что «смерть моя ужасна будет; чуждые края ей удивятся». Ведь так и случилось через десять лет! А говорить о нём на родине, в России не очень-то хотели. Царю Николаю I не нравился роман «Герой нашего времени». И вообще, царю не нравился этот беспокойный юноша, который по отдельным, туманным намёкам, нравился царице, жене государя...

Существует религиозная легенда – не только христианская, она есть и в других религиях, – что рождающемуся человеку, приходящему в этот мир младенцу, ангел приносит душу. Говорят: вдохнул душу.

Удивительное стихотворение написал 17-летний Лермонтов «Ангел»:

*По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;*

*И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.*

Позднее, став старше, Лермонтов как бы вспоминает о боге и обращается к этой высшей и непонятной силе с молитвами.

В 1837 году он пишет «Молитву»:

*Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Окружи счастьем душу достойную,
Дай ей спутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную./1837 г./*

Удивительное стихотворение! В нём точность слова и точность и ясность мысли, лаконичность доведены до идеала. Это стихотворение можно бы канонизировать, как молитву. Ведь в Евангелии сказано: не будь многословен, молитва должна быть краткой.

В 1839 году Лермонтов пишет ещё одно стихотворение с таким же названием «Молитва».

В этом стихотворении он говорит о том, что после произнесённой молитвы, после обращения к богу, ему становится легче жить:

*С души как бремя скатится,
Сомненья далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко.../1838 г./*

В прошлом веке широко была распространена и вдохновляла поэтов тема пророка. Это – библейская тема.

В ветхом Завете называется много пророков: Моисей, Михей, Нафан, Илия и много, много других.

Они предсказывали судьбы людей и царств, исходы битв, сроки жизни и смерти.

Поэты в момент высокого вдохновения, высокого напряжения всех своих чувств ощущали себя пророками.

И как показало время, многие их пророчества сбылись.

Но пророк не всегда был понят современниками. Ещё Иисус Христос сказал: нет пророка в своём отечестве. А его современники говорили: это – сын плотника из Назарета, а из Назарета может ли быть пророк, Мессия? Или может ли быть что хорошее?

*С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злости и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все близкие мои
Бросали бешено камня.
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи.*

Здесь пропускаю две строфы. Дальше: старцы показывают на него пальцем и говорят детям:

*«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»/1841г./*

Пророк, как пишет Лермонтов, часто не понят людьми. Ему не верят, над ним смеются. И когда сбывается то, что он предсказывал, то уже все его предсказания забыты, и все случившееся почти никто не связывает с его именем.

Теперь, в наши дни, когда есть возможность поговорить о поэтах не только как о борцах с самодержавием, чем предельно сужалось их творчество, а и о том, что было выше социальных нужд и бытовых интересов, мы можем поговорить о движениях их души, о их высоком духовном напряжении, о том, что нашим прозаическим языком трудно передать.

Но всё-таки читая и вдумываясь в гениальные строки, мы прикасаемся к тому высокому, что называется божественным глаголом.

И душа наша очищается, как от светлой молитвы.

А. Блок

К теме, которую мы избрали для разговора, пожалуй, больше всего подходит поэма Блока «Двенадцать».

Казалось бы, тема сугубо революционная, но...

Вот этого «но» мы и коснёмся.

В записках о своей поэме А. Блок писал:

«... Во время и после окончания "Двенадцати" я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный, (вероятно, шум от крушения старого мира).

Поэтому те, кто видят в "Двенадцати" политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой – будь они враги или друзья моей поэмы.

Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение "Двенадцати" к политике».

И дальше:

«... Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги стали радугою над ними. Я смотрел на радуго, когда писал "Двенадцать"; оттого в поэме осталась капля политики». (т.3, стр.474-475).

«Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля её замутит и разложит всё остальное...». (Там же).

Каждый, читавший поэму, помнит, что в поэме приводятся революционные призывы: «Революционный держите шаг! / Неугомонный не дремлет враг!», «Вся власть Учредительному Собранию!» и так далее. В центре поэмы проститутка Катька, которую убивает её прежний сожитель Петруха. Убивает как бы походя, трах-тах-тах и всё. Это трах-тарарах проходит через всю поэму, создавая революционный шум и грохот.

В поэме перемешаны стили – низкий и высокий.

Рядом с революционным шагом – собрание в доме терпимости с установкой таксы за приём посетителей.

А в конце поэмы – впереди красноармейцев – «в белом венчике из роз» идёт Иисус Христос.

«Религия – грязь (попы и пр.). Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красноармейцы "не достойны" Иисуса, который идёт с ними сейчас; а в том, что именно Он идёт с ними, а надо, чтобы шёл Другой».(т.7, стр.326).

Кто этот Другой? Блок не разъясняет. Но если противостоит этот Другой Богу, значит он – Сатана?

Вероятно, так.

«Надо, чтобы шёл Другой», – пишет Блок.

Блок пишет:

«Марксисты – самые умные критики, и большевики правы, опасаясь "Двенадцати". Но... "трагедия художника остаётся трагедией"». (Там же).

Образ Иисуса, показавшийся поэту а белом завихрении метели, не даёт ему покоя.

Он пишет:

«Если бы в России было умное духовенство, оно давно бы "учло" то обстоятельство, что "Христос с красногвардейцами". Едва ли можно опспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о нём.

... если взглянуться в столбы метели на этом пути, то увидишь Иисуса Христа. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак».

Но этот «женственный призрак» не даёт покоя Блоку. Он то и дело возвращается к этому образу, пытается понять его и понять своё отношение к нему. Блок пишет:

«Иисус – художник. Он всё получает от народа (женственная восприимчивость). Апостол "брякнет", а Иисус разовьёт.

Нагорная проповедь – митинг.

Власти беспокоятся. Иисуса арестовали.

Ученики, конечно, улизнули.

У Иуды – лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого. Жулик (то есть великая нежность в душе, великая требовательность).

"Симон" ссорится с мещанами, обывателями и односельчанами. Уходит к Иисусу. Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то поругались и "не поладили"; бубнят что-то, разговоры недовольных). Между ними – Иисус – задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет.

Тут же и проститутки».

30(17) декабря 1918 года Блок пишет письмо Маяковскому, заподозрившему Блока в пристрастии к старому миру:

«Не так, товарищ!

Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний Дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как и строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зееваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятие времени не избыть. Ваш крик – всё ещё только крик боли, а не радости. Разрушая, мы всё те же ещё рабы старого мира: нарушение традиций – та же традиция. Над нами большое проклятье: мы не можем не спать, мы не можем не есть. Одни будут строить, другие разрушать, "ибо всему своё время под солнцем", но все будут рабами пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение». (т. 7, стр. 350).

В этом письме Блок приводит цитату из Екклесиаста – «всему своё время под солнцем».

Поэма «Двенадцать» отличается от всего, что создал Блок до этого. Хотя ритмические варианты встречались и в более ранних стихах. Как известно, именно ритму, внутреннему звучанию, Блок придавал огромное значение.

Вот что он записал в своём дневнике 7 февраля 1919 года о Пушкине:

«Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись, огромными буквами написано: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет многие дни нашей жизни.

Имена основателей религий, великих полководцев, завоевателей мира, пророков, мучеников, императоров – и рядом это имя: Пушкин.

Как бы мы ни оценивали Пушкина – человека, Пушкина – общественного деятеля, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов, Пушкина – мученика страстей, всё это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт.

Едва ли найдётся человек, который не захочет прежде всего связать с именем Пушкина – звание поэта.

Что такое поэт? – человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт, это носитель ритма».

Эта запись из дневника Блока о Пушкине может относиться и к самому Блоку. Он тоже был носитель ритма, и в нём звучала музыка, мажорная и минорная, торжественная и траурная, он физически чувствовал звучание внутри себя. Об этом он и сказал, когда закончил свою поэму «Двенадцать».

Итак, поэма написана.

Одним она нравится. Других – возмущает.

Вокруг неё бурлит водоворот мнений.

Для издания поэмы нужны иллюстрации. Приглашён известный в то время художник Ю.П. Анненков.

Блок внимательно рассматривает эскизы художника. Что-то ему нравится, что-то не нравится. Он пишет письмо художнику. Пишет конкретно – о Катьке и о Христе.

«Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пёс сзади, аккуратно несёт флаг и уходит. "Христос с флагом" – это ведь – и так, и не так.

Если бы из левого верхнего угла "убийства Катьки" дохнуло густым снегом и сквозь него – Христом, – это была бы исчерпывающая обложка».

В черновике поэмы имеются две пометы Блока: первая в начале 7-й главы: «Двенадцать (человек и стихотворений)».

Вторая – в 10-й главе: «И был с разбойником. Жило двенадцать разбойников». Последняя фраза – изменённая цитата из баллады Н.А. Некрасова «О двух великих грешниках» («Кому на Руси жить хорошо», ч. IV).

Следует обратить внимание на то, что подчёркивает Блок в своей поэме. Двенадцать маленьких главок он сделал не случайно: по количеству учеников Христа, постоянно следовавших за ним. И поэму назвал по количеству учеников Христа.

Что касается разбойников, то в Евангелии разбойниками были только те, которые были распяты рядом с Христом.

Ученики же Иисуса, следовавшие за ним, были простыми людьми, в основном рыбаками.

В июле 1919 года Н. Гумилёв читал лекцию о поэзии А. Блока. Естественно, он особо остановился на поэме «Двенадцать», о которой тогда много говорили в литературных кругах. Н. Гумилёв сказал, что конец поэмы с Иисусом Христом ему кажется искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто литературный ход. Гумилёв сказал: «литературный эффект».

На этой лекции присутствовал А. Блок. Он в ответ на замечание Н. Гумилёва сказал:

«Мне тоже не нравится конец "Двенадцати". Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: "К сожалению, Христос"». (К. Чуковский. А. Блок как человек и поэт. П., 1924, стр. 27-28).

Вот ещё одно письмо художнику Ю. П. Анненкову:

«Самое конкретное, что могу сказать о Христе: белое пятно впереди, белое, как снег, и оно маячит впереди, полумерещится – неотвязно; и там же бьётся красный флаг, тоже маячит в темноте. Всё это – досадует, влечёт, дразнит, уводит вперёд за пятном, которое убегает». Это он писал летом 1918 года.

В 1920 году Блок признается: «"Двенадцать" – какие бы они ни были – это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью».

Проходит время, а Блок всё не может отрешиться от своей поэмы. Она тревожит его, возбуждает так, как будто написана только что.

Зинаида Гиппиус, Мережковский и их окружение, создававшие авторитет в литературных кругах, сказали, что не подадут Блоку рук за эту революционную поэму.

Но воспевал ли Блок революцию?

Или только передавал её музыку?

Ведь писал же Блок: «Слушайте музыку революции».

Какое же воспевание, когда идёт стрельба, смерть косит людей, проклятия сыплются на большевиков...

Или это впечатление создают строчки из революционных песен, обилие красного кумача? Но всё равно картина революционного Петрограда, созданная в поэме «Двенадцать», страшна.

Чёрный ветер. Белый снег, Стрельба. Убийство проститутки. Ванька, который «был с нами» – не сказано, с кем? С бандитами? Потом пошёл в солдаты. Петруха, который хотел убить Ваньку, а убил Катьку. Всё предельно просто. Все стреляют и идут дальше.

Кто же эти люди – по поэме:

Гуляет ветер, порхает снег.

Идут двенадцать человек.

Винтовок чёрные ремни.

Кругом – огни, огни, огни...

В зубах – цыгарка, примят картуз,

На спину надо б бубновый туз!

Бубновый туз на спину пришивали каторжникам. Так при чём же здесь воспевание двенадцати красногвардейцев, если они достойны бубнового туза на спине? Или, по словам песни: «...кто был никем, тот станет всем»? Но: «Отмыкайте погреба – /Гуляет нынче гольтьба!», «Запирайте этажи, /Нынче будут грабежи!»... Какое уж тут воспевание!

Итак, красногвардейцы идут, как разбойники. Так утверждает сам Блок.

Но при чём же здесь Иисус? Снова возникает этот вопрос.

Вспомним: Иисус ходил с двенадцатью учениками, пока один из них, Иуда, не предал его. Потом Иисуса взяла стража, его били, издевались над ним, плевали ему в лицо и, наконец, распяли на кресте.

Не случайно у Блока возникает сомнение в том, кто должен идти впереди? Другой, – пишет он...

Наивным и искусственно притянутым считаю объяснение литературоведов, что патруль непременно состоял из двенадцати человек. Были патрули и из шести человек, и из четырёх... Нет, не в количестве патрульных красноармейцев дело. Это – двенадцать апостолов Христа и по числу их написано двенадцать главок поэмы.

Но, если за Иисусом идёт двенадцать человек, значит, ещё и Иуда вместе с ними? И значит, Иисуса ещё ждут впереди предательство и казнь.

«...И идут без имени святого /Все двенадцать – вдаль. /Ко всему готовы, /Ничего не жаль...». Следовательно, этих людей, убивающих и разрушающих, ждёт впереди великая трагедия, кроме тех драматических эпизодов, о которых говорится в поэме: их ждёт трагедия двадцатых, тридцатых, сороковых годов с предательствами и казнями.

И будет предан тот, за кем они идут... Предан ими же...

Сознательно или подсознательно так написал Блок? Скорее всего подсознательно, как гениальный поэт, он пророчески предсказал дальнейший путь тех, кто убивает и разрушает...

Поэма написана более восьмидесяти лет назад. Но так до конца и не понята современниками Блока и исследователями его творчества. И до сих пор возбуждает споры...

Блок был только музыкальным инструментом, эоловой арфой, уловившей зловещие звуки времени...

В. Маяковский

Молодой Владимир Маяковский часто обращался к священному писанию, используя образы из Ветхого и Нового завета. Вот одно из ранних стихотворений поэта: «Себе, любимому, посвящает эти строки автор». Здесь, кроме алогизмов, то есть умышленного нарушения логических связей с целью подчеркнуть внутреннюю противоречивость положения – «Если б был я маленьким, как Великий океан», «О, если б я ниц был! Как миллиардер!», «Если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка!», «О, если б был я тихий, как гром», Маяковский использует евангельские выражения – «кесарю – кесарево, богу – богово».

Эти слова сказал Иисус, когда фарисеи хотели уличить его в том, что он выступает против податей, наложенных Кесарем. Тогда можно было бы отдать его римским властям, как государственного преступника.

Иисус взял в руки монету, на которой был изображён Кесарь, и сказал эту фразу, которая стала впоследствии широко известной поговоркой.

"В какой ночи, бредовой, недужной, какими Голиафами я зачат – такой большой и такой ненужный?"

Голиаф – великан в войске филистимлян. Считался непобедимым. Когда встретились на поле битвы два войска, филистимлянское и иудейское, вышел великан Голиаф и предложил поединок. Результат поединка должен был считаться результатом битвы.

Вышел красивый стройный юноша Давид, будущий царь иудейский. Он отказался от тяжёлого военного снаряжения, поднял камень, вложил в пращу, размахнулся и бросил камень в Голиафа. Попал ему в лоб, убил его, чем прославился в войске и в народе, потому что выиграл битву.

Маяковский использовал имя Голиафа, как великана, который мог быть его прародителем только потому, что он был огромного роста.

В прологе трагедии «Владимир Маяковский» поэт использует слова Иисуса: «Приидите ко мне все алчущие и страждущие и я утешу вас». Поэт перефразирует это высказывание и пишет:

*Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, –
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.*

Молодой Маяковский, в расчёте на эпатаж и словом, и жестами, и одеждой, считал себя чуть ли не равным Богу, так он ощущал свою гениальность. Он о Боге пишет непочтительно, как о соседе по квартире:

*А с неба на вой человечесьей орды
глядит обезумевший бог.
И руки в отрешках его бороды,
изъеденных пылью дорог.
Он – бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.
/«Владимир Маяковский. Трагедия»/*

В этой же трагедии толпа призывает:

*Идём,
где за святость
распяли пророка,
тела отдадим раздетому плясу,
на чёрном граните греха и порока
поставим памятник красному мясу.*

В этом призыве толпы – полное растаптывание евангельских святынь, призыв к голым пляскам на Голгофе, на той лысой горе, где был распят Иисус.

В этой трагедии Маяковский говорит с небом, говорит с Богом, как равный, как создатель или разрушитель мира. Его грандиозная образность должна была поразить, изумить, оглушить слушателя, вызвать вой восторга иди негодования.

На это рассчитывал поэт, когда писал:

*Вот и сегодня –
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок...*

И дальше:

*Я побреду –
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
тёмному богу гроз
у истока звериных вер.*

Ещё в 1914 году в поэме «Облако в штанах» Вл. Маяковский писал:

*Где глаз людей обрывается куцый
главой голодных орд,
в терновом венке революций
грядёт шестнадцатый год.*

Эти строчки при публикации поэмы «Облако в штанах» были изъяты царской цензурой.

Но интересно не только предсказание – с ошибкой, равной одному году – но сам образ «в терновом венке революций».

Терновый венец, венок, свитый из ветвей колючего кустарника – терновника, надели на голову Иисуса Христа, когда вели его на казнь. Этот терновый венец был как насмешка над Иисусом, которого, издеваясь, называли «царём иудейским». Терновый венец должен был означать шутовскую царскую корону. Шипы терновника ранили голову Иисуса. Текла кровь. Терновый венец воспринимается, как род пытки и мучения.

Что должен означать этот образ у Маяковского: "Терновый венец революций"?

У А.Блока – «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Но Иисус у Блока шёл ещё не на Голгофу, а не преданный Иудой, окружённый всеми двенадцатью учениками.

В этой же поэме «Облако в штанах» Маяковский встаёт над миром, над землёй, над вчера, над сегодня, над завтра и заявляет:

*Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.*

Вл. Маяковский смело сочетал в своих стихах высокий стиль и жаргон. Его евангельские образы, как и многие другие, рассчитаны на эпатаж:

*... может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.*

Или:

*Видишь – опять
Голгофнику оплётанному
предпочитают Варавву?*

Здесь поэт уже не тринадцатый апостол, а сам «голгофник», которому предпочли Варавву. Тот «голгофник», на которого плевали, когда вели его на казнь, которому предпочли Варавву, то есть потребовали освободить одного приговорённого к смертной казни преступника, а Иисуса – казнить.

Использование библейской образности нередко приводило поэта к богохульству. Например:

*– Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте – знаете –
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!*

По библейской легенде такое дерево росло в раю. Плоды с него рвать и есть было запрещено. Но Сатана в образе Змея-искусителя уговорил Еву попробовать запретное яблоко. Ева попробовала и угостила Адама. И они познали влечение друг к другу, то есть грех. И были изгнаны из рая.

Дальше Маяковский предлагает Богу:

*А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, –
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.*

*.....
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик!
.....*

И вдруг поэт поднимается во всю громаду Вселенной:

*Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду.*

И дальше – совершенно потрясающий художественный образ:

*Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звёзд огромное ухо.*

Таким грандиозным чувствовал себя Маяковский, что даже вся Вселенная представилась вдруг ему мирно спящей собакой!

В поэме «Человек» Маяковский сравнивает своё рождение с рождением Иисуса Христа:

*В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,..*

По Евангелию во время рождения Иисуса над Вифлеемом, где он родился, горела необычайно яркая звезда. Её называют Вифлеемской звездой.

По этой звезде волхвы и предсказатели решили, что родился царь иудейский. И пошли, как указывала звезда, судя по всему, она двигалась, как комета, и пришли к месту рождения Иисуса.

Этот сюжет широко использован и в поэзии, и в живописи. При римском владычестве в Израиле устраивались переписи населения. Количество людей необходимо было знать для сбора податей. Каждый человек должен был быть внесённым в списки там, где он родился.

Плотник Иосиф и его юная беременная жена Мария пошли на родину своих предков в Вифлеем. В гостинице не оказалось места, и они расположились на ночлег в пещере, куда пастухи на ночь загоняли скот. Это место называли вертепом. Здесь Мария родила сына Иисуса, будущего пророка и чудотворца, и положила его в ясли, куда насыпали корм для скота.

Сюда, ведомые Вифлеемской звездой, пришли волхвы с драгоценными дарами и местные пастухи.

В поэме «Человек» – Вл. Маяковский помещает себя на небо. Потом, через многие тысячи или миллионы лет, возвращается на землю и снова ищет свою любимую. И в конце этой поэмы поэт предсказывает свою смерть.

В более поздних произведениях образность стихов Маяковского заметно меняется. Он отходит от библейских символов. Новый читатель и слушатель может многого не понять в стихах с прямыми цитатами из Библии. Эпатировать некого. Верующие люди не ходят на выступления Маяковского. Он им чужд.

Наступало новое время. Новое время требовало новых песен. Новые песни требовали новой образности.

Продолжение в 9-м номере, окончание в 10-м

VII. ЗА СТОЛОМ У РЕДАКТОРА

РАЗБОРКИ СРЕДИ ПОЭТОВ и ПИСАТЕЛЕЙ

pro et contra

Вячеслав Овсянников

О книге Евгения Попова

«Четырехгорка»

Владимир Меньшиков

Что такое Баронец и что такое «березоненавистничество»?

(Ответ на заметку Влады Баронец «Что такое Старикан и что такое Люлин?»)



Татьяна Лестева

**Александр Проханов.
В новых жанрах.**

Вячеслав Овсянников

О книге Евгения Попова «Четырехгорка»

Так получилось, что я только сейчас познакомился с творчеством Евгения Попова. Причем сначала прочитал его книжку прозаических миниатюр «Четырехгорка» и только потом его стихи в сборнике «Памятник тяжелой волне». Стихи эти удивили меня. Стиховая волна, рожденная подлинно живой глубиной. Стало понятно происхождение такой образной, сжатой прозы. Еще раз убеждаешься: поэт, пишущий прозу, совсем не то, что прозаик, пробующий писать стихи. Две разных стихии писательства, разные формы слова. Я бы даже сказал – взаимоисключающие. Слово бы у поэта и прозаика по-другому устроен ум, другие органы восприятия, другой способ осмысления жизни. Поэту, всерьез перешедшему на прозу, требуется кардинальная перестройка его словесного мышления, его писательской работы. Как замечено Мариной Цветаевой «Поэт издали заводит речь, поэта далеко заводит речь...». «Четырехгорка» Евгения Попова – нечто неопределенное по жанру между прозаической миниатюрой и стихотворением в прозе. Четыре горки могут вырасти в четыре больших волны и застыть памятниками. Кому? Чему? Живой глубине, порождающей эти творческие волны? Творческой отваге?

Листая волн прочитанных страницы,
Я будущей историей владею.
И моряков заботливые лица
Склоняются над этой колыбелью

Эти строки из сборника стихов Евгения Попова «Памятник тяжелой волне» словно бы реют и над образами его непростой, метафорической прозы. Та самая колыбель, в которой спит новорожденный младенец. И мы ждем его пробуждения. «Я провижу за синей водой / в чаще глаз приказанье проснуться». Вспоминается Велимир Хлебников.

История мировой литературы утверждает, что первоначальной формой словесного творчества была поэзия. Древние мыслили мифо-поэтически. Проза в нашем понимании появилась значительно позднее. Библия, Веды, Авеста, гомеровский эпос, как и эпосы всех древних народов написаны стихами. И вот с начала XX века и особенно в наше время мы наблюдаем решительный отказ новой прозы от беллетристической и бытописательной формы и возврат к мифопоэтическому мышлению, свойственному древней поэзии. Беллетристика и бытописание перестали удовлетворять прозаиков, чутких к требованиям духа нашего времени.

Для нашей чрезвычайно усложнившейся жизни потребовались экстремальные художественные средства, предельно емкий способ осмысления, небывало насыщенная, скоростная образность, сгущенное, метафорическое письмо, парадокс, оксюморон, парабола, эллипс. И поэты, которым стало тесно в рамках стихосложения, ищут выхода этому взрывному напору выразительных средств на широком поле прозы. И такая проза у них, прошедших суровую выучку у стиха, зачастую получается смелее, чем у многих писателей, изначально работающих как прозаики. Примером такой прозы, я полагаю, и является эта небольшая по объему книга Евгения Попова «Четырехгорка». Заявленный автором зачин нешуточен. Автор уже в предисловии выдает читателю устрашающий, взрывоопасный, экстремистский образ

себя и своей книги: «Меня переполняет гремучая смесь... Я устанавливаю часовой механизм и бегу в густонаселенный район. Я хочу, чтобы площадь поражения была больше. Я точно знаю, что разрядит меня уже нельзя. Взрыв неотвратим... Я похож на террориста. Вот-вот бабахнет, вот-вот начнется полет, от которого востепенится читатель...». Да, от такого авторского провозглашения вздрогнешь. Как тут читателю не затрепетать? Однако автор имеет благие намерения. Он говорит: «Каждый сам в себе... Надо, чтобы каждый будильник свой внутренний завел – и проснулся по будильнику. Возможно, этот будильник зовется совестью». Сказано яснее ясного. Автор и сам такой будильник. Прежде всего он сам. Автор-смертник. «Вылетел из дома, как пробка из шампанского горлышка, сзади пузырьки, впереди потолок дороги». Зорко увидены, как при вспышке молнии, эти, сзади, за спиной, пузырьки лопнувшего прошлого и в то же мгновение образ будущего – дорога. Только вот у дороги-то этой нет ее многообещающей, заманчивой дали, у дороги-то – потолок! И все мы, все мы из одного теста, одним миром мазаны, «скачущие на площадях люди, забывшие свое достоинство, стянутые ниточкой бьющего в синей жилке пульса». По тексту книги Евгения Попова бегут вспышка за вспышкой, всплеск за всплеском. Тревожный, прерывистый ритм этого пульса. Содрогания жизни. «Лес рубят – птицы летят, – сказал я и плюнул в окно... Налетели птицы, закидали ботами». «Он хотел лишить Кошечку жизни, но получилось как-то тухло... Он подумал, что ничто никогда не кончится. Только жизнь». «Начинался снег. Первые хлопья сразу почему-то напомнили мохнатые лапы огромного паука. Он обхватил землю, перебирая лапами всё, что находилось на ее поверхности. Он был сыт, но присматривался к будущим жертвам». «Нервно кричали разгоряченные чайки, по речке ползал ледокол, больше похожий на списанную баржу, пахло рыбой». «Злой аккорд стартующих автомобилей прервал мои мысли». «Трамвай гулко въехал на мост. В этом снегопаде всё показалось одиноким и брошенным. Пассажиры молчали». «В небе висел тонюсенький месяц. Похрустывали позвонки бывших республик». «По Неве барабанит речной трамвайчик». «Битва гигантов: моя совесть и наша действительность. Победит дружба». «Все в городе нарядно, и уже слышишь листву, её накаты, перешептывание и взрывы». «Травы зашелестели. Листья зашептались. Булькнула птица – и всё опять стихло». «Вскрикнула птица, как камень брошенный в воду». «Войдет весна и всё опрокинет».

Завершает книгу цикл детских рассказов. Здесь автору не потребовались экстремизмы образности; стиль светлый, прозрачный. Четырехгорка – четыре стороны света, четыре времени года, вызов, брошенный детством, чистотой первоначал. «Но Четырехгорка – это зима! Это лыжи! Это четыре горки! Попробуй-ка съехать со всех четырех и не упасть!». «Темная ночь стрекочет и поет». «Бог, улыбаясь, смотрит на них». «Свет моего ангела, легкость красок, при всем понимании мерзости, ее сопровождающей, – радость. Как можно не слышать порхания невидимых крыльев, как можно не чувствовать неведомой сложности лежащихся снежинок...».

И действительно: как можно продолжать спать! Новое утро, солнце! И свет давно не тот! Цель автора достигнута. Мир преобразился. Автор кого-то да разбудил своей книгой.

Владимир Меньшиков

Что такое Баронец и что такое «березоненавистничество»?

(Ответ на заметку Влады Баронец «Что такое Старикан и что такое Люлин?»)

– Влада, почему вы не просто Лада? Как вы среагируете, если вас назвать исчадием ада?

В ответ последовало злое шипение, молодая женщина вся на нервах, не в ладах с действительностью, так как до сих пор пребывает в Ладах, а не в первых легионах петербургской поэзии. Но чтобы стать «белой костью» интеллектуально-либеральной и отчасти скандальной литературы, ей еще предстоит проделать немало «черной и грубой работы». Например, «выйти в поле погулять, белую березу заломать, лю-ли-Люлина «из матери в матери». Или хорошенечко путинскую «Ладу» поругать, а заодно и отечественного машинопроизводителя. Только что ей, взбаломошной и неусидчивой, маломощные малявки от автопрома, она, недавно жившая в Барселоне – столице мятежной Каталонии – насмотрелась на череду протестно-сепаратистских тракторных маршей в сторону Мадрида и поэтому по возвращению в варварскую Россию и нескольких посещений секции поэзии в петербургском отделении СПР быстренько определилась с еще одним горяченьким местом в своей насыщенной жизни – в кабине гигантско-циклопического, гусеничного агрегата для проведения беспарусной регаты, даже не морской или полевой, а, скорее береговой и лесной с беспощадным наездом и трескучим обвалом на весеннюю топкую землю наших любимых березонек. Видимо, Владе (которой ближе не лад, а крошечный ад) было выставлено условие: чем больше будет завалено на Почву берестяных деревьев, тем скорее получит русофобский титул Первая дама литературного спама (или срама).

Женщина она молодая, скорая, задача реально выполняемая: осуществить несколько тракторных атак на территории Ленобласти на равнинно-березовую Русь, а в перерывах между обвальными наездами совершать в прогулочном режиме через весь-то Петербург к Звенигородской улице под собственную сирену и под магическими знаменами футбольных клубов «Зенит» и «Барселона», чтобы молодежь встречала ее на улицах фанатским оглушительным приветствием, моторизованный бросок к Дому писателя. Как-то я уже писал, упоминая стадион «Локомотив», находящийся там же, во дворах, что иногда Звенигородская бывает местом скопища сталинских черно-красных паровозов, коммуно-капиталистических танков, а с недавних пор стала превращаться в площадку или в линейку для паломничества тракторов (с их поломанной железной судьбой).

Итак, когда огромный фэнтази-трактор подкатил почти вплотную к кафе «Подкова», из его кабины неспешно, как баронесса, спустилась на асфальт Влада Баронец и, прикинувшись начинающей поэтессой, направилась на очередное проафишированное заседание секции поэзии СПР, на котором рулила (рулил) в тот вечер не Ирэна Андревна и не Наливайко (всем подряд, а Владе больше всех), а достаточно авторитетный Алексей Ахматов. И что же так не понравилось на тех раннеапрельских поэтических чтениях нашей

трактористке-сепаратистке, если она через несколько дней разразилась гневной, огнеметкой заметкой под вообще-то не очень уважительным и скорее уничижительным названием «Что такое Старикан и что такое Люлин?». Для определения выбран «средний род», и исходя из этого для ответного спича подбираются всякие сомнительные прилагательные и парные существительные типа «Влада – Влад», «Александр-Александра». Короче, по заявленному в программе выступлению мужичкам, поскольку они не являлись брутальными, как Высоцкий, новая явленная, но отъявленная полемистка «Влади» прошла неслабо.

Как она выразилась в заметке, «На первое подали Старикана» да еще пьющего из стакана (прихватил с собой термос). Ну, может, не из стакана, но важно что чай или еще какой-либо кислой патриотический напиток. Сама Влада скорее всего взяла бы на собственную читку (а Люлин даже страшно сказать что прихватил) красивую, ну не двухлитровую же, бутылочку пепси. Что сделаешь, поколение пепси, надо соответствовать пепсикольному мышлению и имиджу. Но поскольку для нее, яркой женщины типа пепси-секси Старикан с его окладистой бородой оказался сексуально непривлекательным, она по-простому, по-трактористски наехала на него и на его стихи, и будь ее воля, а не толерантного Ахматова, она прямо-таки размазала бы тезку, Владислава по писательским стендам аудитории. Наверное, у нее все же была взята с собой бутылочка с голой «колой», если ей буквальной с бурой пеной на губах хотелось просто изничтожить этого абсолютно не эротичного и на «харю» совершенно нехаризматичного, как она сама выразилась, Илью Муромца, который в кальсонах пролежал на печи аж целых 33 года. И мало ли что он пришел на секцию со «спермосом», ведь сам попивал из него, а не размахивал им из стороны в сторону (а тогда бы и над головой бедного Ахматова тоже), чтобы произвести сильное впечатление на чувствительных до обморочного состояния поэтических дам и православных девушек.

Но все равно вскоре он пошел в разнос, и как пишет в своей статье Баронец, «на слушателей в промышленных объемах посыпались березы, клены и прочие атрибуты *деревенской патриотической жизни*». Ага, хи-хи, значит, атрибуты, но почему они посыпались, а не покатились, как бревна во время молевого сплава или с железнодорожных эстакад, и не раздавили Владу, сидевшую тут же, в практически обреченном на катастрофу помещении? Нет, так зло говорить про березы и клены – это навет, фейк, грязный выпад не только против светлых чувств простого народа, но и против «скромного обояния» буржуазии, которая к злости и к зависти «нуждающейся» Влады любит как раз выезжать к загородным навороченным коттеджам и отдыхать под сенью якобы околовозных скотопригоньевских берез? Просто пореже надо баловаться пепси-колой, и тогда будет меньше таких проколов. А так довольно печальное и мало кому интересное зрелище, как поломанную и переломанную Владу вытаскивают ленивые и матюжные МЧС-ники из-под разнокалиберных древесных стволов в 26 аудитории. Это же надо было приехать из цивилизной Барселоны (бар, салоны) в медвежье-

языческую Россию и оказаться раздавленной то ли березовыми бр-бр-бревнами, то ли большущим сторикановским термосом. Мало ей было в своих тракторных наездах на сельскую Русь заваливать беззащитные деревья, так она и в статейке первым делом ополчилась, окрысилась против зеленых лесов, а так же против стола, который без всяких сомнений, категорично назвала дубовым, хотя навряд ли к нему подходила близко и определяла породу его древесины на ноготок или на зубок. Но поскольку прилагательное «дубовый» в данном контексте звучит неблаголепно, то пусть на него симметричным способом ответит и Старикан, и даже Ахматов, которого этот стол так же касался (оскорбительно задевал) во время сидения за ним.

Но тут все не так смешно и не так просто.

Березофобия – это русофобия. Наезжать на березы – это и есть наезжать на Россию. И что симптоматично, аляповая статейка была как раз накарябана в те дни, когда по центральному телеканалу показывали многосерийный художественный фильм «Березка» (о славной деятельности всемирно известного национального танцевального ансамбля), а тут Баронец, откровенно и, пожалуй что, безнаказанно измывается над отечественной символикой. И откуда у этих баронесс – злющих трактористок-террористок – такое березоненавистничество и крайняя брезгливость, которая может вызвать как ответную меру берия-згливость? Зачем это им? Ах, там, где стоят березы, там же высятся белые православные церкви? А, если опасно выступать против путинских церквей, то хоть на березах отыграться? Это еще с дореволюционных времен повелось: посмеяться над Россией-лапушкой, задрать ей подол. А потом уж очень хорошо горели русские березовые дрова в гигантском костре революции 17 года! «Взвейтесь кострами, синие ночи!» Не думайте, что только русские матрешки и русская водка – являются СКВ, жидкой и древесной конвертируемой валютой. Березовые дрова можно тоже толкнуть по бартеру, а на вырученные деньги, допустим, поддерживать огонь в не очень-то патриотических и не по-детски продвинутых журналах «Костер» да «Искорка» и даже в никогда не затухающем, изрядно укороченном после Коротича «Огоньке», вблизи которых на «Пламенной кузне» выковываются новые кадры русофобов и березоненавистников. И я чувствую, что мятежная Влада (в которой нет русского лада) готова пострадать, пожертвовать своей относительной молодостью и заняться еще более черной работой, чем тракторное вождение, – укатить под конвоем на лесоповал, чтобы там заготавливать березовую древесину, которую бы направляли на поддержание поэтического всепожирающего пламени в подростковом «Костре» и, как всегда, в рисковом «Огоньке».

Да, прямо у нас в России многие литературно-культурные деятели, как говорил славный Станислав Куняев, воруют русский язык, но и немало тех, кто до сих цивилизных времен крадет, правда, вполне официально русские дрова и обогащается. Могла бы и пресловутая Влада Баронец со своего березоненавистничества что-то поиметь, но ведь и получает в виде идеологического, русофобского капитала, который очень пригодится для своего продвижения, карьероделания именно в *русской литературе*, как это

ни парадоксально. У Воронеж имеет немало шансов, что ее за такую, хотя и не везде озвученную осознанно враждебную позицию еще и СП России примут. Или уже приняли?..

Наверное, многие слышали выражение «гортоп», обозначающее в сокращенном виде «городскую топливную систему», которая проводит или провозит по своей отчетной документации кроме газа и угля еще и несколько саней березовых дров, а так же определяется как «топтать по-бомжовски город». А вот словечко или совсем уж простенькое словообразование «горпо» переводится на нормальный язык как «городские поэты». Эти «горпоты» тоже не дураки побухать под развесистыми березками, но их как бы по-отечески лупят хлесткими розгами те, кому из-за бугра поручено заниматься их идеологическим воспитанием. Так что у городских (я имею ввиду по рождению) стихотворцев березы тоже не в чести. Спросите у старых «костровцев», например у Б. Краснова, – они вам ответят, похохмят и позубоскалят. И тем более странно, что на недавней конференции молодых писателей Северо-Запада, проводимой под эгидой СПР, руководителями творческих семинаров были назначены именно «горпо». А троицу руководителей одного из таких семинаров я еще обозвал «китаезами», поскольку из начальных букв их фамилий (Краснов, Попов, Комаров) образовывалась КПК – то есть Коммунистическая партия Китая номер 3, – находящаяся в политическом изгнании в Петербурге, где эти китаезы-ревизионисты проводят деятельность, идущую вразрез с линией Маркса-Ленина-Мао и вдобавок ко всему из-за своего городского гонора «наносят урон русской деревенской поэзии». А в другом семинаре круто заруливала И. Сергеева со своими личными секретарями Н. Наливайко и слугой трех господ Н. Апрельской. Позднее всех этих голосистых городских певунов Ирэна Андреевна любовно разместила на красочной афишке «Весенние голоса», как птичек на генеалогическом, опять-таки городском древе, только что скворечника с Вовой Скворцовым не хватало. Ничего не скажешь, «соловьиные голоса России», солисты второго состава танцевально-песенного ансамбля «Питерская березка». «Чего не хочешь» споют и спляшут. То ли дело подлинный, а не аля-русский поэт Владимир Морозов. Отличный лирик, беззаветный певец берез и белых церквей!

Да, хороший поэт, но не литературовед. Это же надо было сказать так простецки, не удосужась хорошенько подумать, быстрехонько причислить к знаменитой когорте крестьянских поэтов Валентину Цареву и неизвестных даже мне петербуржцев М. Рысенкова и Т. Титову. Полнейшая историческая и поэтическая слепота. «Крестьянские поэты» – это была пусть и малочисленная (Есенин, Клюев, Ганин и др.), но политически ярко выраженная крайне националистическая русская организация, и никаких женщин, хотя бы ради сохранения их же, женских судеб, в ней не состоялось. Не надо, извиняюсь, «обабивать» и «бархатно-сахарно» смягчать направленность и значение деятельности этой самоотверженной группы действительно смелых, не боящихся пожертвовать своей жизнью во имя торжества Национальной идеи истинно русских поэтов. А всяким

деревенщикам, пишушим только про березки и ромашки, слишком жирно будет называться гордым именем «Крестьянские поэты».

Ну а как же там Влада нерусского лада? Когда она в своей русофобской заметке вспомнила название одного из стихотворений Старикана – «Улитка», то мне сразу представилось как из изящно-барского ротика Баронец полетели в сторону девственных берез черные жабы, жуки, улитки, ящерицы и пауки. Я тут же прилепил молодой, но обозленной женщине ярлык достойной наследницы Улицкой, Алексеевич, Ахеджаковой... Но дальше еще круче. Влада, продолжая разыгрывать крученую карту «Улитка», призывает якобы русского богатыря Старикана выйти или выползти на бровях из этой самой улитки, которая, как я понял, еще олицетворяет и храм, только с рогами вместо креста. И сразиться с нею в открытом бою да в открытом поле, да на глазах у зрительниц-березок. Только, чур, она на тракторе, а Старикан в пешем положении. Двухлитровый спермос ее не напугал, и поэтому она далее осуждающе и даже сожалеюще заявляет: «Как неизменные баба Яга и Кощей из русских сказок, появились «грусть-тоска», родная земля, русский дух и т.п.». Ага, прямо-таки отождествляет бабу Ягу с добрым и светлым русским духом. Это как у нас демократы, имеющие охранную грамоту от президента, любят издевательски обзывать русских людей, спасших мир от гитлеровского нашествия, – «фашистами».

Далее в заметке идут такие слова Баронец: «Громоздя друг на друга эти бутафорские конструкции», а это, судя по тексту – «родная земля, русский дух и т. п.», написанные с малюсеньких букв. Так нам нагло предьявляется запредельная гнусь, откровенная и генная ненависть, отформатированная и отформулированная во время выучки новых русофобов в специальных детсадах, школах и университетах. Но что же тогда не бутафория, а настоящее, неподдельное? Ах, это, если пролистать вторичные или даже третичные по стилистике и наполнению стихи Баронец, сопоставив их с произведениями ее сверстников Круглова и Дедух, – городские камни и плевки, загаженные и кое-где заколоченные досками лестницы в домах центральных районов Петербурга. Ага, парадные аки клоаки. Неспроста же для многих горожан созерцать использованные презервативы, одноразовые шприцы и какашки куда приятнее, чем смотреть на чудесные деревенские березы. Кстати, если уж я упомянул непосредственно о стихах Баронец, то скажу, что они опубликованы в довольно престижных, сам когда-то в них печатался, газете «День литературы» и журнале «Север», ставшими, увы, в наше время полулиберальными. Не такая уж Влада и начинающая поэтесса, как попробовала отрекомендоваться в собственной заметке. Более того, эту откровенную русофобку, кажется, предложили принять в члены СПР на недавнем всероссийском форуме молодых литераторов, проходившем непосредственно перед началом работы Съезда писателей России. Поэтому хочу спростить Владу и ей подобных поэтов, зачем «претесь» в наш якобы убогий союзик? Мне-то понятно, чтобы заняться в нем подрывной деятельностью, разрушить его изнутри, помочь совершить наглый рейдерский захват вместе с присвоением уставных документов, счетов и помещений...

Так что все на самом деле очень серьезно. Это не демократический выбор, а либерально-западнический выпад в сторону России. Это не просто на березку, а на хрупкое русское чудо накатывает чудо-юдо непонятого происхождения, входящее в состав пятой российской тракторной колонны. А сама Баронец жутко какая смелая, если позволяет себе совершенно оскорбительное высказывание: «Старикан опять уходит в штампы, в общие фразы о любви к русскому (с тремя р)». На самом деле имеется ввиду с тремя «с», это такая высоколобная, дурно пахнущая уловка, за использование которой вообще-то нельзя прощать по-любому. Но, ох, непросто такую Владу Баронец, которая не в ладах с нашими принципами, свернуть в бараний рог или хотя бы символически и литературно сжечь, как ведьму, на березовом костре справедливости и очищения.

А большого наказания Баронец явно заслуживает. Прочитаем следующую строку: «И рефреном проходящая строка «мы русские с тобой, а это значит» делала весь текст печально предсказуемым». А не является ли такая пренебрежительно-презренная трактовка Баронец рефрена «мы русские» предметом специального разбирательства и не попадает ли дерзкие деяния Влады под статью о разжигании национальной вражды? Да за это, наверное, ее можно смело посылать на лесо- или хотя бы хрено-заготовки в село. Да она нахрапистая, безжалостная, как небезызвестная петербужанка Ксения Собчак, как некая легендарная революционерка-политкаторжанка. И если бородастый Старикан в образе Ильи Муромца выберется из улитки не с дубиной, а с пресловутым термосом, то вряд ли осмелится облить свою соперницу даже тепловатой водичкой, а не то что кипятком. Хотя закипит, как чайник, от возмущения. Однако, покипел, остынет. Но Баронец его не оставит в покое. А поскольку именно ему в первую очередь адресует Влада свою заметку, то он и должен нанести ответный удар. Не без оснований полагаю, что он отвечать не станет, так как хорошо помню его так же антипатриотическую эскападу, фиглярский фокус с перевертыванием великий национальной даты 9 Мая и превращения «девятки» в «шестерку». Тогда писательский народ кроме двух-трех человек, как и предлагается православным, промолчал, скорее всего промолчит и теперь в случае с неприкрытыми русофобскими выпадами Баронец, а между тем любят у нас, ох, как любят посудачить на тему, что же русское стопятидесятиллионное население не реагирует на ежедневные политические и этнические притеснения, пренебрегая рифмованными призывами рафинированных поэтов-патриотов? Я полагаю, может, ошибаюсь, что Старикан такой же перевертыш, перекатыш, как многие. И в самом деле сколько в нашем СП перекрасившихся, быстро переобувшихся, перелицованных, то есть прячущих свои лица людей! Ну а я, каюсь, сам передел, придел поэтессу Баронец не в баронский и не в пижонский комбинезон трактористки, но только для наглядности обездов антирусской силы на наши березы. Теперь мне надо отмывать, обезьять крестьянский трактор, использованный по такому некрасивому назначению. Попробую это сделать через свой же язычески-полевой стих «Трактор-Зверь»:

Я не высокая трава.
Так что связался с тракторами?
К тому же тащатся едва
В своей тяжеловесной драме.

Вполне способные на прыгть!..
Но, тарактеня, прочь вы, прочь вы,
Ведь как язычник должен выть
О чистоте земли и Почвы.

Собрать еще врачей-светил
Под высью голубой и ярой,
Чтоб трактор больше не дымил,
Как табаком, своей солярой?

Тогда под гусеницу что ль
Трубы чадающей сигарету?
Но затормаживать доколь
Машину варварскую эту?

Не допускал святой Сварог
Зеленых далее обработку.
И что деру я, как ворог,
За трактора тревожно глотку?

Выходит, прав был Шестаков,
Что я по сути православный,
Но полевой Устав таков,
Что пункт о хлебе – самый главный.

Ославь же, Кировский завод,
Гудком поэта-рenegата,
Не станет хлебосольным год,
Если заглохнет всё, ребята.

Мне говорят: «Не надо бы
Рвать трактористскую тельняшку».
– Но трактор нужен для борьбы
За нашу Русь, за хлеб-черняшку!

От редактора. *Повторяясь, снова скажу: И здесь круто!* И не дремлет наша шука, и карасю не дадим дремать! Да и топор пора подточить. Терпите, авторы, то ли еще будет! Не для того задумывался журнал, чтобы вымачивать литераторов в сиропе... Мы еще и за редактора возьмемся – да почему бы за него не взяться тем, кто уже обижен? Что он о себе возомнил – что он самый крутой? Найдутся на него и покруче его!

Татьяна Лестева

Александр Проханов. В новых жанрах.

Четверть века назад его называли «фашистом», «рупором «красно-коричневых» и «врагом демократии». Теперь Александра ПРОХАНОВА, который ни на йоту не изменил своим убеждениям, с юбилеем поздравляет президент страны, а политические ток-шоу наперебой приглашают принять участие в качестве почётного гостя. Известному писателю и одному из ярчайших публицистов России 26 февраля исполняется 80 лет.²

Михаил Панюков

Юбилей Александра Андреевича Проханова не прошёл незамеченным. Его поздравляли и литераторы, и политики, и читатели... Владимир Владимирович Путин также откликнулся на это событие правительственной телеграммой, в которой отметил, что юбиляр всегда сохранял «приверженность своим гражданским принципам и идеалам». Естественно, что Александр Проханов – «соловей Генштаба» – занял достойное место в ряду ранее поздравленных президентом деятелей культуры – Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, Константина Райкина, Алексея Венедиктова и прочих юбиляров. (Для читателей с чувством юмора – Т.Л.)

А. А. Проханов в преддверии юбилея порадовал почитателей его таланта не только новыми книгами, но отметим главное – книгами самых различных жанров. Я уже писала о «крутом» шпионском детективе – «Востоковед». И вот вслед за ним последовал роман «Русский камень» (М., изд. «Тerra», 2017, 240 стр. формата 70x100 1/16). О выходе этого романа восторженно провозгласил Владимир Соловьёв рано утром в передаче на радио «Вести ФМ», процитировав отрывки, касающиеся главного редактора радиостанции «Эхос Мундис» «потомка Юлия Цезаря» Алексиуса Венедиктума – резидента подпольной сети Алексея Алексеевича Венедиктова, у которого «...были, как всегда длинные, нечёсанные и немые волосы. Но это были не волосы, а антенны. С помощью этих антенн он поддерживал связь с центром. (...) Леся Рябцева погружала свою нежную руку в пышную шевелюру Алексея Алексеевича в поисках там уха. В конце концов, ухо было найдено, и Леся Рябцева извлекала оттуда акции Газпрома и прятала их у себя на груди». Не только акции, Лесе удалось извлечь оттуда и бриллиантовые часы, подаренные главному редактору Песковым.

Реклама возымела своё действие, я сразу стала звонить в Дом книги, Буквоед, Книжную лавку писателей. К моему удивлению, ни в один из крупнейших магазинов Санкт-Петербурга роман Проханова не поступил. Поискала издательство, и удивление только возросло. Оказалось, что роман издан on demand – под заказ. Александр Андреевич решил отдать дань моде? Или издательство не уверено в финансовом успехе? Я заказываю эту книгу и

² <https://www.eg.ru/culture/475004/>

получаю прекрасно изданный фолиант в цвете, с большим количеством иллюстраций и шаржированным, но узнаваемым портретом, – кого бы вы думали? – Александра Глебовича Невзорова!

С первой страницы книги читатель узнаёт, что радиостанция «Эхос Мундис» создана Ватиканом с благородной целью спасти несчастный русский народ, а все её журналисты – колдуны и маги. «Когда по радио («Эхос Мундис» – *Т.Л.*) шли передачи о Великой Отечественной войне, диктор рассказывал, как в 1941 году, когда Гитлер подступил к Москве, на помощь русским пришли американские полки из Калифорнии и отогнали Гитлера. Командующим Сталинградского фронта был генерал Монтгомери, командующим 2-го Украинского – генерал Патон, а 3-м Белорусским руководил генерал Эйзенхауэр. (...) Однако русский народ не хотел спастись и оставался неотёсанным русским народом». Для великой цели спасения русского народа, «спасению» которого противостояли русские иконы и великая русская культура, на радиостанции решили создать существо Аспидус, которое «должно было покорить русский народ и направить его к спасению». Сотворённый колдунами радиостанции Аспидус явился перед читателями в образе Александра Глебовича (Глыбыча, Хлебовича) Невзорофа, который «представал перед публикой всякий раз по средам на радиостанции “Эхос Мундис”. Именно он «...дал определение Российской империи, как пустоты, наполненной непроезжими дорогами. (...) Невзороф утверждал, что русский язык родился из скрипа падающих деревьев, брачного крика совы и воплей истязаемого на дыбе мученика. Русский мат есть перевод с татаро-монгольского известных слов песни “Я люблю тебя, Россия, дорога моя Русь”».

Прототип и аналогии очевидны – А. Г. Невзоров регулярно по средам вещает на радио «Эхо Москвы». Роман-памфлет, главным героем которого является Аспидус-Невзороф, позволяет автору помещать героя и его «эхос-мундиевское» окружение в самые необычные фантазмагорические ситуации. Фантазии А. А. Проханову занимать не приходится. И, тем не менее, аллюзии их угадываются весьма легко.

Вот, например, драматическая история превращения Глебыча Ясиным в кота, которого вышвырнул из редакции Алексей Венедиктов на Новый Арбат. «И стало ему голодно и тоскливо. Однако на заднем дворе ресторана “Барашек”, что на Новом Арбате открыли предприимчивые азербайджанцы, находились мусорные баки с множеством вкусных объедков. Невзороф, прыгнув в бак, уже хотел полакомиться чудесным шашлычком и люля-кебабом, отведать долмы, съесть кусочек красной рыбки, как на него набросились другие коты и кошки. Он не знал, что здесь на помойке обитала “семья”. Здесь были кот Юмашев и кошка Татьяна Дьяченко, драные, побитые в драках коты Александр Стальевич Волошин и пресс-секретарь Ястржембский, а также молодая кошка печального вида Наниа Иосифовна. Помойка принадлежала этой “семье”, и она не подпускала к ней посторонних. Завязалась короткая схватка кота Невзорофа с котом Георгием Сатаровым, Сатарову подсобили кот Юмашев и кот Ястржембский. И кот Невзороф,

получив изрядную трёпку, покинул чужую помойку». Как говорится, без комментариев.

Безработный Невзороф, переходя от помойки к помойке, решил организовать кошачье «Эхос Мундис». «Они собирались ночью в московском дворе и, едва гасло в домах последнее окно, начинали свои передачи. Они истошно мяукали, непрерывно стонали, шипели, заунывно подпевали, жаловались заокеанским кошкам, что в России жить невозможно. Здесь нет комфортабельных помоек, права кошек ущемляются силовиками-собаками, несменяемость российской власти приводит к деградации общества. И эта деградация в первую очередь относится к обществу “Мемориал”. Они просили заокеанских кошек оказать давление на российскую власть с тем, чтобы она перестала считать “Левада-центр” иностранным агентом и открыла кошкам русского простонародья доступ к элитным университетам Лондона и Америки». Увы, жители соседних домов не воспринимали этого свободолобивого кошачьего воя и забрасывали кошек чем попало, в том числе подшивками журнала «Дилетант» Дымарского. Информация об этом псевдоисторическом журнале частенько появляется на страницах романа-памфлета, но используется он отнюдь не для чтения.

Не буду перечислять все перипетии жизни А. Невзорофа, все его проекты, включая создание Академии мыслей. Например, он «... решил вернуть Сталинские премии по литературе первой, второй и третьей степеней. Лауреатами Сталинской премии стали Дмитрий Быков за исповедальную прозу “Как я стал коммунистом”, Дина Рубина за блестящий роман “Еврей-коммунисты”, Улицкая за трилогию “Вперёд, заре навстречу” и Акунин за ещё недописанный роман “Чекист Фандорин”». Полагаю, что комментарии излишни.

А сколько их ещё! На каждой странице остро сатирически автор излагает те или иные события жизни главного героя и сопутствующего его эхосмундисовского окружения, которые, несмотря на фантазийную обёртку, являются не чем иным, как историческими фактами из жизни современной России. Проходят чередой на страницах романа не только либералы – Шендерович, Шмеерсон, Майя Пешкова, Матвей Гонопольский, Глеб Павловский и Станислав Белковский, Дондурей, равноапостольная Наталия Солженицына, писательница Алексиевич с романом «У Думы женское лицо» и т.п., но и мелькают порой суровые мужики из газеты «Завтра» и даже некий «пузатый писатель». Вопрос – кто это такой? оставляю без ответа.

Пройдя через огонь, воду и даже превратившись в «адские ворота», Александр Невзороф обрёл долгожданную комфортную жизнь: играл в казино в Монако, плавал на яхте, катался на лыжах в Швейцарских Альпах, загорал на альпийском солнце, проводил вечера с девочками. Пока... в баре «у него закружилась голова, и он стал падать с высокого стула на землю». Проснулась русская душа, и он стал вспоминать другую жизнь, где он «... не был шутом гороховым, где он не был похож на целлулоидного попугая, наполненного гремучим горохом, где он был приобщён к иному – возвышенному и священному бытию, из которого его вырвала чья-то злая

воля, превратила в клоуна, окружила глупцами и проходимцами, напялила ему на голову дурацкий колпак с бубенцом».

Прозрение главного героя романа? Или приговор, вынесенный автором не только герою, но «глупцам и проходимцам» из «Эхоса Мундиса»? Думаю, что и то, и другое. Но автор склоняется к прозрению Невзорофа, который не может дальше так жить и молит о прекращении этойкой его жизни. Всеблагой господь вял этой молитве и превратил его в русский камень – на берегу Лены появился ещё один столб, причём не простой, а издающий какой-то гул, как будто поэт читал свои стихи.

О жизни вечной вымысл не верьте.
Как тень бесследная, пройдёт за родом род.
Я – мост, ведущий от рожденья к смерти.
Я – по мосту идущий пешеход.
Я – яма в прошлое. На дне её цветы,
И две войны, и лица милых женщин,
Но если в глубину заглянешь ты,
Увидишь дым, сочащийся из трещин.
Там на брусчатке серебро разлито,
Зубец стены, медовый цвет дворца.
Там мавзолей из красного гранита
И лунный камень мёртвого лица.

Сентиментально-ностальгическое окончание, конечно, выходит за рамки романа-памфлета, но Александр Андреевич остаётся верен себе: немного душещипательного лиризма после драматических жизненных коллизий не может повредить, оно только полезно. Вспомним трогательно наивный финал романа «Время золотое» – чудо, мечта о грядущем монархе, – когда навстречу ушедшему с политической арены главному герою в городе двух царей идёт мальчик, над головой которого «тихо золотился воздух». В «Русском камне» фантастический финал превращения Невзорофа в поющий Ленский столб расценивать как чудо вряд ли можно. Это скорее призыв, наивный совет автора романа своему герою вырваться из той помойки, куда завели талантливого журналиста события русской истории постперестроечного времени.

Внимательно прочитав роман, поняла, почему он издан по запросу: число его читателей ограничено теми, кто помнит репортёра Александра Глебовича Невзорова с его передачей «Шестьсот секунд» 1987-1993 гг., и теми, кто слушает «Эхо Москвы» и более или менее знает «кухню» этого радио. От этого романа-памфлета издательству трудно было ожидать финансового успеха. Но читать его весьма и весьма интересно, наслаждаясь ярким образным языком романа-памфлета и саркастическим остроумием автора.

Окинув взглядом книжную полку с романами А. А. Проханова, задаёшь себе вопрос, какие стороны русской действительности им ещё не охвачены? Героями его романов уже были президенты, премьеры, госсекретари, губернаторы, разведчики, наконец, ведущие журналисты... А где же «украшение» российских телеэкранов – герои шоу-бизнеса? Пришла и их пора.

В ноябре 2017 года в петербургском издательстве «Лимбус пресс» под редакцией ответственного секретаря журнала «Аврора» Ильи Бояшова увидел свет роман «Гость», на обложке которого букву «с» художественный редактор А. Веселов представил в виде серпа и молота. Как дань неизменяемым коммунистическим взглядам автора, не так ли?

Роман по жанру я бы назвала социальной фантастикой. Главный герой – достигший высот признания и славы Аркадий Веронов – шоумен, ставящий по заказу сильных мира сего перформансы³ (Так в романе, хотя в современной русской литературе это действие преимущественно называется перформансом, но это к слову.) Основная фантастическая идея романа – перформансы – это олицетворение зла – материализуются и вслед за ними происходят в тех или иных уголках России страшные катастрофы с большими человеческими жертвами. Эта неочевидная, на первый взгляд, связь событий культуры и реально жизни страны, была, однако, замечена директором «английского инвестиционного банка, работающего в России», Янгенсом Ильёй Фернандовичем. Аркадий (имя, выбранное автором для своего героя, несомненно, символично: нет, это не пастух, это счастливчик, как некогда был министр Аркадий Дворкович)... Аркадий Петрович Веронов получает от английского банкира Янгенса – поклонника его искусства – столь щедро оплачиваемое предложение, от которого отказаться нельзя. Это не только «художественный проект», – говорит ему Янгенс: «Мы испытаем с вами новое оружие. Вы оружейник, вы и оружие». И испытание «оружия» началось.

Роман начинается описанием банкета участников московского экономического форума, так сказать, банковско-промышленной элиты, что позволяет автору дать оценку современному российскому обществу и высказать ряд иронически-критических замечаний в адрес правительства, разумеется, от их, а не от своего имени.

Успешный банкир «...сказал, что современное российское общество делится на победителей, винеров, как он их назвал, и лузеров, проигравших, выброшенных из истории. Винеры – это самые деятельные, способные, авангардные люди России, которые заняли лидирующие места в стране и ведут её к процветанию. Они получили во владения заводы, рудники, корпорации, а вместе с этим – русские реки, леса, океанские побережья. Располагаются они всем этим в интересах не только России, но и всего человечества. Лузеры – это лохмотья истории, лишённые воли, талантов. То сырьё, из которого едва ли можно создать полноценный человеческий материал. Они брызжат, ропщут, пьют водку, живут в своих зловонных подъездах, устраивают поножовщины и раз в году, в годовщину Октябрьского

³ Перформанс^[1] (англ. *Performance* – исполнение, представление, выступление) – форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время

переворота, проходят по Москве в колонне под красными флагами, развлекая своим видом иностранных туристов. (...) Посмеивались над Премьером, который владел искусством говорить красочно и объёмно, оставляя после своих речений ощущение удивительной пустоты. “Вакуум мысли”, – сострил один из банкиров.

Отмечали прекрасную форму, которую продемонстрировал Президент, что отметало всякие сомнения в том, что он снова будет баллотироваться на высокий пост. (Роман увидел свет до решения В. В. Путина принять участие в выборах. – *Т.Л.*) “Власть – не часы, которые нужно менять” – тонко пошутил финансист, намекая на новые дорогие часы, замеченные на руке Президента». И после такой оценки российского общества читатель видит реверанс А. Проханова в адрес президента, который выступил «с напутствием бизнесу следовать не только коммерческой выгоде, но и преследовать национальные интересы». Слова, слова, слова... Услышит ли их бизнес? Вряд ли.

Вот в эту компанию «винеров» Веронов приносит пулемёт – «...артефакт, который мы внесли в область современного искусства, напоминающий нам о былых кровавых убийствах, но теперь знаменующий безвозвратный уход того отвратительного и кровавого времени. Это надгробный памятник на могиле Октябрьской революции» – и начинает расстреливать их «холостыми», заканчивая лозунгами Великой Октябрьской революции. Последствия перформанса драматичны – взрыв газохранилища в Липецке с человеческими жертвами. От фантастики к реалиям русской жизни.

Эта типичная картинка перформансов Веронова, видоизменяясь внешне в зависимости от публики, перед которой развёртывается действие, повторяется в романе несколько раз с обязательным началом «за здоровье» и саркастическим финалом «за упокой». Используемый приём позволяет автору вначале сделать реверанс перед заказавшей его перформанс публикой, успокоить её бдительность, чтобы потом неожиданно резко, скандально эпатировать присутствующих, высказав явно противоположное мнение, бытующее в народе. Незабываемо ярко описан Прохановым круглый стол церковных иерархов и общественности по вопросу взаимоотношений церкви и общества. Перформанс открывается иконой со Сталиным, недавно так широко обсуждаемой в российской прессе: «... алтари и молящиеся у алтарей священники защищают небесные границы России (...) Каждый молящийся священник или монах – это воин Христов, отбивающий от наших границ сатанинские полчища (...) Иерарх поправил на груди панагию. Отец Марк одобрительно кивнул.

– И я говорю моим прихожанам на проповеди: “Зачем вы идёте в эту безбожную церковь, где вместо Бога деньги, вместо веры блуд? Попы, раскормленные коты, торгуют верой, они – содомиты, стяжатели. Это не церковь Христа, а церковь сатаны. Не храм Богородицы, а вертеп Дьявородицы”». Выбранная автором форма изложения отражает точку зрения части общества на современную церковь без боязни получить вызов к следованию за оскорбление религиозных чувств верующих.

Не буду перечислять содержание остальных перформансов из романа. Главное действующее лицо в них – зло. И это зло, выносимое автором на сцену, не только приводит потом к трагическим событиям в стране, гибели людей в катастрофах, но оно разрушает и душу, и личность самого творца.

Когда к Веронову приходит осознание таинственной связи между «оружием» – его творчеством и последующими катастрофами, главный герой романа пытается вырваться из этого чудовищного круга ада, вернуться в ту, уже далёкую прошлую жизнь, где были друзья, любовь... Но в мир зла есть только вход. В какие-то минуты ему кажется, что он вернулся в мир человеческих отношений, мир дружбы и любви, но это только на миг. Поселившийся в нём «гость» просыпается и разрушает эти минутные иллюзии; зло и разрушение торжествует. *Искусство не может и не должно быть разрушительным*, – вот основная мысль этого романа. Вспомним Георгия Иванова:

Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец
Самоубийство, наконец.

Чтобы вырваться из адского круга зла, герой романа, вкусив «сладкий леденец искусства», выбирает самоубийство. И этот финал романа, финал жизни главного героя нужно признать оптимистичным – зло уходит из жизни вместе с его творцом. Остаётся только пожалеть, что катастрофы и трагедии в жизни остались. Фантастика и жизнь – не одно и то же, к сожалению.

А. Проханов в романе «Гость» утверждает: «Напрасно полагают, что искусство отступило на дальнюю периферию общественной жизни. Мы получили свидетельство того, как новейшая эстетика вторгается в самые закрытые сферы и производит там разрушительное действие». Почти сто лет назад Вячеслав Иванов в стихотворении «Г. Чулкову» высказал ту же самую мысль

Да, сей пожар мы поджигали,
И совесть правду говорит,
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нём сгорит.
Гори ж, истлей на самозданном,
О сердце-Феникс, очаге. (1919 г.)

А. Проханов в уста Янгенса, который якобы, не просто любит, а «очень любит Россию», вкладывает такие слова: «Советский Союз был разрушен художниками. Без пуль, без вторжений, без военных переворотов. В Советский Союз, по тайной договоренности вашего и американского президентов во время их встречи в Рейкьявике, приехало несколько выдающихся мастеров перформанса».

Вот она – трагическая история так называемой «перестройки». Янгенс (читай А. Проханов – *Т.Л.*) намекает на тайный сговор президентов. Художественный вымысел? Или... «Всей правды я вам не скажу никогда!» – это слова президента России Горбачёва⁴. Но Янгенс-то, несомненно, знает скрываемую Горбачёвым правду. Продолжу цитату:

«И они в течение четырёх лет перестройки совершали свои акции, нанося глубинные травмы общественному сознанию, в котором с каждой акцией умирали представления о величии государства, о несокрушимости армии, о всеведении спецслужб, о мощи промышленности, о героической истории, о доблестных героях, о гениальных писателях и музыкантах. Каждый перформанс наносил удар по одному из столпов государства. И когда последний столп рухнул, когда состоялся заключительный грандиозный перформанс – введение танков в Москву, убийство трёх демонстрантов, сокрушение памятников, – тогда это грандиозное зрелище совершилось, пало государство».

Мы помним его, финал так называемой «перестройки». А творцы «перформансов» того времени не только живы и здоровы – Горбачёв, Чубайс и иже с ними, но и процветают, а Ельцину в Екатеринбурге даже создан мемориал стоимостью более 13 миллиардов рублей⁵. Но вернёмся к роману.

Янгенс бесследно исчезает с его страниц, – раскаявшемуся творцу перформансов Веронову найти его так и не удаётся. Но раньше он сказал ему (закрываю цитату): «Недаром в священном писании сказано: ”Дело рук художника ненавижу”». А ненависть к деяниям «художников» (добавлю: перестройки – *Т.Л.*) автора фантастического романа, несомненно, реальна. И её разделяют все патриоты нашей многострадальной родины.

Роман, как всегда у А.А. Проханова, написан образно, красочно, читается на одном дыхании, но, в отличие от московских издательств, в книге, вышедшей в петербургском издательстве «Лимбус Пресс», к сожалению, много пропущенных редактором и корректором орфографических ошибок.

Санкт-Петербург

⁴ М. Полторанин «Власть в тротиловом эквиваленте», М. 2017.

⁵ *Центр памяти Ельцина стоимостью более 13 млрд...*
politclub.livejournal.com/10498294.html

РАЗБОРКИ СРЕДИ КРИТИКОВ

Людмила Бубнова. Рецензия
Вячеслав Овсянников. «Тот день».

Геннадий Муриков

Игорь Лазунин «Химсостав предчувствия».

Вячеслав Овсянников

Об одном стихотворении Игоря Лазунина

Людмила Бубнова. Вячеслав Овсянников «Тот день»

Наконец мне попалась рукопись из музыкальных слов, магии ритмов, вздохов, света, цвета, ощущений, настроений. Значимые слова излучают все возможные смыслы и внутреннее звучания без привычных пустых по сути комментариев и длинных описаний.

НЕПРИВЫЧНАЯ РУКОПИСЬ. Я безуспешно ищу непривычное всюду – и вдруг вот оно.

«Тот день» Вячеслава Овсянникова должен восприниматься как поэзия. Читать поэму надо порциями, готовить себя к восприятию необычного слога. Ведь ставшую привычной рифмованную поэзию «Евгения Онегина» тоже за один час или день не проглотить.

Лично мне не надо дополнительных объяснительных слов: воображение досказывает ненаписанное, подразумеваемое любым словом.

В необычной поэтической прозе В. Овсянникова есть драма человека, трагичность перегруженного эрудицией мира и юмористическое его восприятие.

«В 4 часа утра мастер чайной церемонии школы Уросекан идет к колодцу. Еще до восхода солнца великий мастер заваривает чай из воды, взятой в Новый год, смешанной с водой, взятой накануне. Происходит перевод воды из старого года в новый» и т. д.

В самом деле ни одному европейцу не придет в голову воспринимать сообщение без юмора.

«Музыкально-живописная тайна мира» волнует меня так же, как автора. Я слышу (вижу) музыку. Мне она интересна. Она ведет меня по тексту за автором. А он пишет «как сумасшедший или как человек, который умрет завтра».

Как и автор, я знаю, чувствую, ощущаю: «В слове есть еще что-то кроме слова, я не знаю, что это, знает мой организм».

Представляю, как трудно автору найти чье-либо понимание. У нас привыкли читать невнимательно длинные, необязательные, часто бессмысленные периоды с придаточными предложениями и везде ищут того же самого. А другого стиля не воспринимают совсем.

Вячеслав Овсянников писал и привычные сюжетные рассказы, детективные насыщенные действием повести.

Но сколько можно одного и того же? Душа требует новизны. Он изобрел для себя музыкальный насыщенный чувственный язык из простых доступных слов, излучающих много смыслов.

Мне не хочется называть его прозу-поэзию «потоком сознания» или «постмодернизмом». Я чувствую: автор пошел уже дальше этих затверженных стилей. Музыка слов, богатый образный строй чувств и мыслей автора уже перешагнули давно устаревшие стили.

«Взбурли язык, седлай небесную пружину!»

Да будет понята читателем насыщенная музыкальная энергетическая проза-поэзия Вячеслава Овсянникова!

Желаю неторопливого чтения: словесный напор быстро утомляет, но возвращаться к тексту радостно. *11 декабря 2011*

Геннадий Муриков

Игорь Лазунин «Химсостав предчувствия».

Игорь Лазунин в наших поэтических кругах известен как новатор и даже «маленький хулиган», но его «химсостав» показывает читателю другой образ поэта, ищущего разнообразия в женских лаках.

В пальцы, разбитые дрожью,
Сонная женщина вложит
Сочные груши грудей.
Значит, к своей не пойду,
Хоть и не голодно с нею.
Я-то ведь знаю – вкуснее
Фрукты в соседском саду.

Многое у поэта связано с эротическими символами и фантазиями:

Откупоришь дверь – слава богу:
Измена предательски лает,
Предательство трётся о ногу.

Прекрасно найдены метафоры и смыслы. Но вот другой текст, как бы противостоящий предыдущему, обращённый к одному из своих приятелей:

Ты пошёл по моим бы стопам:
И в коварстве бы сбился с ног,
И с моею женою стал спать,
Чтобы не был я одинок.

Если поэт рекомендует приятелю спать со своей женой как рецепт борьбы с одиночеством, то не стремление ли это к коллективному сексу (разумеется, я говорю это в шутку).

Некоторые стихи Лазунина мне кажутся просто гениальными.

Нет ни выси, ни глубин
Плоско, не причудливо,
Но становится другим
Химсостав предчувствия.
Та же лампа, тот же свет
Тень от штор прибоями,
Но читаешь текст газет,
Скрытых под обоями.
Жизнь до родинки видна,
Близкая, коварная,
Словно голая жена
Проскользнула в ванную.
И слетаются легки,
Прекратив верчение,
Звёзды, будто мотыльки
На твоё свечение.

Поэт-сатирик и поэт-лирик в творчестве И. Лазунина соединяются, но иногда он идёт на поводу прямо-таки какой-то глуповатой поэтической струи крестьянских поэтов XIX века – Ивана Никитина или Ивана Сурикова. Например, «Детство»:

Резвятся листья до упада
Над полинявшим козырьком
Смешно в бутылке лимонада
Моргают глазки пузырьков.

Меня удивляет, почему такого острого современного поэта привлекают какие-то слюнявые бессмысленные сюжеты, да ещё почти что повторяющиеся известные стихи советского времени по типу В. Лебедева-Кумача: «Журчат ручьи, // Кричат грачи, // Весна идёт, // Весне дорогу».

Автор обращается к той же теме в стихотворении «Весна идёт»:

Солнца шар с утра надут,
В парке шепчутся скульптуры.
Крепкий старикашка дуб
Хвастает мускулатурой. (...)
Лишь приезжий стихоплёт
В городе, пургой объятom,
Слышит, как весна идёт
Где-то рядом, где-то рядом.

Отчасти остроумно, отчасти нет. Сталинские премии по литературе не мы присуждаем, а если бы и присуждали, то за подражательство банальным советским поэтам автора этих строк вряд ли бы удостоили.

Григорьевскую премию автору присудили, по-видимому, справедливо. Но сравнивая «химию его предчувствия» с более ранними стихами с Прозы.ру, прихожу к неудовлетворительному выводу: автор скис, продукты окисления появились в химсоставе. В заключение желаю И. Лазунину творческих успехов – от окисления к восстановлению.

Вячеслав Овсянников

Об одном стихотворении Игоря Лазунина

2 марта 2018 года, Дом писателя, секция критики, руководитель Г.Н.Ионин. Обсуждение нового сборника стихов Игоря Лазунина «Хим.состав предчувствия». При обсуждении в числе прочего были упомянуты термины «имажинизм» и «метафоризм». Наиболее интересным, на мой взгляд, в этом сборнике является последнее стихотворение под названием «Заглянем в небеса». Оно показательное для всего сборника и дает представление о поэтической работе автора.

Игорь Лазунин

ЗАГЛЯНЕМ В НЕБЕСА

На стекле холодов хохлома.
Еле видно деревьев огарки.
Скучный день продолжает хромать.
И не вызреет солнца хурма.
Ставит мертвому парку припарки
В санитарском халате зима.

А в квартире встает на дыбы
Тишина перед мысленным взором.
Тень боится своей худобы.
И на кладбище книжном – гробы.
И обходит владенья дозором
Суета неказистой судьбы.

Смерть во мне коготочком косы
Увязает, как птица в ловушке.
Простота ее дикой красоты
На ходу усмиряет часы.
Замирает растенье в кадлушке
Под ремнем световой полосы.

Выхожу на мороз, обмануть
Жизнь, растрескавшуюся, как губы.
И не страшно, что мехом вовнутрь
Мне пошита ежовая шуба.

Сразу в первой же строфе нельзя не отметить звукопись: «На стекле холодов хохлома / Еле видно деревьев огарки». Звуковой рисунок «е-ле-х-о-л-х-о» и подхваченное во второй строке «еле». Далее в строфе этот звуковой рисунок сохраняется в сгустках аллитерации только на концах строк, в рифмах: «холодов хохлома-хромать-солнца хурма-халате зима». В первой же

строфе (и во всем стихотворении) видим ряд интересных, нетривиальных образов. Но, казалось бы, создается впечатление, что они поставлены слишком густо, получается перебор, перегруз, нагромождение, беспорядочность образных всплесков. Казалось бы, это рядоположение разнородных образов слишком нарочито и напоминает игру фокусника: холодов хохлома, деревьев огарки (кстати, отсыл к пастернаковскому: «что почек, что клейких заплывших огарков /Налеплено к веткам...»), скучный день почему-то хромает, наше северное зимнее солнце почему-то – хурма. И такой многослойный сгусток метафор и аллитерации в конце строфы: «Ставит мертвому парку припарки / В санитарском халате зима». И во второй строфе продолжается: и тишина встает на дыбы, и книги – гробы, и некрасовский Мороз Красный нос «обходит владенья дозором», став «суетой неказистой судьбы». (Строка, кстати, не из удачных). Казалось бы, образы слишком навязчиво заявляют о своей самодостаточности, они сами по себе и для себя, и выглядят чередой вычур. И, может быть, действительно, тут явлен нам воскресший из мертвых имажинизм? Но воздержимся от поспешных выводов.

У поэзии своя логика. Эта логика чисто поэтическая. Своя логика и у метафор. Нет, не спроста в этом стихотворении такое настойчивое нагнетание заряженных мрачной эмоциональностью метафор. Метафоризм – в природе самого языка, органически присущее ему свойство. Метафоризм, можно сказать, – поэзия языка. Поэзия языка как такового. Метафора – оборотень, в полнолуние она оборачивается (выворачивается) своей символической изнанкой, в ней не умирает магия первородного языка первоначальных времен. И разве не прав Потебня, называя метафоризм и символизм языка поэтичностью самого слова, самой языковости? Поэзия живет в многозначности языка и возникает она на разломах и разрывах его заострения, привычности, накатанности. «Согнать ладью живую с наглаженных отливами песков» призывает поэтов Афанасий Фет.

И вот мы читаем дальше в рассматриваемом стихотворении Игоря Лазунина: «Смерть во мне коготочком косы / Увязает, как птица в ловушке». Да, теперь смерть не страшна, она сама попалась, она же – птица, или превратилась вдруг в птицу, потому что мы здесь не у себя в повседневности, мы в колдовском небе поэзии, в мире волшебных превращений, где все возможно, любые чудотворства, и все образы вещей рядом, все замещают и совмещают друг друга. И потому-то и можно обмануть растрескавшуюся, как губы на морозе, жизнь; и потому-то и не страшно носить трагическую, пошитую мехом вовнутрь, жуткую ежовую шубу нашей так называемой реальности.

И что же нам остается сказать в заключение: «Так вот итог твой, мастерство!» А не ускользнула ли от нас поэзия, пока мы выхватывали из единой живой и трепетной ткани стихотворения то один кусок, то другой для всегда спорного препарирования? Так вернемся заново к самому стихотворению и, вникая в живую плоть его строк, услышим его сокровенный голос и почувствуем его тайный жар, заглянем в небеса поэзии.

РАЗБОРКИ В ОБЩЕСТВЕ

Геннадий Муриков

Два «хозяина земли Русской».

Николай Романов и Владимир Путин.

Исторические аналогии.



Долой монархию!



Спасибо нашим отцам и дедам!

Владимир Бесперстов

Россия:

Государство и Отечество

(Размышления о патриотическом воспитании)

Холмогоров Егор

Мифы и правда о Солженицыне: Фамилия и отчество

(перепечатка из открытых источников)

«Врал» ли Солженицын о «100 миллионах репрессированных»?

Геннадий Муриков
Николай Романов и Владимир Путин. Исторические аналогии.

- 1 -

20 мая 2018 года исполнилось 150 лет со дня рождения последнего императора России Николая II. Кем был император Николай – просто человеком, или, как считали некоторые лица из его окружения (Великий Князь Николай Николаевич), – полубогом? А большевики называли его и даже по некоторым слухам «Николаем кровавым». Часто муссируется информация, что Ленин якобы хранил отрезанную и заспиртованную голову Николая у себя в сейфе. Было ли это?... «Он был непостижим. Всякий человек непостижим. Он мечтал вернуться в XVII век. Его любимым царём был “тишайший” царь Алексей Михайлович, не любимым – европеизатор, “революционер на троне” Пётр I» (/1/ «Николай II глазами современников», СПб, 2016, с. 5 /Н. Елисеев/). Так считают и некоторые современные исследователи. Но так ли это на самом деле?

Во время первой переписи населения России в 1897 году всем участникам предстояло ответить более чем на десяток вопросов. На вопрос «занятия, ремесло, промысел, должность или служба. Главное: ответ Николая II был: «Хозяин земли Русской». Мог или не мог так же ответить на этот вопрос в наши дни В. В. Путин? Нужно подумать об этом. (Личность и деятельность Сталина в наших раздумьях сознательно опускаем).

Для правильного понимания не только личности, но и деятельности императора Николая следует взглянуть в различные аспекты общественной и политической ситуации во время его царствования. «Государь однажды сказал министру иностранных дел С.Д. Сазонову: “Я, Сергей Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и нахожу, что только так и можно править Россией, иначе я давно был бы в гробу» (там же, стр. 72).

Недавно мне довелось прочесть интересную книгу «Необольшевизм. Откажется ли Путин от либерал-демократии?» (М., 2014) нашего знаменитого писателя Эдуарда Лимонова, о котором я неоднократно писал. Читатель понимает, что автор книги Путина не любит, тем паче, что при Путине он несколько лет провёл в тюрьме. Лимонов говорит: «Таких правителей, как Путин, в истории России не было» и подчёркивает: «В новом президенте России чувствуется нечто женски грустное. Точнее, недостаток мужского начала. Если Ельцин был явный старый жеребец, которого от баб увела только водка, то В. В. Путин – совершенно асексуальный тип, то есть не сексуальный. Какие бы грозные фразы о мочилове в сортирах-туалетах он ни произносил, такое впечатление, что он робок как девушка» (с. 102).

«Бесхребетность, расслабленность иногда приписывал своему шефу С. Ю. Витте. Николай II, иронизировал он, “имеет женский характер”. Только по игре природы незадолго до рождения он “был снабжён атрибутами, отличающими мужчину от женщины”» (М. К. Каслинов «Двадцать три ступени вниз», М., 1989, с. 98).

Как и кем были организованы революции 1917 года – февральская и октябрьская? После тщательных исследований А. Солженицына, который, хотя, в общем-то, избегает темы масонского заговора, но не отрицает его, можно подвести итоги чёткими словами Эдуарда Лимонова: «Столкновение капитализма с социализмом с самого начало было фикцией, придуманной профессором Марксом на базе уже имевшихся экономических знаний + ведро фантазии. На самом деле практику, конквистадору Марксу нужен был революционный класс (или избранный народ, что, по сути дела, одно и то же)» (с. 39). Ясное понимание того, что марксизм есть не что иное, как разновидность неоиудаизма, возникло уже давно.

Обратим внимание на такие, казалось бы, небольшие детали. Вот цитата из воспоминаний Юлии Ден (жена командира крейсера «Варяг»): «Заметки об одной из встреч с государыней Александрой Фёдоровной (из кн. «Николай II глазами современников»: «Государыня была в белом. Шляпка драпирована белой вуалеткой. Нежное белое лицо; но когда она волновалась, щёки её покрывались бледно розовым румянцем. Рыжевато-золотистые волосы, синие глаза, наполненные печалью... Помню великолепные жемчуга. При каждом движении головы в бриллиантах её серёг вспыхивали разноцветные огоньки. На руке перстёнок с эмблемой свастики – излюбленным её символом возрождения» (с. 59-60). Надо ли воспринимать эту символику как хотя бы внутренний протест против засилья иудаизма? Очевидно, да.

Вот какие требования выставили в так называемой «Петиции петербургских рабочих Николаю II», предъявленной царю первым «бархатным» революционером попом Гапоном: «Отделение церкви от государства... дешёвый кредит и постепенная передача земли народу, нормальная заработная плата немедленно» (с. 140-141). Согласитесь, что эти требования похожи на нынешние желания «трудящихся». Правда, что считать «церковью», т.е. коммунистической, было ясно при большевиках, а сегодня отнюдь не ясно: то ли «демократизация», то ли «политкорректность»...

Почти вековой глупостью многих российских правителей была так называемая борьба за «всеславянское единство». Русско-турецкая война 1877-78 гг., якобы за освобождение Болгарии от турецко-османского ига закончилась дипломатическим поражением России – овладеть проливами и Константинополем не удалось, хотя русские войска находились в 20-30 км от Константинополя. Взять Константинополь, как было изначально обусловлено, стало невозможным. Пригрозили будущие союзники по Антанте – Англия и Франция, так что Берлинский конгресс 1878 года закончился, по крайней мере, поражением России.

Современный исследователь П. В. Мультигули в книге «Император Николай и предвоенный кризис 1914 г.» (М., 2014) почему-то убеждён, что русско-турецкая война 1877-78 гг. велась именно «за освобождение Болгарии от османского ига» (с. 26). Напомним, что Болгария после упомянутого события во всех последующих войнах выступала на стороне противников России, начиная от Вильгельма II и кончая Гитлером.

Чрезвычайно интересен вопрос, был ли Николай II истинно православным верующим человеком, а особенно его августейшая супруга, как известно, – бывшая лютеранка. Вот что пишет об этом С. Ю. Витте в своих мемуарах, написанных, впрочем, уже после отставки с поста премьер-министра: «Странная особа Александра Фёдоровна... С её тупым, эгоистическим характером и узким мировоззрением, в чаду всей роскоши русского двора, довольно естественно, что она пала всеми фибрами своего “я” в то, что я называю православным язычеством, т.е. поклонение формам без сознания духа... При такой психологии царице, окруженной низкопоклонными лакеями и интриганями, легко было впасть во всякие заблуждения. На этой почве появилась своего рода мистика... Гадание, кликуши, “истинно русские люди”... Может быть, она была бы хорошей советчицею какого-либо супруга – немецкого князька, но стала пагубнейшею советчицею самодержавного владыки Российской империи. Она принесла несчастье себе, ему и всей России» (цит. по кн. /1/, с. 54-55). Однако Витте убеждён, что императрица оказывала на мужа едва ли не решающее влияние, хотя он также подчёркивает в воспоминаниях, что он сам лишь изредка встречался с Александрой Фёдоровной, причём не касался государственных дел.

Между прочим, следует обратить внимание на тот факт, что вторая жена С. Ю. Витте была еврейкой⁶, что могло послужить одной из причин его отставки с поста премьер министра, несмотря на его положительную деятельность в правительстве. Дело в том, что Николай II хорошо понимал негативную деятельность кагала на государственных постах. Вот как он оценивал итоги еврейских погромов 1905 года на территории России: «Народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9/10-х из них – жиды, то вся злость обрушилась на тех – отсюда еврейские погромы. Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией, как всегда – старая знакомая басня!» (Из письма Николая II вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Петергоф, 27 октября 1905 года. Цит. по кн. /1/, с. 154).

Как мы видим, достаточной ясностью в понимании насущных вопросов того времени Николай II обладал. Более того, вот одна из его записей в Дневнике за 1906 г.:

«5 ноября. Воскресенье. В 11 часов поехали к обедне, завтракали по обыкновению. Принял присяжного поверенного Шмакова⁷ из Москвы –

⁶ Вторая жена (с 1892 г.) – Матильда Ивановна Нурок (по другим сведениям, Хотимская), в первом браке Лисаневич (1863 - после 1924), крещеная еврейка. По материалам Федоров Б. Г. «Все министры финансов России и СССР 1802-2004» – М.: Русское экономическое общество, 2004. – с. 135-151.

⁷ Алексей Семёнович Шмаков (1852, Москва – 25 июня 1916^{[1][2]}, Москва) – российский присяжный поверенный, журналист, политический деятель. Один из руководителей Русской монархической партии, черносотенец. Гражданский истец по нашумевшему делу Бейлиса. Автор ряда националистких и антисемитских книг и

истинно русского человека: он поднёс мне свою книгу: “Свобода и евреи” (/1/ , с. 152). Однако ясность понимания происходящих событий и их причин у Николая не сочеталась с твёрдостью воли и решимостью в необходимости проведения социальных и государственных реформ. III-я и особенно IV-ая Государственные Думы были полностью охвачены масонскими влияниями, о чём император догадывался лишь частично. Масоны оказались м в высшем армейском руководстве, в том числе генералы Алексеев, Рудский и некоторые другие, впоследствии убедившие Николая II отречься от престола, о чём подробно я написал в статье «Нина Берберова и русское масонство»⁸

Вышеупомянутый историк П.В. Мультигули излагает некоторый, по его словам, «миф» о том, что «Англия втягивает Россию в войну с Германией» (с. 72). Спросим, а почему это миф? Ответа в книге автор не даёт. Напротив из многочисленных источников известно, что агрессивность Германии того времени была связана именно с надеждой на нейтралитет Англии в грядущем конфликте. Прямо-таки удивляет неожиданная цитата из сочинений святителя Николая Сербского: «Нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих – это слова Христа. Русский Царь и Русский Народ, неподготовленными вступая в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. Но любовь русских к братьям своим не отступила перед опасностью и не убоялась смерти» (Цит. Мультигули, с. 14). Из общего текста неясно, когда именно было сделано это заявление, хотя по смыслу можно догадаться, что после 1917-18 гг.. Насколько цинично оно выглядит с современной точки зрения: русский царь и русский народ должны были пожертвовать судьбой страны и миллионами погибших за «права» некой Сербии, уже в то время рассадника терроризма (убийство Фердинанда – Г.М.), да и ныне предавшей своих вождей – С. Милошевича, Р Караджича и многих других.

17 июля 1914 года Николай II пишет Вильгельму II, своему двоюродному брату: «Дорогой Вилли! (...) Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда – ужасное преступление, совершённое отдельными сербами. Но где доказательства того, что сербское правительство причастно к этому преступлению? Увы! Мы знаем из многих фактов, что часто нельзя относиться с полным доверием к результатам следствия или решениям судебных властей в особенности, если к делу примешиваются политические причины. (...)

Чем дальше Австрия зайдёт в своей агрессивности, тем серьезнее окажется положение. К тебе, её союзнику, обращаюсь как к посреднику в целях сохранения мира» (там же, с. 247-248).

Как известно, именно в эти дни Николай II объявил мобилизацию своих войск с целью противостояния Австро-Венгрии, и всё ещё рассчитывая на нейтралитет и посредничество Германии. Даже удивительно, как братские и

брошюр. Был теоретиком расового подхода в рассмотрении еврейского вопроса, рассматривая эту тему в аспекте противостояния «арийской и семитской расы». Утверждал, что евреи, руководствуясь талмудической логикой, имеют своё потаённое мировое правительство

⁸ Журнал «На русских просторах», 2017, №1 (28).

дружеские отношения Германии и России за несколько дней сменились жгучей ненавистью, приведшей к затяжной войне. Это наводит на некоторые конспирологические размышления.

Практически в последней телеграмме Вильгельма II Николаю II 31 июля 1914 года, то есть за день до начала войны, написано: «Никто не угрожает могуществу и чести России, и она свободно может выждать результатов моего посредничества (т.е. в конфликте с Австро-Венгрией – *Г.М.*). Моя дружба к тебе и твоему государству, завещанная мне дедом на смертном одре, всегда была для меня священна, и я не раз честно поддерживал Россию в моменты серьёзных затруднений. Европейский мир всё ещё может быть сохранён тобой, если только Россия согласится приостановить военные приготовления, угрожающие Германии и Австро-Венгрии» (там же, с. 251).

Следует ещё обратить внимание на одну из последних телеграмм Г. Распутина Николаю II, которую, кстати, я приводил в своей статье о Г. Распутине⁹: «Не затевай войну будет конец России и Тебе положим всех до последнего человека» (с. 247). Распутин тогда был тяжело ранен террористкой Хионией Гусевой и находился у себя дома в селе Покровском в Сибири.

То, что именно английское влияние послужило основой падения царского правительства, следует не только из того, что в убийстве Распутина участвовал британский агент Освальд Райнер, но и из откровенных признаний английского тогдашнего посла в России Дж. В. Бьюкенена. Непосредственно обращаясь к императору, он заявил накануне революции: «У нас нет гарантии, что нынешнее российское правительство останется на своём посту, а его преемники будут уважать обещания, данные их предшественниками» (с. 290). Куда уж проще: раз у нас нет гарантий, то, значит, и вы не очень надёжны на своём троне. И чуть дальше написано: «Я завёл речь о том, что между ним и его народом возник барьер, и если Россия по-прежнему едина, то она едина в неприятии его теперешней политики» (с.292). Разве можно это трактовать иначе, как попытку некоего сообщения о начале войны между союзниками – Великобританией и Россией? Итоги этого внутреннего заговора, который внешне назывался февральской революцией, нам хорошо известны.

- 2 -

Витте был человеком очень проницательным. Достаточно вспомнить его мысли о грядущей роли Америки и Европы: «Европа среди других стран представляет собою дряхлеющую старуху и что, если так будет продолжаться, то через несколько столетий Европа будет совершенно ослаблена и потеряет первенствующее значение в мировом концепте (...), а заморские страны будут приобретать всё большую и большую силу» (с.122). Под заморскими странами Витте понимает США, где он неоднократно бывал и где был заключён Портсмутский мир, завершивший неудачную русско-японскую войну.

⁹ Геннадий Муриков «Посланник новой веры», в кн. «Что есть истина», СПб, 2015, с. 81-115.

В дополнение к этому обратим внимание на ещё одно пророческое свидетельство Витте, имеющее самое прямое отношение к нашему времени, особенно если учесть результаты голосования на последних выборах президента - 76 % голосов, отданных за В. В. Путина: «Государю внушали, что за него весь народ, вся интеллигенция. В принципе это верно: народ всегда был за царей, которые были за народ, но трудно ожидать, что весь народ за царя, когда государь управляет посредством “дворцовой дворянской камарильи”, которая в свою очередь считает, что она есть соль земли русской, что всё должно делаться для неё и во всяком случае через неё» (там же, т. 2, стр. 329).

Уважаемый читатель, прошло больше ста лет со времён этого признания, но не кажется ли вам, что всё здесь написанное имеет самое прямое отношение к нашей действительности? Не будем называть имена сегодняшних олигархов-правителей, но ясно, что сущность «дворцовой камарильи» ни на йоту не изменилась. Нам кажется, что В. В. Путин это прекрасно понимает.

Вновь обращаясь к личности Николая, приведём ещё одно свидетельство С.Ю. Витте: «Его Величество по характеру своему с самого вступления на престол вообще недолголюбивал и даже не переносил лиц, представляющих собою определённую личность, т.е. лиц, твёрдых в своих мнениях, в своих словах и в своих действиях» (С.Ю. Витте, Воспоминания, М., т. 2, с. 18). То же самое, как мне кажется, относится и к В.Путину. Он явно недолголюбит тех, кто, с его точки зрения, умнее и энергичнее его самого. «Тандем» с примитивным Медведевым – очевидное тому свидетельство. Вместе с тем, и Путин и Медведев – весьма обаятельные люди.

Вновь вернёмся к истории. «Государя многие иначе не называют, как *charmeig'om...* (т.е. человеком, способным обворожить)» (там же, т. 3, с. 113). Следует заметить, что, несмотря на некоторые отрицательные отзывы о личности и деятельности Николая II, Витте с убеждённостью пишет: «Я родился монархистом и надеюсь умереть таковым, а раз не будет Николая II при всех его плачевных недостатках, монархия в России может быть поколеблена в самой своей основе. Дай бог мне этого не видеть...» (там же т.3, с.336). Суждение почти что пророческое. Действительно, судьба Николая II оказалась неразрывно связана с судьбой России, а господь бог внял его просьбе: Витте умер 28 февраля 1915 года, не дожив двух лет до февральской революции.

Общее понимание Витте стиля и образа правления Николая II можно заключить из следующих слов: «Император Николай II, вступивший на престол совсем неожиданно, представляя собою человека доброго, далеко не глупого, но не глубокого, слабовольного, в конце концов человека хорошего, но унаследовавшего все качества матери и отчасти своих предков (Павла) и весьма мало качеств отца, не был создан, чтобы быть императором вообще, а неограниченным императором такой империи, как Россия, в особенности.

Основные его качества – любезность, когда он этого хотел (Александр I), хитрость и полная бесхарактерность и безвольность» (там же, т. 3, с. 331). И дальше Витте заключает: «Он женился на хорошей женщине, но на женщине совсем ненормальной и забравшей его в руки, что было нетрудно при его безвольности» (там же, т. 3, с. 332).

Так это было или не так, оставим на совести С.Ю. Витте. Но есть и другие суждения. Во время пребывания П. А. Столыпина председателем Совета министров Николай II всячески поддерживал его мудрую государственную политику, а во внешней политике достиг значительных успехов, опираясь на союз с Францией, а позднее с Англией.

Мы поставили своей задачей обозначить некоторые параллели между теперешним руководителем РФ и его предшественником, родившимся 150 лет тому назад, – Николаем II. А такие параллели есть.

Вот что пишет явный недоброжелатель В.В. Путина (тем более, что уже в начале правления В.В.П. его уперли в тюрьму) Эдуард Лимонов. Мимоходом заметив, что Ельцин – это карикатурный Бонапарт неудавшейся русской революции, он делает вывод: «Наша реставрация – это Вольдемар Путин. (Владимир не вяжется с его обликом. Он сложнее имени Владимир.) Собственно Путин – даже две реставрации сразу. Одна намёком проскользнула в нелепом обряде коронации, то есть инаугурации, – блёклая реставрация дореволюционной царской эпохи. И одновременно Путин есть безусловная реставрация нашего совка» (Лимонов «Необольшеvizм...», с. 80-81).

Лимонов убеждён: «Что до Путина, то он очень нетипичен для России. Его как бы создали в лаборатории. Такое впечатление, что будто бы он появился на свет от искусственного осеменения, от неизвестного отца и матери-плодоносителя. Так мало в нём своего, одновременно, странная вещь, он никак не народный тип. То есть он ни один из известных нам архетипов не представляет» (с.101).

А вот и представляет, Эдуард Вениаминович! Вы просто не там ищите. В. В. Путин, если рассуждать по методу аналогий, как мы уже убедились, удивительно напоминает Николая II. Его часто упрекали в отсутствии государственной воли, особенно в области внутренней политики. К сожалению, мы вынуждены признать, что то же самое относится и к деятельности В. Путина. Первый раз вступая на пост президента в 2000-м году, он обещал ежегодный прирост ВВП 7 %. В предвыборных обещаниях 2018 года фигурировали те же самые 7%. Увы, но В.В.П. не смог обеспечить обещанный прирост ВВП, да и вообще так называемый прирост колеблется около 1.5 – 2 %, то есть в пределах статистической погрешности.

Симпатизирующий Путину французский публицист Фредерик Понс («Месье Путин. Взгляд из Франции», М. 2015) на первых же страницах своей интересной книги пишет: «Прагматизм – вот ключевое понятие путинской психологии» (с. 41). Путину важно не *быть* кем-то, а выглядеть *настоящим мужчиной*. Он обладатель чёрного пояса в восточных единоборствах, тренировался вместе с чемпионами по дзюдо. «После тренировок по дзюдо

телезрители увидели его за штурвалом пожарного самолёта, а потом в качестве пилота «Формулы-1» (с. 47). Психологи говорят, что на физическую силу напирают те, кому не достаёт силы воли и духовного мужества.

Если мы вспомним, что Николай II тоже был физически развитым человеком, увлекался гребным спортом, особенно любил колоть дрова (конечно, в то время это было проще, чем участвовать в «Формуле-1»), то некоторые аналогии очевидны.

По свидетельству Ф. Понса «он защищал от критики евреев, которых не любили в КГБ. Такая терпимость объяснялась его детством в Басковом переулке, где семья Пугина делила квартиру с симпатичной еврейской семьёй, а также с тренерами дзюдо в спортивном клубе Ленинграда, которые были евреями» (с. 73). Николай II, наоборот, евреев явно недолюбливал. В этом наблюдается существенное различие, но оно легко объяснимо: попробовал бы кто-нибудь в нашу эпоху что-то вякнуть про евреев, хотя бы в виде холокоста. Вместо Кремля явно видны лагеря.

Существенны ещё некоторые черты облика Путина, необычайно сближающие его с Николаем II (во всяком случае как его изображает С.Ю. Витте). Прочитируем Ф. Понса: «Друзья видели его погружённым в свои мысли. (...) Он казался скромным. Да он и был таким всегда, как подтверждает его жена. (...) Он задавал много вопросов и не выдавал своих чувств. Бывший министр вспоминает: “Путин никогда не перебивает, слушает, размышляет. Даже будучи очень разозлён, он становится всё более и более вежливым”» (с. 89).

А вот мнение С. Ю. Витте о Николае II: «Он на меня производил всегда впечатление хорошего и весьма воспитанного молодого человека. Действительно, я редко встречал так хорошо воспитанного человека, как Николай II. Таким он и остался. Воспитание это скрывает все его недостатки» (т. 2, с. 5).

Никто никогда не видел, по крайней мере, публично, чтобы Путин на кого-нибудь повышал голос, размахивал руками, а тем более стучал ботинком по столу. Вот это и называется воспитанностью у Николая и сдержанностью офицера.

Следует обратить внимание, что и при Путине существовали и существуют властные финансовые и экономические структуры, которые оказывают значительное влияние на внешнюю и внутреннюю политику России. Со стороны запада это кажется более чем очевидным. Например, то, что «Чубайс держал под контролем экономические и финансовые потоки страны и осуществлял связь между Россией и международными финансовыми организациями» (Понс, с. 95). Подчеркнём, что, несмотря на преследование Ходорковского и его заместителя Платонова, против Чубайса никакого расследования не производилось и не производится за все годы правления Путина, а его брат Игорь, защитивший докторскую диссертацию по философии в Ростове-на-Дону, член редколлегии журнала «Посев», в 2010 году подписал обращение «интеллигенции» «Путин должен уйти». Два брата-акробата: один – ваучерный гениальный экономист, второй философ, надо полагать, обосновавший его деяния.

Ф. Понс убеждён, что Путин «превосходно усвоил правила Запада. Важно только восприятие» (с. 237). Дальше идёт ссылка на события в Косово, а мы, глядя из 2018 года, скажем, что это относится и к делу Скрипалей, и к так называемой химической атаке в Сирии, равно как и к организованному международному скандалу вокруг допинга на олимпиаде. К сожалению, В. Путин не в полной мере усвоил советы Ф. Понса, так как во всех этих случаях, с моей точки зрения, Россия нравственно проиграла, а методика игры на «восприятие» вполне удалась западу, а вовсе не Владимиру Владимировичу.

Николай II после смерти своего отца унаследовал страну сильную и одну из самых могущественных в мире. Горячий поклонник Александра III и особенно его внешней политики С.Ю. Витте писал: «Действительно, чем в сущности держалась Российская империя? Не только преимущественно, но исключительно своей армией. (Вспомним афоризм Александра III – у России есть только два союзника – армия и флот. – Г.М.) Кто создал Российскую империю, обратив московское полуазиатское царство в самую влиятельную, наиболее доминирующую, великую европейскую державу? Только сила штыка армии.

Не перед нашей же культурой, не перед нашей бюрократической церковью, не перед нашим богатством и благосостоянием преклонялся свет. Он преклонялся перед нашей силой» (т.2, с. 380).

Русско-японская война во многом подорвала международный авторитет России, которую стали воспринимать как «колоса на глиняных ногах». Всё это, по мысли Витте привело к тяжёлым последствиям и революционным волнениям 1905-06 гг.. Русско-японская война, даже несмотря на сравнительно удачный для России мирный договор (Япония требовала аннексии Камчатки и всех Курильских островов), тем не менее, сильно ударила по международному престижу России как «сверхдержавы» тогдашнего мира. По словам Витте японская война почти разрушила финансовую структуру России. Страна оказалась почти в таком же полупаралитическом состоянии, как после десятилетнего правления Бориса Ельцина.

Нужно было обновление. При Николае II его частично начал Столыпин. Путин как бы возложил эту задачу на себя. Сравнить его премьерю Д. Медведева со Столыпиным или с Витте было бы просто смешно. Как мы уже отмечали выше, по свидетельству очевидцев. Путин любит только тех, кто слабее его, но нельзя же быть первым во всём: в полётах на дельтаплане, в купании в крещенской купели и в войне с ИГИЛом. А где же на самом деле В.В. Путин хочет быть первым?

Ещё при советской власти вышла книга М. Касвинова «Двадцать три ступени вниз», где имеются в виду 23 года царствования Николая II. Упомянувшийся выше Ф. Понс пишет так: «*Час истины* для Путина пройдёт в 2024 году» (с. 15). Этот час уже недалог. От всей души пожелаем президенту, чтобы его карьера не закончилась так же, как у Николая II. Тем более это относится к судьбе России.

25. 05 18. *(Неприличное) послесловие к еще не довершенной истории.*

Неприличное, потому что нечего лезть Редактору в каждое горлышко разбиваемых (или обмываемых) критиками бутылок. НО – я болен, злюсь на болезнь, а Россия еще больше больна и накреняется, еще и из прежней моей жизни от нас уходят то один то другой, еду прощаться, не успеваю на отпевание, дочь ее просит меня на прощание читать свои стихи. Это высшее признание, что там литературные премии?! Мы живем в увертюре ТРАГЕДИИ! Ужо попомните, вот так же, на днях, в феврале 17-го пили пиво в «Бродячей собаке», никто не хотел знать... Муриков написал гениально, сопоставления его гениальны, между всеми горлышками Сцилл и Харибд, но – в все же эта статья элегия, а не Реквием....
Смотри, Геннадий Геннадиевич, внизу моих вздорных слов – топор для раздумий.

Я вновь пишу и вкривь и вкось,
Я изнемог, и Русь больна,
И мне вокруг кричат: Да брось,
Не повернуть Земную ось,
Оставь ее, ее вина...

Я начинал всегда с других,
Спешил, хватался: Чем помочь?
Ваш Бог сердито: На двоих
Жизнь не делима, только ночь,
Когда не тать, не вор, не мних.

И ненавидя, и любя,
В трудах, в бездельи, ночью ль, днем
Всех звал в свой светлый жаркий дом.
Я жить хотел не для себя,
И для себя – но лишь потом.

И вот и дом мой разорен,
Разорена моя страна,
В полубеспамятстве ль, пьяна,
Но слышу только странный стон...
Я невиновна. Я больна...

И я пишу и вкривь и вкось,
Всех опросил я – Чем помочь?
Скрипит во тьме земная ось,
И все плотней больная ночь.



И вдруг под горячую руку стихи Е. Дедух, и я превращаю их в метафору и в символ.

Друг за дружкой легко погружаются в лето вёсны.
Годы в годы ныряют, и нету тому конца.
Так уходят размеренно в чёрную воду вёсла,
Повинуясь рукам уверенного гребца.
И давно позабыт и туманом затянут берег,
От которого ты отчалил, и путь к концу. ...

Что на том берегу – неизвестно. Мы в лодке, через час уже перевернемся – но – пока радуемся жизни, *счастливые эпигоны серебрястых годов начала двадцатого века... Ужо поплачете!* (Всё. И я тоже).

Россия:

Государство и Отечество

(Размышления о патриотическом воспитании)

1. Литературная реминисценция

М. Е. Салтыков-Щедрин, называвший себя фрондёром, в «Благонамеренных речах» (1876г.) писал: «Ежели мы, русские, вообще имеем довольно смутные понятия об идеалах, лежащих в основе нашей жизни, то особенно безалаберностью отличается наше отношение к одному из них, к самому главному – к государству... Одни смешивают его с отечеством, другие – с законом, третьи с казною, четвертые – громадное большинство – с начальством».

Прошло почти полтора столетия с момента публикации процитированных строк и, видимо, больших изменений в осознании россиянами «самого главного идеала» не произошло. Разумеется, почти любой статистически средне подготовленный гражданин отчеканит, что государство – это политическая организация общества во главе с правительством и его органами или же нечто попроще – страна, управляемая имярек-руководителем (главой).

В Священном писании подчеркивается, что земное наше Отечество дает нам Бог, поэтому мы должны любить свою Родину, как данный нам дар. А патриотизм – это и любовь к отечеству, ревнительная забота о благе Родины, т.е. Отчизны. По пословице: всякий родится, да не всякий в люди годится.

...Недавно довелось прочитать книгу Валентины Полухиной – профессор Кильского университета (Англия), специалист в области современной русской поэзии (из аннотации) – «Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая (1996-2005)»: изд-во журнала «Звезда» СПб, 2006, 542 стр. тир.5000. В предисловии Я. Гордин пишет: «Предлагаемая читателю книга – личность и судьба Бродского глазами десятков хорошо знавших его людей – в некотором роде призвана заменить отсутствующую серьезную биографию и хотя бы отчасти нейтрализовать всякого рода безответственные писания».

Сразу же оговорюсь, что я не поклонник поэзии Бродского и после прочтения этой книги симпатий не прибавилось. Чего только стоят следующие высказывания «Пятого нобелевского лауреата русской литературы»: «...Иосиф любил вспоминать, как американские туристы в Москве обратились к нему с вопросом, откуда им лучше смотреть на Кремль, и свой веселый ответ: «Из кабины американского бомбардировщика» (стр. 284).

Или: «Никогда не забывайте: все, что плохо для Советского Союза, абсолютно правильно» (стр.286).

Или же его «...сожаление, что англичанам не удалось колонизировать Россию в 1918 году» (стр.445).

Все эти «веселые шутки» не могут не покоробить многих читателей. Но есть и противоядие: оно в стихах современника Бродского (1940-1996) – Николая Рубцова (1936-1971). Хотя бы «О Московском Кремле»:

Бессмертное величие Кремля

.....

О как – взгляните – чуден этот вид!

.....
*Молюсь на лик священного Кремля
 И на его таинственные звоны...*

Или:

*Привет, Россия – родина моя!
 Сильнее бурь, сильнее всякой воли
 Любовь к твоим овинам у жнивья,
 Любовь к тебе, изба в лазурном поле.*

Или же:

*Россия, Русь, Храни себя, храни!
 Смотри, опять в леса твои и доли
 Со всех сторон нагрянули они,
 Иных времен татары и монголы.
 Они несут на флагах черный крест...*

Николай Рубцов человек необыкновенно тяжелой бытовой судьбы – раннее сиротство и голод:

*Мать умерла.
 Отец ушел на фронт.
 Соседка злая
 Не дает прохода...*

И далее:

*За мной пришли
 Куда-то повезли
 ...Потом
 Детдом на берегу.
 Вот, говорят,
 Что скуден был паек,
 Что были ночи
 С холодом, с тоскою –
 Я лучше помню
 Ивы над рекою
 И запоздалый
 В поле огонек.*

Потом были годы учебы в двух техникумах (не окончил), непосильная работа помощником кочегара (угольщиком) на РТ-20 «Архангельск»:

*Я весь в мазуте,
 весь в тавоте
 зато работаю в тралфлоте!*

И с таким же отчаянным восторгом звучат его стихи о службе комендором на эсминце «Острый» Краснознаменного Северного флота.

*Тобю – ах, море, море!
 Я взвинчен до самых жил...*

Отчизнолюб Рубцов жил согласно уставу, отраженному в фольклоре: рыбам – море, птицам – воздух, а человеку Отчизна – вселенский круг.

2. Пионеры, юнармейцы и нормы ГТО

Мое сознательное детство (1950-1960 гг.) прошло в приморском военном городке на Дальнем Востоке. У большинства мальчишек мечты были сходные – стать летчиком или моряком. Особо нашим воспитанием никто не занимался – журили за малые и большие провинности в школе и дома. Наказания? К примеру, грозили отчислить из спортивной секции или технического кружка; не взять на экскурсию на военный корабль или не включить в группу на посещение погранзаставы. И даже на какой-то срок исключить из библиотеки... А подготовка к сдаче норм БГТО и ГТО? Все стремились их выполнить. Потом подавляющее большинство принимали в пионеры: торжественное обещание горячо любить свою Родину (это всегда понимаемо и актуально); жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия (для юных душ излишне политизировано и бюрократично, т.е. непонимаемо...).

Недавно в центре Москвы торжественно открыли штаб-квартиру нового военно-патриотического движения «Юнармия». На церемонию приехал глава Минобороны Сергей Шойгу. Начальником штаба движения стал олимпийский чемпион Юрий Труненок. Бог, дай удачи этому начинанию! В чем опасность росткам нового движения? Увы, в патентованных чиновниках, которые любят трепетать перед начальством и которые всегда могут загасить энтузиазм пламенных душ волонтеров любого движения.

В качестве иллюстрации приведу пример из книги Владимира Борисова «Подводник № 1» (СПб, 2001):

«3 октября 1986 г. на территории Лиепайской эскадры подводных лодок Балтийского флота был открыт памятник «Героическому экипажу п/л «С-13», его боевому командиру Маринеско А. И.» но вскоре в эскадру с инспекционными целями прибыли руководители и специалисты вышестоящих штабов и политорганов. Первый заместитель начальника Политуправления ВМФ вице-адмирал В. И. Панин после осмотра памятника со своеобразным юмором заметил инициатору установки монумента контр-адмиралу В. Ф. Иванову: «Ты себе на кладбище можешь ставить любой памятник, а в стране увековечивают память личностей в соответствии с решением ЦК партии и правительства». И памятник осквернили: убрали слова «Героическому ...его боевому командиру Маринеско А. И.». После распада Советского Союза памятник был перенесен в Кронштадт и надпись восстановлена.

Листаю фолиант «Военно-морской словарь» (М., Воениздат, 1990). Фамилию А. И. Маринеско не нашел, а вот руководитель «политадаптации» памятника герою в 1987 г. стал начальником Политуправления ВМФ и в 1989-м адмиралом... Ленинградец А. А. Тимофеев по этому поводу заметил так: «Не правда ли, знакомый почерк тех, кто рукоплескал звездам и ордену Победы Брежнева, кто шельмовал Н. Г. Кузнецова, Г. К. Жукова...»

В низовом подразделении одной из силовых структур боевой офицер, побывавший во многих горячих точках, с досадой говорил о «важных чинах», заполучивших медали «За отвагу». Награду эту должны вручать тому, кто проявил личное мужество и отвагу при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. А на мой вопрос – как же такое

стало возможным, ответил, что «их» включили в общий список они сами, пользуясь положением. Это они сделали после инспекторских командировок в подразделения, дислоцированные в горячих точках.

Поэтому необходимо тех же юнармейцев ориентировать на дела и подвиги их сверстников, прошедших проверку временем. Ведь в исторической памяти навсегда остались имена пионеров-героев: это Лёня Голиков, Витя Черевичкин, Зина Портнова, Марат Казей, Валя Котик...

Живы и, слава Богу, остаются в патриотическом строю бывшие флотские юнги времен Великой Отечественной войны Николай Максимович Уланов, Мир Назимович Нигматулин, Игорь Александрович Матвеев...

Н. М. Уланов – юнга блокадных времен служил на флоте с 1943 по 1950 гг. Он автор нескольких поэтических сборников. Вот его кристальной чистоты строки:

*Мы здесь остаемся
Россия, с тобою,
С тобой разделим
Печаль и победу!*

Ничто так не гасит «души пламенные порывы» юных как ледяной бюрократизм чиновников и беспредельная болтовня либералов. Никакие указания сверху, плакаты и листовки не заменят конкретной работы организаторов и живого примера руководителей.

Тут невольно вспомнишь А. С. Пушкина. Вот что он писал в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года»: «Должно, однако же, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению...

Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия... Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лениности взамену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамот».

Так и в работе с юными интернет и видеоконференции не заменят живое слово и прямое общение с коллективами, работе с людьми. Определенный опыт по военно-психологическому и спортивному воспитанию накоплен в Санкт-Петербургском полицейском колледже (директор Олег Ярухин). Этим летом они провели уже 15-е военизированные сборы, в которых принимают участие не только курсанты колледжа. База лагеря расположена вблизи поселения Большое поле, что в Выборгском районе Ленинградской области. По словам местных жителей: «это настоящая глухомань». Здесь на лоне превосходной природы и был разбит лагерь. Одна смена длится три недели. Каждый день расписан по часам. Большое внимание уделяется физической подготовке – это и марш-броски, и пешеходный туризм, и занятия по водно-моторному спорту, и дайвинг, и даже кавалерийская подготовка.

На широкую ногу поставлено изучение стрелкового дела: проводятся занятия по стрельбе из пневматического оружия, разборке-сборке автомата Калашникова.

В минувшее лето на лагерных сборах побывало 250 ребят, которые почувствовали и притягательную силу родной природы, проверили свои возможности, испытали на прочность дружбу и спаянность своих одноклассников. Разумеется, разучили они тексты песен военных лет, участвовали в реконструкции боев Великой Отечественной войны, смотрели фильмы о войне. И ростки природного патриотизма у ребят окрепли. Так свою задачу по формированию этих качеств у юных лагерные сборы выполнили. Участие в программе Всероссийских патриотических военно-спортивных сборов помогает подросткам адаптироваться психологически и физически к трудовой деятельности и предстоящей службе в Вооруженных Силах России.

3. Экскурс в историю

Важную (но далеко не определяющую) роль играет и художественная литература в формировании мировоззрения у подростков. Недавно в Комендантском доме Петропавловской крепости состоялась презентация книги писателя-патриота Бориса Костина «Скобелев», в которой повествуется о русском военачальнике генерале от инфантерии Михаиле Дмитриевиче Скобелеве (1843-1882), имя которого было почти забыто в истории советского прошлого. А памятник Белому генералу (или славянскому Гарибальди) в Москве был снесен по воле вождя мирового пролетариата. К слову, в апреле 1901 года Петербургская гордума приняла решение об установлении памятника М. Д. Скобелеву на площади у Троицкого моста, даже был начат сбор денег на обелиск герою Плевны (во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.) и внуку героя Отечественной войны адъютанта, фельдмаршала М. И. Кутузова – И. Н. Скобелеву. И сыну начальника казачьего конвоя императора Александра II. Возможно городские власти подумают о возвращении к идее увековечивания памяти талантливого военачальника, родившегося в Санкт-Петербурге.

Попадал он и в опалу. Так, в 1882 Михаил Дмитриевич в Париже выступил в защиту балканских народов против агрессивной политики Германии и Австро-Венгрии, за что попал в немилость царю.

Нынешние гросс-генералы тоже иногда попадают в немилость, в основном за очень коррупционные гросс-дела, к моменту задержания (ареста) имея «медально-орденный» иконостас, не уступающий наградной коллекции иного вождя-президента из страны третьего мира. Но к позору обвинительного приговора они идут спокойненько, забыв о применении почетного оружия (иногда не одного – и не бутафорского – ствола). Преступали они закон без опаски, лихо получая награды, а после предъявления обвинения некоторые из них все же иногда с опаской посматривали на наградные пистолеты. А ведь многие из них были страшными ортодоксами службы и льстивыми клеветами начальства. Живи они во время сноса памятника Белому генералу, потребовали бы переименования и Красного Села, поскольку-де это несет «следы прошлого царизма», предложив его переименовать, к примеру, в поселок Оргтруд, памятуя о тамошней бумагопрядильне петровских времен (бумажный комбинат).

...Хотя ошибаюсь. Вспомнил: в октябре 1918 года был поставлен вопрос о преобразовании этого населенного пункта в город Красный (см. К. С. Горбачевич и Е. П. Хабло «Почему так названы», Л. 1985, стр. 184). В 1925 году Красное Село получило статус города, сохранив историческое название.

Н. М. Карамзин писал «...гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает благо и согласие общества»...

В советской периодике широкой популяризации (и очень справедливо) подлежал такой героический факт: три с половиной года наши воины защищали скалистые берега полуостровов Средний и Рыбачий. Здесь находился пограничный знак № 1 – участок советской границы, который фашисты не смогли перейти в течение всей войны. Вражеская артиллерия сбивала его, но морские пехотинцы тут же восстанавливали символ неприкосновенности границ...

Менее известен другой случай. 22 июня 1945 советский пограничный комиссар сделал заявление идентичному турецкому чиновнику: «20 июня 1945 г. в 10 час. 30 мин. четыре Ваших вооруженных аскера нарушили госграницу в районе пограничного столба № 282 и углубились на нашу территорию на 30 м, где они в течение двух часов вели наблюдение за нашей территорией. В 12 час. 30 мин. Ваши аскеры, заметив наших пограничников, которые выполняли свои служебные обязанности, демонстративно забрали наш пограничный столб и унесли его на Вашу территорию...»

Прошу для производства расследования прибыть на место происшествия...» И подпись погранкомиссара Союза ССР Батумского района полковник Долидзе (см. сборник («Пограничные войска СССР 1945-1950», М. 1975, стр. 513).

Но, видимо, нередко «На границе тучи ходят хмуро». А «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего» (Н.М. Карамзин).

Иногда это зеркало бытия и искривленное, и тогда на зеркало неча пенять, коли ...восприятие бытия минувших веков кривое. Поэтому неудивительно, что у некоторых пламенных революционеров и архитекторов ГУЛАГа дети и внуки-правнуки стали прорабами перестройки или воинствующими диссидентами.

У Сергея Есенина есть строки:

Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь –
Нам одну любовью с тобою
Эту родину привелось.

Думается, что строки из стихотворения, посвященного сестре Шуре, обращены ко всем россиянам. Пусть и не у всех они находят душевный отклик.

Холмогоров Егор

Мифы и правда о Солженицыне: Фамилия и отчество

(перепечатка из открытых источников)

Обозреватель телеканала "Царьград" Егор Холмогоров по итогам программы "Исторический батл", посвященной личности писателя и мыслителя Александра Солженицына развенчивает один из многочисленных мифов его биографии.

Автор очерков ответит на широко распространенные обвинения в адрес Солженицына, что он "сам сдал себя в НКВД, чтобы избежать фронта", "был лагерным стукачом", "литературной марионеткой Хрущева", "Архипелаг ГУЛАГ – лживая книга", а его автор "был агентом ЦРУ", "призывал американцев к ядерной бомбардировке СССР" и "развалил СССР". Ранее на нашем сайте был опубликован очерк посвященный ложности утверждения, что "Солженицын распространял неправду о 100 миллионах репрессированных советской властью".

Начнем с самого простого – нечистоплотных манипуляций клеветников вокруг фамилии и отчества писателя. Сплошь и рядом можно встретить в антисолженицынских публикациях пассажи такого рода:

У Солженицына была говорящая фамилия от слова "ложь" и отчество "Исаевич", неопровержимо свидетельствующее от том, что он принадлежал к прирожденным сионистам, а потому ненавидел русский народ".

Дело даже не в том, что такого типа ономастические филиппики показывают интеллектуальное и нравственное ничтожество использующих их полемистов. Дело в том, что они безошибочно диагностируют поврежденность русской исторической традиции в советский период. Для человека старой русской культуры ни фамилия Солженицына, ни имя его отца – Исаакий, ни даже случайно возникшее отчество "Исаевич", никакой проблемы в истолковании не представляли и никак с иудейским происхождением не ассоциировались. Всё это оказалось тайной за семью печатями только для советских **недообразованцев**, от которых коммунисты спрятали и православные святцы, и словарь Даля.

Начнем с фамилии. Впервые в доступных нам на сегодня архивных документах предок Солженицына упоминается в поручной записи, то есть обязательстве платить известную дань в казну, взятой воеводой Тевяшовым с жителей Бобровской слободы на притоке Дона реке Битог, составленной 5 октября 1698 года (1). Среди прочих жителей слободы упоминается *Филипп Соложаницын*.

В следующем 1699 году по приказу Петра Великого, не желавшего терпеть на Дворцовых землях самовольные поселения Бобровская слобода была сожжена и заново заселена дворцовыми крестьянами. Это событие отразилось в романе "Август четырнадцатого": "Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр – как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал". Фамилия пращура Александра Исаевича – *Соложаницын* делает вполне прозрачной её

этимологию: *соложенье*. "Соложение ср. рашение зерна в солод, или ослащение теста" – гласит словарь Даля в статье "Солодкий".

Таким образом, фамилия Солженицына имеет отношение к "солоду", намоченному и пророщенному зерну, используемому при изготовлении пива, кваса, а на Западе – виски. Она родственна таким фамилиям как Солод, Солодов, Солодовников, Солодуха, Солодарь, Солодкин и другими. Своими побасенками про "Солженицын" от слова "ложь" клеветники оскорбляют скопом носителей всех этих фамилий.

Как и у большинства русских фамилий до XX века норма написания этой фамилии была неустойчива. Так, отец Александра Исаевича – Исаакий Семёнович записан в свидетельстве о рождении как "Салжаницын", хотя фамилия его отца указана на современный манер – "Семён Евфимов Солженицын". Такие блуждания в орфографии фамилий, особенно в гласных, совершенно нормальное для той эпохи, когда многие сведения записывались со слуха, явление. Так среди предков автора этих строк царит постоянная путаница между "Никоноровыми" и "Никаноровыми", причем эта путаница наблюдается даже в относящихся к годам Второй мировой войны записях советских учреждений об одних и тех же людях,

Имя Исаакия Солженицына не могло смутить в старой России никого, равно как и если бы он был бы Исайя (или, как тогда обычно говорили, "Исай"). По русским деревням, особенно на Севере и в Сибири, разгуливали Абрамы и Авраамии, Моисеи, не говоря уж об Исаях, Наумах, Захариях и Ионах. В базе данных героев Первой мировой войны, охватывающей более двух миллионов имен, мы находим 38 Исаакиев и 821 Исая, абсолютное большинство из них очевидные великороссы и малороссы.

Русский человек получал как правило имя святого, память которого приходилась на день его крещения. Иногда эти имена были довольно экзотичными, как, к примеру, имя бабки автора этих строк – Олимпиада (она, впрочем, была старообрядка-беспоповка). Вопреки широко распространенному мнению, никаких запретов на наречение мирянам ветхозаветных имен – Исаак, Исайя и т.д., – не существовало (2).

Как правило детей крестили на восьмой день, но нередки были и случаи крещения в тот же и на следующий день. Родившийся 29 мая 1891 года сын Семёна Солженицына был крещен 30 мая, на память преп. Исаакия Далматского, с именем "Исаакий".

В метрической книге села Саблинского, Ставропольской губернии, Космодамиановской церкви за 1891 год в первой части о родившихся мужеского пола ст. под № 44, буквально записано: тысяча восемьсот девяносто первого года, родился двадцать девятого, крещень тридцатого числа, мая месяца Исаакий у него родители: села Саблинского крестьянинъ Семен Евфимов Солженицын и законная жена его Пелагия Панкратова, оба православнаго исповедания" (3).

Преподобный Исаакий Далматский жил в IV веке, был борцом с ересью арианства, ревностным защитником никейского православия, претерпел гонение от нечестивого императора Валента и наставлял святого императора

Феодосия Великого. Его память празднуется 30 мая по юлианскому календарю. На этот день пришлось рождение Петра Великого и тот всю жизнь почитал преп. Исаакия как своего святого, поэтому Исаакиевская церковь для Адмиралтейства была построена в Санкт-Петербурге в числе первых, в 1710 году. Четвертым из преемствующих друг другу Исаакиевских соборов стало великое творение Монферрана.

Бредовую версию о том, что отчество "Исаевич" Солженицын взял, чтобы скрыть еврейские корни отца, распустил знаменитый клеветник Алекс Флегон, прохиндей, долгие годы издававший произведения Солженицына на Западе без авторского разрешения (4). Когда на Западе появился сам высланный КГБ Александр Исаевич и в суде потребовал соблюдения своих прав, Флегон в отместку разразился непристойно-клеветнической книгой "Вокруг Солженицына", где и снабдил Солженицына отцом "Ицхаком", проявив феноменальное невежество или лживость в области русской истории и культуры.). [Далее **обширная цитата** диффамации Флегона].

«Как человек, не питающий особой любви к евреям (мягко выражаясь), Солженицын не может выдавать себя за Александра Ициковича. Для него это считалось бы, вероятно, большим позором. И поэтому он предпочел скрыть от мира настоящее имя своего отца. Имя его отца было, по утверждению Солженицына, Исаакий...»

Согласно "Справочнику личных имен народов СССР", выпущенному издательством "Русский язык" в Москве в 1979 г. и рекомендуемому Министерством юстиции в качестве пособия для работников органов записи актов гражданского состояния, в разделе русских имен значится имя Исая, но отсутствует имя Исаакий или Исаак. В разделе еврейских имен (стр. 35-43) значатся имена Ицхак, Ицчок, Ице, Ицик, которым соответствует "традиционное русское написание" – Исаак, так же, как старому документальному написанию Мойше соответствует традиционное русское Моисей.

Из этого следует, что в действительности Солженицына нужно величать Александром Исааковичем или Александром Исаакиевичем или Ициковичем, но ни в коем случае не Александром Исаевичем. Такое величание просто не соответствует действительности и является обманом...

В общем списке имен (в справочнике) значится имя Исаак с вариантами Исакий и Исаакий. Русское сокращение этого имени (по упомянутому справочнику) – Изя или Иса (стр.419). Выходит, что отец Солженицына, согласно признанию сына, был какой-то Изя и, вероятно, арендовал землю у русских помещиков (насколько я помню, в "Августе четырнадцатого" он сам признается в этом)» (5). [Цитата из Флегона заканчивается].

Когда подобную ахиною пишет нечистоплотный книжный вор (по официальной версии – сын румынки и белоруса), в расчете на невежество английского читателя, то это хоть и не простительно, но понятно. Совсем иначе обстоит дело в случае, когда её повторяют люди, воображающие себя патриотами России, пусть хоть советской. К тому же они противоречат друг другу. Одни считают "еврейским" отчество "Исаевич", другие "Исаакович", но *одинаково чужды православному русскому народу и те и другие.*

Холмогоров Егор**«Врал» ли Солженицын о «100 миллионах репрессированных»?**

Есть широко распространенный в неосталинистских кругах мем "ложь Солженицына о 100 миллионах репрессированных", постепенно трансформировавшийся в "100 мульонов расстрелянных лично Сталиным".

Всякий раз, когда мне его приводят, я прошу привести цитату из Солженицына, где он об этом что-либо говорит. Но цитату привести не могут. Точнее, могут, но совсем другую.

«По подсчётам эмигрировавшего профессора статистики И. А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и, включая дефицит от пониженной рождаемости, – оно обошлось нам в... 66,7 миллиона человек (без этого дефицита – 55 миллионов).

Шестьдесят шесть миллионов! Пятьдесят пять!

Свой или чужой – кто не немеет?

Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатываются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. (Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаённой и раздёрнутой советской статистики, – но страшные тьмы погубленных наплывают те же)». (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. т.2; ч.3; гл.1)

Как видим, в данном случае Солженицын с оговоркой «не ручаемся» ссылается на статью И.А. Курганова "Три цифры", в которой проведена статистико-демографическая оценка последствий красной катастрофы. При этом он говорит о 55 или 65 миллионах потерь.

То есть фраза «100 миллионов репрессированных», в любом случае, – вранье, независимо от достоверности или недостоверности цифры в 65. Она выдумана борцами с Солженицыным.

Откуда это вранье взялось? Оно взялось путем искажения смысла выступления Солженицына на испанском телевидении в 1976 году, когда им было сказано следующее.

«От конца гражданской войны, собственно, и началась война режима против своего народа. На Западе двенадцать лет тому назад опубликовано статистическое исследование русского профессора Курганова. Конечно, никто никогда не опубликует официальной статистики, сколько погибло у нас в стране от внутренней войны режима против народа. Но профессор Курганов косвенным путём подсчитал, что с 1917 года по 1959-й только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами, – только от этого у нас погибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов человек. Этой цифры почти

невозможно себе представить. В неё нельзя поверить. Профессор Курганов приводит другую цифру: сколько мы потеряли во Второй мировой войне. Этой цифры тоже нельзя представить. Эта война велась, не считаясь с дивизиями, с корпусами, с миллионами людей. По его подсчётам, мы потеряли во Второй мировой войне от пренебрежительного, от неряшливого её ведения 44 миллиона человек! Итак, всего мы потеряли от социалистического строя – 110 миллионов человек! Поразительно, что Достоевский в конце прошлого века предсказал, что социализм обойдётся России в сто миллионов человек».

Как видим, «100 миллионов» – это слова не Солженицына и не Курганова, а Достоевского.

«...как мир ни лечи, все равно не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку...» (Ф. М. Достоевский. Собр. соч., ГИХЛ, Москва, 1957. Том 7. Роман "Бесы", стр. 421-424).

Претензии за 100 миллионов нужно адресовать Федору Михайловичу. У Солженицына же со ссылкой на Курганова 66+44, то есть 110 миллионов. Но не репрессированных, а общих демографических потерь народа России за 1917-1959 годы. Не "расстрелянных лично Сталиным", равно как и вообще не расстрелянных, а грубая прикидка общих демографических потерь.

Итак:

1. Солженицын не говорил про «100 миллионов»; 2. Солженицын не говорил про «100 миллионов репрессированных» или «100 миллионов казненных»; 3. Солженицын всегда ссылался на источник, откуда взял называемые им цифры демографических потерь – подсчеты профессора Курганова.

Теперь оценим, насколько достоверны были подсчеты Курганова, опубликованные им в статье "Три цифры в газете "Новое русское слово" в 1964 году. Быть может, они были настолько заведомо абсурдны, что приличному человеку как Солженицын было бы просто стыдно на них ссылаться, даже как на приблизительные цифры в отсутствие других?

Итак:

Курганов И. А. Настоящая фамилия Кошкин. Родился в 1895 году. Бухгалтер. Колчаковский офицер.

С 1924 года – доцент Ленинградского института народного хозяйства имени Ф. Энгельса.

В 1934-1935 годах – профессор Ленинградского института советской торговли имени Ф. Энгельса.

С 1936 года – профессор Ленинградского финансово-экономического института (ЛФЭИ).

С 1940 года – доктор экономических наук (тема диссертации: «Вопросы учёта основных фондов»).

Всего в советский период издал свыше 60 работ по бухгалтерскому учёту.

В декабре 1942 года покинул Эссену вместе с отступавшими немецкими войсками. Добрался до Берлина, где работал сварщиком на заводе. Участвовал в деятельности «власовского» движения в качестве члена национального совета Комитета освобождения народов России (КОНР).

Итого – убежденный антикоммунист, ученый, но не демограф, а профессиональный бухгалтер.

Курганов рассчитал свои цифры именно бухгалтерскими, а не демографическими методами.

Он предположил, что на основании дореволюционного коэффициента естественного прироста, численность населения в границах СССР на 1959 год должна была составлять 319 млн человек. По советской статистике численность советского населения составила 208 миллионов человек. Отсюда Курганов сделал вывод, что потеря населения за советский период составила 110 миллионов.

На самом деле эта цифра должна была бы быть большей, так как рассчитывать прирост, исходя из дореволюционного коэффициента естественного прироста некорректно – в 1920-е открыт пенициллин, весь мир испытывал первый демографический переход, сокращалась детская смертность. При этом второй демографический переход с падением рождаемости еще не начался. То есть дельта была бы еще выше.

Из 110 миллионов потерь 44 миллиона Курганов отнес на Вторую мировую войну. «СССР за время Второй мировой войны потеряло весь свой естественный прирост (15,4 млн.) и, кроме того, 28,6 млн. или 14,5 % своего довоенного количества».

Цифра потери довоенного населения совпадает с хрестоматийной последние 30 лет цифрой в 27 миллионов. **Росстат в 2015 году исчислил эти потери в 25,5 миллионов.** Потери в результате нерождений были исчислены Кургановым в 15,4 миллионов. **Росстат исчислил эти потери в 13,9 миллионов.** В подсчетах Росстата каждый может убедиться, заглянув в сборник 2015 года «Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник».

Таким образом, военные цифры Курганова совпадают практически полностью, и это подтверждает, что считать данный бухгалтер умел.

Третья цифра Курганова – «66 миллионов получена» Кургановым чисто бухгалтерски. Он взял 110 миллионов предположенной им общей потери и отнял 44 миллиона военной потери, которая может быть возложена на некомпетентность коммунистов, но лишь косвенно.

«Таким образом, в невоенное время, во время революции и революционного преобразования России народ потерял шестьдесят шесть миллионов семьсот тысяч человек. Такова наша третья цифра».

Никакого просчета «снизу» Курганов в данном случае не давал. И, конечно, относиться к этому бухгалтерскому упражнению всерьез, как к демографическим данным, – невозможно и, быть может, Солженицыну не стоило его и упоминать. Но, Курганов нигде не говорит о «репрессированных». Он говорит об общих демографических потерях от всей совокупности причин.

Давайте проверим эту бухгалтерию подсчетом "снизу".

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – 12,5 млн.

12,5 миллионов потерянного населения. (Эрлихман В. В. Потери народонаселения в XX веке.: Справочник – М.: Издательский дом «Русская панорама», 2004)

Из них 2,5 миллионов убитых комбатантов,

2 миллиона убитых в результате террора. Соотношение жертв красного и белого террора 4:1

2 миллиона эмигрировавших.

6 миллионов умерших от голода и эпидемий.

Эти цифры могут оспариваться, но с оспариванием их следует обращаться к господину Эрлихману.

ГОЛОД – 13,5 млн.

1921-22. Советское центральное статистическое управление определило дефицит населения за период с 1920 по 1922 гг. равным 5,1 млн. человек.

1932-1933. Заявление Государственной Думы «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР» называет 7 миллионов погибших. Оценки демографов от 2,5 до 8 млн.

1946-47. Сверхсмертность в 1946 составила 800 тыс. человек. Оценка демографами жертв голода от 1 до 1,5 млн.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ – 0,7 млн.

4 миллиона сосланных. 600 тыс. погибших в местах ссылки (консервативная оценка В.Н. Земскова). 90 тыс. погибших в пути.

ТЕРРОР – 2,5 млн. человек (минимальная оценка)

1930-1953 – аресты по политическим статьям – 3,8 млн. человек, расстрелы – 786 тыс. человек.

1930-1953 – смерть в местах заключения 1,7 млн. человек.

Максимальная оценка А.Г. Вишневым репрессивных потерь достигает **6 млн. человек.**

Оценка общего числа прошедших через тюрьмы, лагеря и спецпоселения дается на уровне **25 млн. человек**, фактически каждый четвертый гражданин трудоспособного возраста.

Итого, **прямая** потеря населения от внешних обстоятельств большевистского периода составляет по основным статьям (а есть еще не основные, такие как потери в ходе Тамбовского восстания – 11 тыс. человек и таких неосновных статей может набраться на несколько миллионов) – 33 млн. человек.

33 млн. человек. Это уже половина кургановской цифры демографических потерь, мультипликация которой с нерождениями, преждевременными смертями прошедших через лагеря даст цифру, пожалуй, и большую, чем кургановские 66 миллионов.

Таким образом, ни Курганова, ни цитирующего его Солженицына, невозможно обвинить ни в том, что они лгут, утверждая о 110 или, хотя бы, 66 миллионах «репрессированных», поскольку они говорят обо всех демографических потерях народа в результате «войны советской власти с собственным народом», а не только о казненных в результате вынесения смертных приговоров.

Нельзя их упрекнуть и в том, что они называют заведомо абсурдную и нереалистичную цифру таких демографических потерь.

Даже без учета нерождений и преждевременной смертности от естественных причин, подсчетом «снизу» на основании современных демографических материалов получается цифра потерь населения в 33 млн. человек, большая часть которых приходится на гражданскую войну и три волны голода в Советской России.

Разумеется, эта цифра может быть оспариваться и подвергаться пересмотру в сторону снижения. В современной демографии можно наблюдать как тенденцию к занижению репрессивных потерь в работах В.Н. Земскова, так и тенденцию к их завышению в работах А.Г. Вишневого. Но речь идет именно о дискуссии и возражениях оппонентам, об обосновании других цифр, а не о праве утверждать, что Солженицын или Курганов «лгут», называя такие цифры. Даже если бы Курганов, а, вслед за ним, с оговорками, Солженицын, заблуждались, то у них были известные основания заблуждаться – пересчет их приблизительных цифр на современные данные дает весьма сходные значения.

Говорить о «лжи Солженицына» нет никаких оснований. Зато лгунами являются те, кто приписывает ему слова о «100 миллионах репрессированных».

Реплика редактора. Православные получали имена преимущественно по героям Священного писания, одни имена **еврейские**: Мария (мать Христа), Иоанн (Иван) – один Креститель, другой апостол; Марк, Матвей (Матфей), Даниил (великий русский писатель Даниил Андреев), великий английский ученый Исаак Ньютон...

Имена Моисей, Самсон, Абрам, Марк (Маркиян) распространены среди *подлинных русских* (например, старообрядцев). Аналогично распространены фамилии Моисеев, Самсонова, Абрамов... Данилов и Данилин...

Петр, Павел – греческие имена, взятые апостолами (Симоном и Савлом)...

Но не надо забывать «*юродивым русофилам*», что слова философия, математика, литература, пролетарская революция, музыка, театр, торговля, тропа, товарищ – слова не славянского и не русского происхождения (ну вот если только этрусски произошли от русских и египетские пирамиды построил русский князь «Батя-хан»...). Кстати, и родина слонов – не Россия (но России есть чем гордиться и без этих глупостей, исповедуемых затаенно Россией ненавидящими «патриотами»).

Николай Николаевич Браун

«Неподцензурная поэтика»
Конференция 24-25 декабря 2017
Санкт-Петербургский университет

Ответы на вопросы университетской анкеты



1. *Неподцензурность для Вас была связана в большей степени с политикой или с поэтикой?*

Прежде всего, для меня лично сочетание этих двух слов означает «неофициальную литературу». *Поэтика* как наука о средствах художественного выражения, возможностях языка и образных, метафорических его особенностях подразумевает литературоведческий взгляд на структуру, стилистику и смысловой итог любого произведения. Независимо от жанра и идеологии. Поэтика Аристотеля до нашей эры была написана без оглядки на цензуру. Буало при дружбе с Людовиком 14-м при своих смелых сатирах не рисковал головой. Эзопов язык басен в разные эпохи подразумевал всем понятные иносказания, не подпадавшие под карающие статьи законов. Изучение искусства трагедии, комедии, поэзии, определение их эстетических и этических норм, установление обязательных канонов – это задача поэтики, достаточно специальная.

А цензура – тема отдельная. **Цензура** – принадлежность запрещающих или карающих инстанций, существующей при диктатуре, деспотии или демократии, боящейся потерять рычаги управления большинством, то есть это механизм защиты интересов правящих сословий в государствах, особенно при смутах и войнах. Одних этот механизм приводил на гильотину, как французского поэта Андре Шенье, других на костёр, как испанского врача и богослова Мигеля Сервета, или на виселицу, как русского писателя Петра Краснова. Но в их случае речь может идти о «подцензурной поэтике». Для поколений 1950-х - 1980-х годов в СССР было понятно, что социально правдивая, духовно полноценная литература возможна была только в сам- и там-издате. Распространение той и другой каралось по статьям 58-й или, позже, 70-й УК РСФСР, при этом термин «поэтика» не употреблялся, поскольку он относился к области литературоведения. При обысках и арестах изымалась не «поэтика», а поэзия, проза или публицистика. Поэтому сочетание «неподцензурная поэтика» выглядит, в аспекте преследуемой подпольной литературы, весьма приблизительным. Например, фольклор 1920-х годов не имел претензий на «неподцензурность», он был самобытен и самодостаточен, и по коммунистам бил не в бровь, а в глаз.

Главным органом цензуры в СССР в послевоенные годы был всепроникающий доносительский Главлит.

То, что я лично сочинял и распространял до ареста в сам-издате, исключало любые публикации в советских журналах. По той же самой причине я никогда не состоял ни в каких ЛИТО, иначе доносов на меня прибавилось бы к уже имевшимся, о которых я узнал во время следствия в 1969 году. Вероятно, мой случай не совсем типичен, я, по убеждению, не состоял ни в комсомоле, ни в партии. И не мог иметь ничего общего с задачами литературы «соцреализма», которая восхваляла «красный террор», клеймила «прихвостней буржуазии» и призывала вскрывать происки империалистических «шпионов-лазутчиков», разоблачая гибельную проповедь «опиума для народа во главе с боженкой». А я был крещён в 1945 году освободившимся из ГУЛАГа православным священником. И не давал присягу Красной армии. В завершение, отвечаю на заданный в анкете первый вопрос: моя «неподцензурность» была связана «с политикой».

2. Что означало «неподцензурная поэтика»?

Для меня выражение «неподцензурная поэтика» не существовало.

3. Каких эстетических или художественных ориентиров Вы придерживались?

Образцами эстетических и художественных вкусов для меня были те произведения русских классиков, которые не были запрещены или изъяты из библиотек. Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев. Конечно, была изъята вся русская религиозная философия, не выдавались, без специального пропуска, даже газеты и журналы 1930-х – 40-х годов в Публичной библиотеке, многие исторические материалы, не соответствующие советским критериям, были недоступны. Но в библиотеках частных сохранялись сочинения Константина Леонтьева, Николая Бердяева, Ивана Ильина. Кое-что из изданий поэтов 20-х годов можно было приобрести в

антикварных магазинах. У меня имелись издания Николая Гумилёва, Анны Ахматовой, Георгия Иванова, Зинаиды Гиппиус, Владислава Ходасевича. С Николаем Клюевым были близко знакомы мои беспартийные родители, оба поэты, имелись его книги с автографами, Сергей Есенин дарил отцу свои стихи и фотографии, в 1919-20-х годах. Браун-Старший посещал «Цех поэтов» Николая Гумилёва. Впоследствии, уже с 10-летним сроком по статье 70-й УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»), помня наизусть много стихов Гумилёва, Клюева и Есенина, я предложил русским союзникам в мордовских политлагерях отмечать даты рождения и смерти «поэтов, убитых советской властью». Это было принято без оговорок, и происходило из года в год в мордовских и уральских лагерях.

Особое место занимал Максимилиан Волошин, с его стихами о «красном терроре» и стихотворением «Дом поэта». Из политлагерных поэтов свой заметный след в Мордовии оставил Валентин Соколов, (псевдоним: Валентин З/К). Так что «вечера поэзии» на нашем спец-строгом режиме за семью заборами (таково было их число) под вышками и колючей проволокой под током были настоящей отдушиной в однообразных квадратах подсоветской неволи и воодушевляли на дальнейшую борьбу с режимом. В этих условиях мною было написано несколько книг и целый ряд песен, которые запели в лагерях, включая наш гимн и марш. В Мордовии в 1972 году произошло событие исключительно редкое: освобождаясь после 18-ти лет срока, политзаключённый Виктор Зыков оставил мне гитару, повязав на прощанье на грифе чёрный бант со словами: «Не хорони талант!». Из сибирской ссылки, куда я был этапирован из уральского политлагеря, я отправил её с оказией в Питер. Сейчас она у меня рядом с тремя другими гитарами: концертной, антикварной и походной. В своих произведениях, стихах и песнях – это ответ на третий вопрос анкеты – я продолжаю традиции петербургской поэзии: от Тютчева и А.К.Толстого – до Гумилёва. Из зарубежных авторов высоко ставлю Сергея Бехтеева и Ивана Елагина.

4. Влиял ли факт публикации или непубликации на принадлежность автора к неофициальной культуре?»

Я заведомо не мог принадлежать к «официальной культуре» советского периода. Но исключение составляли мои поэтические переводы с немецкого, финского, польского, литовского, и т.д., которые я публиковал, в частности, в двух питерских журналах, в «Дне поэзии» и в отдельном издании: «Литовские поэты XX века» (Большая серия Библиотеки Поэта). Переводы с английского были сняты в связи с моим арестом.

5. Значима ли была для вас публикация в официальном издании? В сам-издате? В там-издате?»

В там-издате мои публикации появились после моего освобождения через 10 лет, которые отбыл полностью (1969-1979). Они появлялись многократно в Германии и в Америке. А также в Сербии. В России первая публикация Николая Ник. Брауна появилась в 1990-м году, в Красноярске, куда я отправил подборку из моей политлагерной книги «Потаённая колокольня», за что получил первую, к тому же, денежную, премию.

6. Понималась ли Вами «неофициальная культура» единым движением?

«Неофициальная культура» единым движением не была. Да и не могла быть. Разные характеры, разные судьбы, национальности, разный уровень одарённости, иногда недостаточная самообразованность, иногда необоснованные амбиции. Но самым главным было то, что инициатива противостояния опостылевшему коммунистическому официозу литературы однопартийного толка нашла отклик в молодёжной среде. Эта инициатива обратила на себя внимание и заставила с собой считаться, сам-издат стал «настоящим чтением», а там-издат – опасной мечтой, стимулом для опровержения советской лжи о настоящем и будущем.

7. Подразумевало ли для Вас понятие «неофициальная культура» качественную оценку?

Качественную оценку в целом понятие «неофициальная культура» для меня не подразумевало. Слишком неутешителен был уровень провинциальной машинописи малообразованного стихотворца с Урала, или самодовольных претензий питерского студента в сравнении со стихами эмигранта, мастера импровизации Константина Бальмонта или Игоря Северянина с его книгой «Классические розы». Качественная оценка появлялась там, где появлялась зрелая, неповторимая личность, например, выдающийся русский поэт Даниил Андреев, создавший свои главные, не имеющие аналогов в русской поэзии стихи, поэмы и философско-духовидческие трактаты в заключении, во владимирской тюрьме. Представителями «неофициальной культуры» были в течение многих лет и поэты Арсений Несмелов, умерший в тюрьме до расстрела, и Анатолий Жигулин, доживший до освобождения. Там, где «неофициальная культура» довольствовалась статусом собственной исключительности в своей среде, московской или питерской, она становилась, по существу, узко личной, продолжая оставаться разновидностью самодеятельности в многодетной семье, собирающейся на воскресные чаепития.

8. В каком году для Вас начался или завершился период «неофициальной культуры»?

«Неофициальная культура» не завершится никогда. Она началась с шумерской клинописи, продолжилась в индийских ведах и египетских папирусах. Когда-то к «неофициальной культуре» принадлежал Овидий Назон, высланный Императором Октавианом Августом из Рима на берег Чёрного моря, на территорию теперешней Румынии. Автор замечательных сочинений, из которых особенно известно «Искусство любви». И Франсуа Вийон был поэтом «неофициальной культуры», пока не пригласил его к себе великий поэт Карл Орлеанский, освободившийся из тюрьмы в Англии, и не отметил его главной премией на поэтическом турнире в Блуа. А разве «Дон-Кихот» не был написан Сервантесом в тюрьме?

Держайте, рыцари «неофициальной культуры»!

24 декабря 2017. Санкт-Петербург

VIII. НАД ЖИЗНЬЮ. СТИХИ, статьи, рассказы И ПИСЬМА

Предисловие Редактора

Я писал статью, что-то искал в интернете, словно рылся в груди книг, вдруг (совершенно случайно) на экране появилось стихи героини ненаписанного романа...

Н. Ефремова

ВРЕМЕНА ГОДА



Почему бы и женщинам не заходить в наше Товарищество (писателей, поэтов, критиков), соединившееся вокруг журнала, который сегодня - главная цель моего литературного предприятия? Пишу я и печатаю не для денег, не для славы, отчасти, правда, для себя, но преимущественно чтобы перевезти талантливых авторов в мистический Коктебель, где нам рады, где нас понимают, где мы в кругу ДРУЗЕЙ. Жизнь иррациональна и непредсказуема, а богу некогда с нами возиться... Ну так разве не надо ему помочь?

(Наши авторы, впрочем, своего Бога называют – *Богом писателей, философов и ученых*).

Осенью всё только начинается!

Осенью всё только начинается!
Ты не верь, что листьями шуршащими
Под дождём унылым покрывается
Всё, что было в жизни настоящее,
Что сменилось лето беззаботное
Слякотью дурного настроения
И исчезла радость перелётная
В пелене осеннего забвения.
Подожди, пройдёт тоска минутная,
Оживёт опять душа печальная.
Осень – время тёплое, уютное,
Яблочное, вязаное, чайное,
Время старых фильмов, книг отложенных,
Добрых встреч с беседами душевными.
Осень – это время невозможного,
Сказочного, яркого, волшебного!
На закате года всё случается,
Пусть порой и грустное, не спору я.
В сентябре дорога не кончается.
Осень – просто новая история!

Чаша терпения

Чаша терпения – есть ли края?
Полнится, полнится разными бедами...
Впрочем, у каждого чаша своя.
Сколько отмерено – кто это ведаёт?
В чаше терпения видно ли дно?
Можно испить, только снова потянется
Капля за каплей. И ясно одно –
Чаша пустой никогда не останется.
Мрамор седой или тонкий хрусталь?
Вечность живёт или только мгновение?
Нерукотворный Священный Грааль –
Хрупкая чаша людского терпения...

Какая прятная осень!

Какая прятная осень!
Как жжёный сахар с корицей.
И охры прочерки в просинь
Вплетают крылья, как птицы.
И ветер с луга горячее,
Со вкусом жухлой полыни.
И мысли вслух горячее,
Чем те, что были донине.
И нет отрады дороже,
Чем слёзы в сумерках ясных,
Когда всё кажется строже,
Но в то же время прекрасней.
А сердце робко, печально
Чего-то дивного просит,
Когда впервые встречаешь
Такую прятную осень...

Слушай ветер

Слушай ветер – он помнит о том,
Что вчера безвозвратно ушло,
О хорошем, душевном, простом,
От чего было сердцу тепло.
Слушай ветер – он плачет о тех,
Кто сегодняшней день не сберёт,
Кто из многих разлук и потерь
Не извлёк драгоценный урок.
Слушай ветер – он знает про то,
Что таит в себе новый восход,
Что случится сейчас и потом
И куда тебя путь приведёт.
Слушай ветер. Тебе не солжёт
Шёпот призрачный в прядях волос.
Бережёного Бог бережёт,
Но услышишь ли ты – вот вопрос...

Хлопьями снега

Хлопьями снега закат укрывает распутицу,
Чистыми, хрупкими, словно надежды осенние.
Ночь растворится – и всё обязательно сбудется,
Снег после слякоти ляжет покровом-спасением.
Спрячет следы от вчерашних шагов неуверенных,
Лужицы слёз запорошит до кружева частого,
И колеи на душе от обид ненамеренных
Тихо пригладит ладонью прохладной и ласковой.
Выбелит сумерки полного промахов прошлого
И непременно подарит с рассветом прощение.
Всё, что тревожило, плотным подёрнется крошевом,
Хлопьями снега укроется, канет наутро в забвение.

Сквозь время

Струимся сквозь время сухим беспородным песком.
Крупниц золотых – две щепотки на тысячу лет.
Изменчивы дюны: и сущее им не близко,
И прошлое прахом пылит, и грядущего нет.
Сочимся сквозь время отравленной мутной водой.
Живительной влаги глоток за века набежит.
Болотная жижа пропитана затхлой бедой,
И в заводях гиблых не теплится прежняя жизнь.
Сползаем сквозь время холодными тварями вниз,
Ко дну мироздания с гордых лазурных вершин.
В клубок узловатый навеки хвостами сплелись.
Ни крови горячеей, ни светлой бессмертной души.
Как гаснет огонь у побитого ливнем костра,
Так мы, отыскав, рассыпаемся стылой золой.
И только надежда – отчаянья злого сестра –
Ведёт нас сквозь время безудержной красной стрелой.

Белый шум

Растворился пульс в ритме городском.
Потерять боюсь в омуте людском
Я твой хрупкий след, иллюзорный взгляд.
И надежды нет, и пути назад.
Упаду с толпой в жернова метро –
И накроет вой рельсовых ветров.
По кольцу опять ползая змейёй,
Буду я искать солнце под землёй.
Времени – в обрез, и в запасе – жизнь.
Почему исчез голос твой, скажи?
Сгинул в чередё чёрно-белых нот.
Кто теперь и где мне его вернёт?
Дни сменяют дни, в прошлое скользят,
Без тебя, пойми, мне уже нельзя!
Ты мой кислород, я тобой дышу.
Остальное всё – просто белый шум.

Одна минута тишины

Одна минута тишины
Порой дороже дня веселья.
Какое редкое везенье –
Достичь беззвучья глубины,
Когда взамен десятка слов,
Пустых и буднично-бесцельных,
Ты получаешь дар бесценный,
Хотя он, в сущности, не нов,
И оценить своё богатство
В рутинной, шумной суете,
Пожалуй, смогут только те,
Кому и шёпот – святотатство.
Секунды пусть и не слышны,
Но бережно врачуют душу.
Закрой глаза и просто слушай
Одну минуту тишины.

Над нами

Как редко смотрим мы на облака,
В житейской круговерти забывая
Поднять глаза до той поры, пока
Не грянет гром с надветренного края!
До той поры, пока лазурный свод
Не озарится всполохами яро
И гневный дождь на нас не снизойдёт
Под мантией небесного пожара.
Тогда, тревожным взглядом окрестив
Седую бездну без конца и края,
Мы робко ждём в надежде обрести
Прощение, душою замирая.
Ведь там, над нами, в сумрачной дали,
Таится свет, зовущий нас веками,
Но нам не оторваться от земли,
Не оказаться вровень с облаками.
Пуста, свежа и призрачно-легка
Дорога в небе, нами позабытом,
И плачут грозовые облака
О бренном мире, ливнями омытом.

Странное лето

Странное лето... Большой, посеревший июнь.
Месяц лилейных рассветов и ягодных снов,
Нынче в грязи утопивший свою колею,
Стал сентябрём безнадёжно-унылых тонов.
Мается, мается дождь за окном затяжной.
Хляби небесные будто разверзлись навек.
В памяти тает душистый ромашковый зной
И тополиный, по-летнему ласковый снег.
Солнце проклонулось, робким лучом отыскав
Щель, позабытую ветром в небесных вратах.
Чиркнуло спичкой – и снова исчезло в тисках
Туч грозовых, их болотную сырость впитав.
Лужи, морями себя до краёв возомнив,
Ливням безрадостным вечную славу поют.
Всё перепуталось в книге законов земных.
Странное лето. Неправильный, жалкий июнь.

Поэту

Когда не вяжется из слов
Узор изящных изречений
И в руслах мысленных течений
Иссяк божественный улов,
Покинь толпу! Её грехи
И пусторечие не новы:
Лишь тишина рождает Слово,
А одиночество – Стихи.

Вечные скорые

Мы ничего не делаем вовремя,
Ждем по свистку, суетимся у вечности.
Дни разлетаются стильными скорыми
С гулких вокзальных узлов в бесконечности.

Дни разлетаются, рельсы сутюжены,
Что там за цвет семафора - без разницы!
Пристально помнить о прожитом нужно ли?
Новые будни в заботы окрасятся.

Что там, за далями - горести, радости?
Хватит ли времени на торможение?
Сколько отпущено станций до старости?
Некогда! Некогда думать в движении!

Что там мелькает за мутными стеклами:
Черное, белое, серое - важно ли?
Скорые мчат перегонами блеклыми,
Путь устлая мечтами бумажными.

Верим - придет наше время законное,
Все мы успеем, доделаем, выскажем.
Там, за огнями слепыми перронными
Каждый из нас будет царственно высажен.

Только забыли мы: в том расписании,
Где не указаны точки конечные,
Станции ставим на сетку не сами мы.
Мимо проносятся скорые вечные...

Янтарь под снегом

Кошачьей поступью в затихшем октябре
Пришла зима - безвременная старость.
Укрыла снегом рощу на заре -
И красок в мире больше не осталось.
Ни зелени, ни охры... Лишь белил
Повсюду неопрятные разводы.
Кто песней быстротечной наделил
Такое золотое время года?
Кому по вкусу стылая тоска
Прозрачной рощи, рано опустевшей?
И пусть зима отчаянно близка,
Еще цветет октябрь недогоревший.
Еще медовый отблеск не исчез
Из белых снов листвы, едва опавшей,
И льется негасимый свет с небес
На тонкий саван осени уставшей.
А значит, обращая время вспять,
Хотя с природой примириться проще,
Я снова буду пристально искать
Надежду в поседевшей старой роще -

Кленовый листик цвета янтаря
Под снегом на исходе октября.

Южное окно

На окне, направленном на юг,
Угнездилось доброе тепло,
И струится ласковый уют
Сквозь дождем омытое стекло.

Там драцены зонтики легки,
Над жасмином свадебным парят,
И герани пряной островки
В площадках керамических пестрят.

Томный плющ к прогретой льнет стене,
Старое кашпо ветвями скрыв,
И царит незримо на окне
Счастье с незапамятной поры.

Там, вдали от шума и хлопот,
В тишине, отградной для души,
Дремлет безмятежно серый кот,
Хвост над батареей распушив.

Приоткрыв медово-желтый глаз,
Он следит, как в солнечном пятне
Медленно танцуют легкий вальс
Сонные пылинки на окне.

Там в погожий день скользят лучи,
Согревая каждый уголок,
А в ненастье слышно, как ворчит
За стеной сердитый водосток.

Там разлит лучистый, мягкий свет,
Даже если за окном темно.
Лучше места в мире просто нет...
Вот бы мне на южное окно!

Зимний дождь

Сколько печали в задумчивом зимнем дожде,
Сколько надежд, утрамбованных каплями в грязь...
Снег и вода в бесконечной холодной вражде
Делят продрогшее небо, земли не боясь.
А на земле скроет всё монохромная вязкая муть,
Канет в глубокий, забитый быльём водосток.
Чёрное, белое – жизни запутанной суть –
Смоет стремительно гулкий бездушный поток.
Снег превратится в ручьи или в наледь вода –
Разницы нет, ведь не знает никто и нигде,
Станет ли светлой печаль, для кого и когда –
Всё это скрыто в бессмысленном зимнем дожде.

Весна случается!

Сегодня первый весенний дождь
Шагает мерно по подоконникам.
Его всю зиму с надеждой ждёшь,
А он в ладони своим поклонникам
Роняет капли с колючим льдом,
Как будто манну царя небесного.
Хрусталь и радуга – всё потом,
А нынче – серость, вполне уместная:
И снег несвеж, и грачи простужены...
Пока нерадостно получается.
Но дождь идёт, настоящий, с лужами,
А это значит – весна случается!

Майский снег

Майский снег – нелепый сюрприз,
Блажь природы в этом году,
Словно старой девы каприз –
Только ей самой на беду.
Не к лицу весне седина
На зелёных прядях травы.
Но такая уж вышла весна –
Постаревшая к маю. Увы!
Нынче правит балом метель
Вместо свежих капель дождя.
Променила гуашь на пастель
В этот раз весна, уходя.
Развенчал закон бытия
Молодой, неопытный год.
Всё вернётся на круги своя,
А пока – снег идёт, снег идёт...

Дни мелькают...

Дни мелькают взмахами ресниц,
От рассвета до заката – взмах,
Словно крылья перелётных птиц,
Исчезают в белых облаках,
Оставляя в памяти моей
Тень и свет на будничной канве
Невозвратных, невесомых дней –
Миражей в небесной синеве.
И песком меж пальцев золотым
Дни струятся – не удержишь горсть.
Тает, будто горьковатый дым,
Каждый новый день – недолгий гость.
Можно их нанизывать на жизнь,
Как цветные бусины на нить.
Дни-мгновенья, тени, миражи...
С чем ещё могу я их сравнить?

Елена Лобанова

БЛОЖИЖКА В ГОДАХ

И ДРУГИЕ



Встречаются они в жизни, прямо скажем, редко. Практически не чаще домовых, представителей царской фамилии или, допустим, участкового врача с научной степенью. Хотя и существуют свидетельства, как лохматый Хозяин вдруг возьмёт да и явится человеку в судьбоносную минуту (читайте газету «Оракул»!), а какой-то потомок рода Романовых, по телевизору показывали, недавно посетил историческую родину. И даже мне лично, собственными глазами довелось видеть молоденькую рентгенологшу, кандидата наук, которая, чуть что нечётко на снимке – вместо того чтобы по-человечески написать: вторая или там третья стадия артроза, какая уж разница, когда впереди так и так маячит операция – начинает пытаться пациента: а точно это ваш снимок? а вроде бы таз узковат... а боли при ходьбе ощущаете? а в покое? так может, повременить с заменой сустава, пока, глядишь, что-нибудь новенькое изобретут? И смотришь с давно забытой надеждой, и слушаешь, и ушам своим не веришь, и диву даёшься – бывает же!

Вот и эти тоже – бывают, да. Просто искусно маскируются. И являются первый раз в самом будничном обличье.

Когда живёшь ты, допустим, на квартире: у плиты две задние конфорки не горят, колонку включать осторожно, левый рычаг выпадает, ну а что полы скрипят – это уже мелочи, на второй день привыкаешь, главное, что ребёнок от скрипа не просыпается. Правда, этот ребёнок, девяти месяцев от роду, ползая по этому скрипучему полу, умудряется наполовину оторвать дверцу от тумбочки, так что дверь повисает безжизненно, как подбитое крыло. Но муж обещает починить, купить новые петли, дело за малым – вырваться в магазин. А пока что дверца висит, колонка показывает свой характер, о памперсах ещё слыхом не слыхали, так что воду для мелких постирушек греем на двух оставшихся конфорках, когда те свободны.

И вот в этот самый момент – звонок в дверь. Такой длинный, настырный: дзи-и-и-инь!! И ещё раз: дзи-и-и-инь!! Тут, конечно, лёгкая паника. Всё-таки будний день, муж на работе, ты с ребёнком одна в квартире... А если, боже упаси, свекровь – так к тому же недомытая посуда в раковине плюс вечный таз замоченного детского...

Ф-фу! Не свекровь. Безвредная тётка с лестничной клетки. Стареющая блондинка, очки с таким увеличением, что глаза за ними на пол-лица. Как же её зовут-то, ведь познакомились на днях?

«А у меня выходной, вот стираю, пробую новую машину! Автомат! – сообщает радостно. И без перехода: – Давай-ка сюда свои пелёнки-трусики». И делает этакий деловито-захватнический жест.

И неизвестно с какого перепуга ты послушно плетёшься к ней со своим тазом, и перекладываешь детское бельишко в белоснежное нутро чужой машины, и под сладкозвучное гудение вспоминаешь – Анфиса Ивановна, вот как! А тем временем дочка, оказывается, уже преспокойно сидит у этой самой Анфисы на руках и пытается снять очки, а та счастливо хохочет.

И дальше всё идёт как бы само собой: то «заходи, я такой борщ сварила – ты в жизни не пробовала!», то – «Иду за хлебом, тебе взять?» Взять, конечно! А то сама зайдёт, что-то мимоходом поправит, разгладит, сунет в холодильник банку компота, и смотришь – как-то уютнее стало в комнате. Тем более что и дверцу в тумбочке муж починил – у Анфисы Ивановны нашлась запасная петля.

А однажды приходит мрачный: «Ты поосторожней с этой Анфисой... Мне тут сосед сказал – алкоголичка она, запойная, ей даже родная дочь внучку не доверяет. Так что ты смотри как-то, не знаю...» А я что – знаю? С виду нормальная женщина, одета аккуратно, в квартире чистота и ничего такого не заметно... Только, может, пустовато немного: диван, сервант и телевизор. Ну а что ещё в принципе надо? В кухне стол, холодильник, стиральная машина вот новая. А главное – дочка к ней привыкла, чуть увидит – сразу на руки и за очки, и обе хохочут. Игра у них такая.

Ну и тут я, конечно, лишнее лягнула про свекровь. И, конечно, поругались. «Ну договаривались же – не трогаем эту тему!» – «Ну и что – договаривались! А у меня сессия на носу!» – «Ну и что, сессия! Другие же как-то учатся с ребёнком! Заочно же!» – «Вот с другими и...» В общем, до вечера выясняли отношения. А ночью проснулись от шума за стеной: невнятная возня, вскрики и что-то похожее на удары. И вдруг грохот – бум-м! И сразу следом – дзинь-дзинь-дзинь! Мы переглянулись, забыв про ссору: «Сервант?!»

На следующий день Анфисы Ивановны не было видно. И на последующий тоже. А потом смотрю – у неё дверь приоткрыта. Постучалась, осторожно заглянула: лежит на диване, глаза красные, на лбу платочек: «Давление у меня!» Взгляд страдальческий. А дочка уже тянет руки и своё: «Баба!» Она, охая, села (хоть я пыталась не позволить), взяла её на руки. Я принесла хлеба, поставила чай. Украдкой покосилась на сервант – всё вроде бы цело, только рюмок поменьше, или кажется? Ну, давление так давление. Бывает.

И опять пошло-поехало: то чай позовёт пить, то сама зайдёт с кулёчком конфет, то: «Тебе в магазин надо? В библиотеку? Ну и иди себе, мама! А мы погуляем! Большие уже». И действительно, время-то идёт. Дочка из розовой кофточка выросла – Анфиса Ивановна принесла красную, своей внучки. Поддерживает, значит, родственные отношения! И её дочку я видела, приходила как-то: хорошо одетая женщина, симпатичная, по виду совсем молоденькая, и не скажешь, что тридцать два года. (Это я в свои двадцать два так рассуждала). И даже не сильно удивилась, когда Анфиса уточнила: «Так у тебя сессия когда? А я скоро в отпуск пойду, как раз и посижу с малышкой». Прямо удачно так совпало! Как раз и посидит.

Эта сессия вышла – как глоток свежего воздуха. Новые колготки, стрелки на глазах, духи... Даже шурунная тетради, даже голоса преподавателей – всё было из области забытой роскоши, из беззаботной юности, в которую вдруг дозволили вернуться. И влиться в щебечущую стайку девчонок, и хохотать, и секретничать, и зубрить параграфы и определения, и прогуливать лекцию, и

трястись перед зачётом, и верить в приметы, и на большой перемене забежать со всей группой в кафе и радостно кинуть последние деньги на жиденький кофе и игрушечный бутерброд.

А вечером дома отдельное удовольствие: погрузиться в тишину. В такую, которая наступает, когда набегавшийся на весеннем солнышке ребёнок смиренно сидит на чьих-то мягких коленях и важно принимает то ложку супа, то крохотную горку пюре – пищи взрослой, серьёзной и требующей полной сосредоточенности. И трое больших, отстранившись от дневных забот, от совещаний, планов, итогов, графиков, печатей, сроков сдачи, а также стирки и нарезки овощей для супа – наблюдают за процессом молча, сознавая важность момента. И мягко горит в углу старенький торшер, и сушатся на балконной верёвке платяца и пелёнки, и с улицы тянет сладким цветением абрикосов, и кажется – сейчас, с минуты на минуту в этой тишине откроется заветный смысл земного существования.

И больше такой сессии не случилось. Жизнь подступила вплотную и внесла свои коррективы: переезд, другой город, другое жильё, и институт тоже совершенно другой. Почему-то здесь не принято было, как в том, моём первом, встретившись в коридоре со своей руководительницей по курсовой, обрадоваться и тут же, в коридоре, выложить: как здоровье, семья и вообще настроение, и сама ли связала вот этот жилетик крючком. А принято было здесь сухо кивать в знак приветствия, и ходить на все семинары, и девчонки на переменах не сбивались с хохотом в кучу, а держались степенно – небольшими группками, и как-то не тянуло с ними откровенничать и вообще объединяться.

Может, всё дело в климате. Чем севернее, тем спокойнее.

Зато квартиру выбирали с чувством, с толком и расстановкой. Предусмотрели действующие конфорки и исправную колонку, особое внимание обратили на пол: прочный и бесшумный, покрытый плитам под названием «дэ-вэ-пэ». Комната к тому же делилась надвое: гостиная территория, со столом у окна, креслом и телевизором (туда же и детская кроватка вписалась отлично), плюс крохотный закуток – как бы спальня, а в ней диван-кровать. Границей служил здоровенный старинный буфет. Фасадом он смотрел на большую территорию, а тылом, оклеенным обоями в цветочек, прислонялся к дивану-кровать. По-своему даже уютно!

Единственно, со сном возникли некоторые проблемы. Отчего-то неважно спалось в этом забуфетном уголке. То проснёшься – и скорей к дочке: как там дела? Всё-таки не совсем рядом, и хочется убедиться: всё нормально, ребёнок посапывает себе. А то вдруг покажется душно. И не то чтобы жарко, а воздух какой-то тяжёлый, не насыщающий при вдохе. И опять-таки выбираешься к окну, к открытой форточке, стараясь не разбудить мужа, подгоняемая страшенькими мыслями: может, это уже... как же её... сердечная астма? Или что-нибудь с лёгкими? И где поликлиника, ещё неизвестно... И ночь здесь такая длинная! А в той прежней, с двумя конфорками, жизни солнце и всходило раньше, и светило ласковее. И если вдуматься, не так уж и плохо там было! Плюс молодость! А теперь-то скоро четверть века, не отвертишься,

вот и мода изменилась, и глаза девчонки подводят как-то по-другому, а тут и настроения нет краситься, и тушь небось засохла... Муж приходит со своей хваленной новой работы мрачный, слова не дождёшься, молча поест – и в телевизор, с ребёнком погулять не выгонишь... Теперь, значит, навсегда?

И вдруг – письмо! Нет, это мне не кажется – незнакомый почерк: «как дела», «соскучилась» – и подпись: «Анф. Ив.»! Ну да, посылали же ей открытку на новый год, вот и она... И, слово за слово, дело идёт к новой встрече – потому что опять-таки сессия, и опять таки трудновато с ребёнком, а садик только обещают. И ведь действительно приезжает! И идёт навстречу, улыбаясь своими карими глазищами за стёклами, и вписывается, как недостающий пазл, теперь уже в другую жизнь эта странная блондинка в годах, и только дочка ничему не удивляется и ходит хвостиком за бабой Анфисой. Или это баба Анфиса ходит за ней хвостиком. В общем, ходят вместе.

И опять уют и красота вокруг: подоконник отмыт до первозданного блеска, и сияют вазочки-рюмочки в застеклённом верху буфета, и уютно гудит стиральная машина – правда, уже не автомат, а обыкновенная «Киргизия». И на ужин блинчики с творогом. Собираясь за столом, болтали, смеялись, и дочка с нами. У Анфисы смех был какой-то незрелый, девчачий. Помню, веселило её, когда мой муж собирался на работу: «А где носки, не знаешь?» «Ремень не видела?» Я озабоченно оглядывалась, а Анфиса Ивановна заливалась тихонько: «Ну как в лесу!» И мы с мужем невольно хихикали. И всё наше семейство словно помолодело и повеселело. А сессия шла себе своим чередом, уже привычным и даже надоевшим, где-то на заднем плане. А спала я теперь как булыжник: дочкину кровать охраняла баба Анфиса на раскладушке.

И был один момент, когда за ужином мне зачем-то понадобился торшер. Почему именно за ужином – за давностью лет неизвестно, но факт, что из-за стола я выбралась и отправилась в спальню, то есть за буфет. Там наш торшер, кое-как втиснутый в изголовье, давал возможность читать перед сном, не мешая ребёнку. Поднатужившись, я извлекла его с насиженного места и, держа наперевес, как копьё, двинулась обратно. Из-за тесноты двигаться пришлось прямо по разложенному дивану, и тут-то всё и случилось: покачнувшись, я опёрлась на буфет, и вдруг оказалось, что верхняя его часть отнюдь не составляет одно целое с нижней, а, напротив, легко отделяется от неё. И, легко отделившись, угрожающе наклоняется вперёд, рвущиеся обои в цветочек трещат, душа уходит в пятки в ожидании неминуемого грохота, но в самый ужасный момент – ох! сейчас... – приостанавливается и, помедлив, возвращается обратно. Однако в этот ужасный момент распахиваются стеклянные дверцы, и все стеклянные, и фарфоровые, и хрустальные вазочки-рюмочки вылетают со своих полочек и по плавной дуге со звоном приземляются на дэ-вэ-пэ-плиты, где немедленно рассыпаются в мелкие дребезги. А ты вылетаешь из-за буфета с ненужным уже торшером и потрясённо озираешь последствия катастрофы, потом поднимаешь глаза вверх – а на полочке одиноко красуется задвинутая на самый задний план,

тяжеловатая, грубоватой работы, хоть и хрустальная ваза. Переводишь взгляд на своих – а те сидят себе по-прежнему за столом, дочка на руках бабы Анфисы, муж напротив, и только глаза у всех открыты необыкновенно широко. Но вот Анфисины огромные за очками прищуриваются, рот растягивается в улыбке, и девчоночий смех рассыпается в тишине, и тут же дочка радостно подхватывает, и муж тоже неуверенно улыбается...

И никому даже в голову не приходит в этот момент другой сервант, и другое «дзиль-дзиль» в другой квартире! Такая вот забавная симметрия судьбы...

А оставшуюся вазу мы подарили на прощание Анфисе Ивановне – тащи, баба Анфиса, в свой самолёт тяжеловесную благодарность! Ну а нам то время будет вспоминаться лёгким, весёлым и молодым. И доказательство есть: чёрно-белая фотография из ателье, дочка с бабой Анфисой. Ребёнок смотрит серьёзно, глубокомысленно даже, а Анфиса Ивановна улыбается, вот-вот рассмеётся. И видно, что глаза у неё и без очков огромные и лучистые.

Исчезают эти загадочные люди незаметно, по-английски – видимо, убедившись, что свою задачу выполнили: поддержали молодую семью, или веру в человечество, или веру в чудеса, кому что нужнее. Вот и Анфиса вдруг пропала из нашей жизни, и теперь, хоть убей, не помню, как всё случилось. Умерла ли она от внезапной болезни? Переехала ли второпях, как многие тогда, из своей южной республики, где-то в пути потеряв наш адрес?

Но как-то раз среди документов нашлась открытка, присланная из того ещё, старого дома: «Поздравляю с рождением второй дочки! И какие же обе хорошенькие, так бы и раскусила!!!» И теперь понятно, что связь наша продолжалась ещё годы, прежде чем там, в высших сферах, убедились: дальше уж я и сама справлюсь.

А бывает, что являются они в облике продавца из соседнего магазина: высокий, статный парень, да и не парень вообще-то, уже седина пробивается, но физиономия такая круглая, простоватая, с такой неистребимой детскостью во взгляде. И с лёгким алкогольным оттенком. В общем, свой в доску. И зовут, конечно, Лёша.

Лёша обшительен, любит поговорить: «Чаю? А возьмите вот майский, крупнолистовой. Отличное качество, не пожалее!» И протягивает красную коробочку. А мы, основной покупательский контингент – не первой молодости женщины, затурканные перестройкой, дефолтами и прочим жизненным опытом – в этот дорогуший магазин вообще-то ходим исключительно за хлебом. Но под действием Лёшиного простодушия нет-нет да и приобретём сопутствующие товары, какие-нибудь салфетки или шоколадку для детей. А если внезапные гости, так и палку колбасы. То есть неплохой он, получается, продавец.

И далеко не сразу бросается в глаза загадочная деталь: как-то странно он считает деньги. Взвесит товар, потыкает в калькулятор, а то и без него справится, и объявляет цену... немного неожиданную. То есть что же это? Обсчитывает тебя... получается, в твою же пользу, что ли? Да нет, показалось, конечно. Такого быть не может!

Но в следующий раз невольно, не подавая виду, быстренько прикидываешь в уме: где-то приблизительно... ага... а он что скажет? Ну точно! Выходит, реально недосчитывает? Округляет, что ли, в пользу покупателя?

И, выйдя, ещё раз всё пересчитываешь: хлеб, сыра грамм триста... Ну так и есть! В пользу покупателя.

Вот те на! Дикость какая. Даже неудобно теперь заходить. А приходится, живём-то через дом! Не тащиться же за каждой мелочью в «магнит». Опять-таки если вдруг гости нагрянут или хлеба забыли купить к обеду – куда, спрашивается?

Вот так проблема! Приходится пускаться на хитрость. То есть зайти, вроде бы просто за хлебом, а там уже определиться: брать ещё что-нибудь или Лёша за прилавком? И если вместо него сегодня работает Оксана – можно спокойно набирать чего душа желает. В смысле, чего кошелек позволяет.

А то было раз: беру хлеб с лотка и вижу – сегодня работает Оксана. Подхожу к ней с хлебом, здороваюсь, показываю на колбасу: мне ещё вот эту палочку, пожалуйста! И она с улыбкой кивает и кричит в сторону подсобки: «Лёша! Взвесь женщине колбасу!» И куда-то отбывает по своим делам.

А вместо неё является Лёша и, кивнув, достаёт указанное и бросает на весы. И на голубом глазу молодецки объявляет: «Триста рублей!» Хотя мне отлично видно, что никакие не триста, а рублей триста сорок минимум.

И почему-то неудобно его поправить. Улечить. И я молча плачу и ухожу с этой колбасой, как бы частично уценённой.

И мои соседки, обычно весьма разговорчивые, молчат тоже. Эту странную тему не обсуждаем. Видимо, боимся спугнуть неожиданное везение.

Зато вскоре её активно обсуждают в магазине. Вернее, за ним, в закутке-курилке. Проходишь мимо, а там Оксана раздражённо втолковывает Лёше: «Ну и что? Их проблемы. Пойми: это же наша зарплата! Зарплата!!!»

Лёша молча кивает, глядя в асфальт, – понимаю, мол. Действительно, что ж тут не понять?

А ты пробегаешь мимо как ошпаренная.

И, вполне логично, через некоторое время Лёша исчезает. Просто однажды по пути домой открываешь знакомую дверь – а там уже новый продавец. Слащавая такая девица в блузке с необозримым вырезом. Улыбается заискивающе: «А колбаски нашей не хотите? А сосисочек, свеженькие привезли?» И чувствуется, что никакие проблемы её особо не тревожат.

И почему-то сосисочек не хочется.

А Лёшу одна соседка встретила года два спустя возле нового гипермаркета. Обрадовалась, поговорили немного. Сказала – такой же, только ещё поседел. Работает вроде бы охранником – жалко, что не запомнила, в каком именно магазине. Ну что ж, зато теперь известно: работает в новом гипермаркете наш человек, Лёша!

Между тем с годами жизнь как-то устаканивается, и вот уже – невероятно, но факт! – обретаешь собственное жильё. Старенькое, конечно, зато самолично выбранное. И уж какой-никакой ремонт можешь начинать прямо

сразу, тем более что одна подружка советует, как заделать дыры в полу, другая дарит средство для мытья окон – в общем, не имей сто рублей! А друг семьи Витя приносит даже картину, очень милый пейзаж: рассвет на реке. Правда, рассвет немного странный, слегка печальный, потому что солнца не видно – только его отражение в воде, лучистые блики на поверхности. Ну и розоватое небо да серо-коричневый кустарник по берегам. Но вот что интересно: стоило повесить картину на серую стену, как и вода, и небо вспыхнули чистым, ясным огнём, прямо-таки осветили комнату. Чудеса!

И ещё интересно: полгода спустя забежала новая соседка позвонить и остолбенела: «А откуда эта картина у вас, можно узнать? Подарили? А друг ваш кто?» Оказалось, раньше работала в художественном салоне. И не только художников знает, но и покупателей, и коллекционеров картин. «И Васильева, конечно! Он же на всех выставках бывает, и коллекция в городе известная. У нас его каталог был. Лучшие художники, городские пейзажи... А в последнее время, говорят, стал раздаривать. И вам, значит, досталась?» «Так он и ещё одну подарил, для кухни – натюрморт!» – хвастаемся и показываем: кувшин с вином и корзина, а в корзине фрукты и букет ромашек. И несколько яблок упали и лежат рядом на белом полотенце – весьма аппетитные! Сразу вспоминается лето и почему-то детство. «Для кухни, значит, – уточняет эта дама и осматривается подозрительно. А кухня пока что, действительно, не ласкает взор. Как-то руки до неё не доходят. И натюрморт там, действительно, как-то... не в стиле. – А вы где с вашим другом познакомились?» Мы морщим лбы, добросовестно вспоминая: «Да на свадьбе же у твоего брата! Он самый весёлый был, помнишь? Ещё на спор шампанское из ведра пил!» «Ой, точно!» – хохочем. «Но вы же знаете, сколько они стоят?» – прерывает наше веселье соседка. А нам откуда знать – подарок же! Сама она, впрочем, тоже не знает. Но, уходя, роняет загадочную фразу: «Просто обычно людям небогатым и подарки дарят соответствующие...» И в голосе оттенок недоумения. И муж, расслышав его, хмурится и фыркает: «Ты, Зин, на грубость нарываешься...» – впрочем, обращаясь уже к закрытой двери.

Ну а картина вскоре как-то незаметно переезжает к нашей младшенькой. Та самая, первая, с рассветом на реке. И освещает теперь зал в её квартире. А через некоторое время натыкаюсь в этом зале на странную вещь: деревянная тренога, с меня ростом, впереди щиток. «Это что – мольберт?» – спрашиваю, заметив на столе и две кисточки. «Стремянка!» – отвечает, не моргнув глазом, складывает эту треногу и убирает куда-то за шкаф.

А у нас на стене теперь летний пейзаж: лес, невысокая горка, маленькая прозрачная речка. Витя сказал: «Это взамен! Художник молодой, но способный. Три дня назад закончена!» И правда, картина пахла краской. Но как этот художник разыскал наше место? Мы же туда несколько лет ездили, ещё на велосипеде! Купались в этой самой речке, точно в такой день: июль, цветущая зелень вокруг. Посмотришь на картину, и хочется нырнуть.

Может, это только кажется, что лучшие дни позади?

А посмотришь – вот они, никуда не делись. Лучшие моменты жизни.

28 июня 18г. Новая русская философия

Противоречие мое в том, что мне и человека жалко, особенно детей, при этом я не только с пафосом рассуждаю о слезинке ребенка, как Достоевский, но и вожу деревенским детям то, что уже не нужно городским жителям – но не плохое, нет, это все почти новое, что передают мне наши собственные с женой родные и друзья, то, что взял бы иной и городской житель.

Но не только это... Мне много помогали и обо мне заботились, и для меня естественно (как РЕФЛЕКС, как моргание века, даже на ходу кому-то – если успеваю остановиться, если успеваю понять и есть силы, время, возможность – помочь страдающему) – без безумного христианского надрывного и отвратительного нажима искусственной «любви к ближнему» или рабского «страха божьего» (перечитайте святых отцов и Конст. Леонтьева) – помогать по мере сил, времени и возможности.

Я идеальный земной человек (не небесный), некий эталон слабостей, греховности, лени, эгоизма – но при этом, оказывается, не имея НИЧЕГО от святости и не ЖИВЯ ДЛЯ БОГА, даже НЕ СТАРАЯСЬ жить и для человека, я как растение укрепляю сползающий берег нашей жизни.

Я достаточно ПЛОХ – то есть, не лучше всех – но при этом я *ангел*.

Скозь же ангелее меня хорошие?! Но вот эта моя *плохота*, с одной стороны, и то, что множество самых обычных людей лучше меня и их «святость» не смердит перед Богом, с другой стороны, является основанием моей народной крестьянской веры в Спасение России и человека. Мы, обычные люди, достаточно хороши, чтобы благоустроить нашу Родину и очистить ее от грязи и прохвостов, и нас, обычных людей, но при этом совсем не смердящих, большинство. Именно мы – основание народа, именно мы – та почва, из которой произрастают поколения, культура, история и государство.

Мы, растущие из почвы, растительные, органические, природные, без пролетарской идеологии, без небесной христианской проповеди и фальшивого спасения небесным посланником (ибо как жили, так и живем, с теми же Навуходоносорами) почему же мы ничего не можем сделать?

Мы не находим пока источник ЧУДА.

И так как я пришел к общерусскому исторически сформировавшемуся народу, включающему в себя – (в известной степени, не сливайте сюда только помой с Канар и Куршавеля и ядерные отходы Америки и Европы!) – ВСЕХ в России, желающих жить здесь и для России трудиться и по-русски говорить – ибо сущность нации не в крови, а в языке!!! – то вот нас, растительных, от Культуры и Литературы, от языка, от **Природы**, от русской природы, от кедра и Байкала, – я хочу объединить (по любви, по дружбе, по сотрудничеству, по сочувствию и состраданию, по сотворчеству, по любви к русскому языку и культуре – вне истасканных единомыслия, веры, верноподданности, духа и крови). *С нами будут стихии, волхвы, духи озер и рек и деревьев, историческая память, СИЛА ПРОИЗРАСТАНИЯ, которая снова к нам вернется, сочувствие к страдающему человеку, любовь к красоте, чувство долга, глубокая логика мысли, нечто еще ... (чудо и инобытие).*

Я не слишком хорош, многие лучше меня, в чем же мое преимущество?

А в том, что я вочеловечился до конца, я НЕ лучше срединного почвенного человека, способен к его ошибкам, к его слабостям, к его глупостям – и поэтому я не противостояю среднему русскому человеку. Если я, обычный, обыденный, такой же как все, способен быть идеальным, то это дает начало НОВОЙ, воистину **новой философии жизни**. Не сверхгерои, не святые и не подвижники, а я с другими русскими и общерусскими переменим нашу жизнь, сделаем ее достойной если не для себя, то хотя бы для детей и внуков. Правда, кое чем я отличаюсь – я читаю книги, размышляю, даже пишу – но этому легко научиться, начните хотя бы вот с этого номера журнала, дальше пойдет все легче, клянусь, через пятьдесят лет вы будете совсем неотличимы от меня.

На многом своем я буду настаивать, иное принимать и чужое.

Вот, например, христиане никак не дают мне взяться за редактирование мира, говорят, начни сначала редактировать себя. Сегодня утром я решил купить творогу и сметаны и выпить чаю как барин. Всю неделю копил деньги, накопил, купил, начал есть – прогоркшее пальмовое масло.

Ну и нечего было выпендриваться, купил бы подешевле, не так жалко было бы выбросить, или бы совсем не покупал. В 2004-м году в тюрьме хлеба давали много, из мякиша те, кто умел, делали разные фигурки (есть его было невозможно, он был горчее пальмового масла). Ну вот: больше я не буду выпендриваться, творог со сметаной не покупаю – вот я уже почти христианин, начал себя редактировать.

Но – к делу.

Вчера был на Заседании Философского общества, товарищи мои ничего у меня не читали, всё пришлось повторять заново. Но много интересного и поучительного я услышал и от них. Оказывается, после выхода романа «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына преследовали не только в СССР, но и в США, судили за антисемитизм. Суд установил, что все факты, нелюбимые для евреев, справедливы, но так как они бросают неблагоприятный свет на еврейство, то их нельзя было в книге приводить, Солженицын отделался крупным штрафом. А начался разговор с того, что я посетовал, что историки иногда лгут и даже оправдываются, как Флоровский, что не может, де, историк-христианин публиковать и отстаивать то, что как и на евреев, бросает тень на христиан, статью его я перепечатывал в журнале «Мера»: Затруднения историка-христианина. Но инстинктивно я ругаю всерьез только русских, это наша традиционная форма борьбы с нашими недостатками, их у нас много, если мы еще их начнем и восхвалять, то станем еще хуже.

Салтыков-Щедрин советует не отождествлять любовь к Отечеству с любовью к Начальству и призывает разрешить порицать начальников хотя бы чуть-чуть, например, что могли бы они себе построить домик и семи этагов, а не тожмо пяти, и что кучеров им надо лихих и «телок в баню...»

Вот с этого я дальше и буду продолжать Русскую философию, то есть анализ наших ошибок в словах и понятиях... Ну и главное: эта **философия** по-русски, для России и русского народа, и **целью ее является, как у Маркса, не только познание мира, но и преобразование его к лучшему...**

НОВЫЙ РУССКИЙ ЖУРНАЛ

литературной и философской критики

(для всех, кто любит отечество)

№ 8

Подписано в печать 30 июня 2018

Формат 60x90 1/16 19,25. л. = **304**

Печать по требованию

Почта редакции
Email: mvnch@mail.ru

СПб
2018